

УДК 821.161.1-3Рогов
ББК (84(2Рос=Рус)6-44
Р59

www.web-bib.ru

**Электронное собрание сочинений
Валерия Рогова**

Полное (на сегодня) собрание сочинений В. Рогова находится в процессе редподготовки.

Настоящая книга повторяет одноимённое издание 2001 г., вышедшее всего 200-ми экземплярами за счёт автора.

ISBN 5-901746-01-5

© В. Рогов

© Издательство «Библиотека профессиональных писателей»

Валерий РОГОВ

ВО ГЛАСЕ ТРУБНОМ

Смутное десятилетие
в треснувшем зеркале суровой действительности

Москва
Издательство «БПП»
2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВО ГЛАСЕ ТРУБНОМ.....	2
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	6
РАЗЛАД.....	6
ЗВОНАРЬ.....	7
ТАЙНА БОТТИЧЕЛЛИ.....	19
ВОРОНЁНОК.....	37
БЕГЛЫЙ ПАЛАЧ.....	48
повесть.....	48
ДУРЬ ПОТУСТОРОННЯЯ.....	98
КОЛЧИН ГОН.....	108
ВО ГЛАСЕ ТРУБНОМ.....	114
Цикл московских новелл.....	114
СОЛНЦЕВОРОТ.....	115
ПОД ПОЕЗДОМ.....	118
ОРТОДОКС.....	120
ЯЙЦЕГОЛОВЫЙ.....	123
РЫЖЕНЬКАЯ.....	128
ПОЦЕЛУЙ В ПЛЕЧО.....	132
НОВАЯ ЖИЗНЬ.....	134
КОЛЯ-КОТИК.....	135
ОГЛАШЕННАЯ.....	138
НАСОВСЕМ.....	141
ВОЛЧЬИ СУМЕРКИ.....	143
повесть.....	143

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	218
РАЗЛОМ	218
ПОКА НЕ ДРОГНУЛА ПАМЯТЬ	220
ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА.....	238
ДУША В СМЯТЕНИИ	242
ДОПРОС С МЕФИСТОФЕЛЬСКОЙ УСМЕШКОЙ.....	248
АНГЕЛЫ РЫДАЮТ НАД МОСКВОЙ	251
РАССТРЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ.....	257
ВОСКРЕСЕНИЕ УБИЕННЫХ	262
ЛЮБИТЬ РОССИЮ — ЭТО НРАВСТВЕННО	265
МУЖЕСТВО НА ГОЛГОФЕ	268
ПРЕЧИСТЫЙ СВЕТ	271
В ЖУРАВЛИНОМ ПОДНЕБЕСЬЕ	274
РАДОСТЬ ОЗАРЕНИЙ	277
ГОНЕЦ С ФАКЕЛОМ	284
ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА	287
В СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ	287

И семь Ангелов, имеющих трубы, приготовились трубить. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

**ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА
(8, 6; 22, 12)**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗЛАД

Но знайте, тайные стратеги:
Как сквозь века не колеси,
Все иноземные набеги
Кончались славою Руси!
Пусть даже Бог её оставит,
Как грош, истёршийся в пыли.
Последний день России станет
Последней драмою земли.

Виктор Дронников
«В пречистом сиянии»
1993

ЗВОНАРЬ

Памяти Эрнста Сафонова

I

В тихое предвечерье накануне Крестовоздвиженья с Поповой горы льется колокольный звон. Колокола и колокольцы во все дали разносят возвышенный гимн *будущему веку*, жизни вечной, — неведомой, но предошущаемой.

Звуки усиливаются, учащаются, несутся уже хрустально-медным водопадом и вдруг обрываются. И вот басовито заговорил главный колокол, как бы словами-ударами, как бы предрекая неминуемое исполнение библейских пророчеств. И в суровой строгости никому не обещает прощенья там, в запредельных высях. Только после покаяния здесь, на грешной земле, — чистосердечного, слезного — за гордыню и маловерие, за ложь, за стяжательство, за кровь невинную...

Поселок Тульма примолк, притаился: ни голоса человеческого, ни крика петушиного. Кажется, все живое слушает удивительную симфонию, которую исполняет слепой звонарь Володя. Давно он не звонил. Говорили: болеет, будто бы даже при смерти. Что ж, естественно: Володе семьдесят восемь лет. Слеп он от рождения. За свою долгую жизнь выучился лишь одному делу — колокольному. И лишь одну дорогу освоил: из озерного конца Тульмы, где проживает, на Попову гору, в церковь.

Внимаю колокольному звону в светлой печали. Я ждал его: старуха Марфа Никитовна, моя соседка, предупреждала: мол, скоро. А потому сажу в подкрышной комнатке при распахнутом окне, хотя давно засентябрило, — наплывает морозящая свежесть. Перед глазами вид на Колотовку — на запруду, где когда-то, до сталинской коллективизации, красовалась водяная мельница, а ныне сохранился затинившийся, темный пруд, щедро усыпанный монетной березовой листвой. Слева, чуть в стороне, зеленым глубинным оврагом с розовыми валунами вытянулась долина речки Тульмень с нависшими над тихой водой старыми ветлами в поседевших буклях. Эта блеклая седина, особенно в вер-

шинах, свилась воедино, и кажется, что неторопливая Тульмень течет по туннелю. А берега высоки, с каменистыми осыпями, особенно ближний ко мне, который и есть Попова гора. Дальний же, тот более пологий, и называется Байковый холм — за вечную бархатную зелень, уходящую в поднебесье. По его гребню тянется березнячок, и прямо-таки ощущаешь, как при порывах ветра швыряет он весомыми пригоршнями свое рыже-осеннее золото в синеву небес. Залюбуешься...

Мне, кроме Володиного звона, непременно хотелось угледеть и его самого. Тот момент, когда он проследует по дорожному валу Колотовки к церкви. Ведь уже более трех лет прошло, как не встречались. В общем, на высоте своего уединения, утеплившись в ватник, в ожидании маленького чуда я читал с каким-то редким проникновением, в какой-то особой душевной ясности старую книгу, неожиданно купленную в антикварной лавке Городца Мещерского, — о блистательных походах киевского князя Святослава Игоревича, нашего русского Александра Македонского. Удивлялся тому, что практически ничего не знаю о героике тысячелетней давности, на заре русской государственности. И уж совершенно никудашно представляю панораму событий тех лет, а тем более палитру быта во всей первозданной колоритности — яростной, распахнутой. И кровно чувствовал неразрывную связь со своими далекими, неведомыми предками. И именно в этом чувствовании, в этом осознании явственно уловил в прозрачной солнечной тиши слабенький постук Володиной палки.

Он двигался осторожно, но уверенно, маленький и сухонький, будто мальчик, однако седовласый. Из-под тряпичной кепочки на узкие плечи шелковисто лились снежной белизны космы, а тревожно-нервное бледное личико, приподнятое к теплему солнцу, обрамляла прозрачная бородка. Одет Володя был в серое, вернее, сирое, по-нищенски: в белесо застиранную куртку и подобные же порты, вправленные в задубелые, никогда, видимо, не чищенные сапоги.

Он и в самом деле был нищий, этот слепой звонарь, сочиняющий гимны небу. И мать его, блаженная Агафья, была нищенкой. Рассказывали, что всегда их видывали неразлучными — и на попрошайничестве по деревням, и на подаяниях церковных,

и при звонах на колокольне. Но минуло уже лет двадцать, как блаженная нищенка умерла.

Доброхоты тогда пытались выхлопотать Володе инвалидную пенсию, и Советская власть вроде бы не отказывала, но при условии, чтобы бросил он свое колокольное кудесничество. Но Володя мычал и плакал, и слушать не желал о подобном условии, и гнал прочь доброхотов. С тех пор, можно сказать, только благодаря ему, ну и, конечно, верующим старухам звонят церковные колокола в Тульме. Старухи рьяно оберегают свое законное право на колокольные звоны. Даже жесткая, категорическая Советская власть отступила — еще тогда, при своем всеисии, — пред старушечьим натиском и нерушимом единении. Смирилась, объясняя: мол, глухой поселок, среди лесов, до московских главных безбожников ой как далёко...

Еще рассказывали: звонит слепой звонарь всегда до изнеможения, будто в последний, окончательный раз. Видимо, все-таки пугали его атеистические начальники. Боялся, видимо, их, как бесов. «Бывалыча, — вспоминала Марфа Никитовна, — на руках сносили слепого-то с колокольни — так измождается! А посла недельми отхаживаем, возвращаем в силы...»

Но вот пришли новые времена, казалось бы, во всей безбрежной дозволенности, а Володя сдал и уж совсем не отваживался взбираться на ветреную верхотуру, чтобы исполнить молитву колоколов. Однако вновь ожил, и вот опять льется поднебесный благовест, и от умильной красоты звуков, от того, как душу пронизывает, очищая, хрустально-медный водопад, плакать хочется и хочется отвечать, хотя бы самому себе, на вечные вопросы: кому направлен строгий упрек? кому испрашивается милостивое прощение? по ком звучит реквием?..

II

Каждый раз, когда я встречаю древнего седого звонаря, но, особенно, когда внимаю его чудодейственному колокольному звону, мне кажется, да нет, я просто убежден, что тысяча лет русской истории это не такая уж и замшелая глыба, не имеющая к ныне живущим никакого отношения. И не такая уж тайна, которую невозможно разгадать. Наоборот, самая что ни на есть неотъ-

емлемость и открытость. Потому что это ты сам, и вся история твоего народа — в тебе, как и любое место на державных просторах — твое, и любой человек тех же корней, и того же племени, и той же крови, хотя не обязательно — племени, крови, но непременно и, прежде всего, того же языка и той же веры, а значит, и культуры — твой сродник, сородич, и имя всем вместе — Русь, Россия. Потому-то и сам ты, во плоти и духе, и есть Россия-Русь.

Меня часто тяготят исторические знания. Именно т я г о т я т — по нынешним погубительным временам. О некоторых простых истинах в голос кричать хочется — хоть с лобного места, хоть с колокольни. Глашатаем отправиться по городам и весям, чтобы внушать: «Опомнитесь, люди русские! Вы преданы! Вас ведут на заклание! По пути измены! Самим себе!..»

В последние годы, особенно после державного развала в Беловежских дебрях, я, как, наверное, и многие другие думающие русские люди, прямо-таки с жадностью начитываю тома истории в упрямых попытках постичь тревоги *будущего века*. Нет, не в небесной вечности, а в земном нашем присутствии. Постичь существо давних событий — изначальные знаки! — когда Русь сама себя спасала, возрождаясь и вновь дерзая.

Я люблю бывать на высоком, *горнем*, берегу Оки у Городца Мещерского. Там постоянно гуляют тугие ветра, и укрыться от них можно лишь в расщелинах, изрезавших берег, — глубинных, как каньоны. По их каменистому дну сочатся родниковые ручьи, питая стремительную Оку. С этой горней, поднебесной выси открываются необъятные дали и серебрится в могучем раскате неумная река. И въяве представляешь флотилию красавиц-ладей великого воина Святослава Игоревича, ходко подвигающуюся вниз по течению к Волге, чтобы воевать столицу Хазарского каганата, иудейской империи. Чтобы окончательно избавить Русь от ненасытного и жестокого хазарского ига.

Разве изменилась могучая Ока за прошумевшую тысячу лет? Разве не та же *горняя* крутизна левобережья с тугими ветрами? Не те же овраги-каньоны с родниковыми водами? И как-то непривычно легко ощущаешь изначальность русской истории, еще те языческие, *даждьбого-перунские* времена — былинные, сказочные. И рождается причудливая мысль о том, что кольцуется история, вроде бы повторяется. В спирали времени — тысячу лет

спустя! — вроде бы повторилось иудео-хазарское иго в обличье большевистского каганата. Ничем не отличается оно от того далекого — алчного и безжалостного, как ни перестраивай его, как ни реформируй. И опять мы — покоренные, почти рабы, и вновь в затаенной надежде веруем, что вот-вот явится он, наш освободитель, новый великий воин Святослав Игоревич...

Причудливость таких мыслей, кажущихся ирреальными, однако ставших отметинами нынешнего бытия, когда мы, как в омут, бросаемся в историю, чтобы постичь сокрытые предначертания, вернее, чтобы ответить на жгучие вопросы и в первую очередь на главный из них — *о веке будущем*: исчезнет ли Русь или возродится в новых дерзаниях? Воссияет ли снова в славе?

III

Внимаю поднебесной симфонии. Чувствую, о чем говорит со мной слепой звонарь Володя. Да, безусловно, о жизни вечной, и потому поют небесную осанну церковные колокола то в хрустальном журчании, то медным набатом. Ничего ведь другого не познал этот седой старик-мальчик, лишь библейские притчи да колокольную мелодику.

Однажды, давно уже, я попытался приблизиться к нему, поспрашивать. «Ня надо», — твердо ответствовала моя соседка Марфа Никитовна. А сама — душа добрая, безотказная. Труженица неразгибательная. Всю жизнь отработала в приокском совхозе, пока совсем не согнуло и не пришлось клюку взять, без которой теперь и передвигаться не может. Но и поныне, если только не в церкви, то на огороде. Искореженными артритом клешнями землю рыхлит: сажает, траву дергает, окучивает, поливает — в общем, растит! Оттого-то и прозвище у нее уважительно-ироничное: Марфа-посадница.

Она и Володе картошку-моркошку выращивает, да капусту со свеклой, да лук-чеснок с помидорами-огурцами. А уж другие старухи — кто состряпает, кто постирушку осилит. Заботятся они о своем слепом звонаре, поддерживают Володю.

Но в тот раз я заупрямился: «Отчего же так, Марфа Никитовна? Отчего же все-таки «ня надо»?» Пояснила, вздохнув: «Болезный он. Разбередишь ты его. Да-ить он наполовину в на-

ших разговорах непонятливый. И говорит плохо. Больше мычит, тоненько этак. Знамо, звоны свои слушает. Сочиняет их! К каждому празднику особенный», — добавила горделиво.

Однако тогда же и представился случай: надо было подвезти на машине Марфу Никитовну с поклажей к Володе. И занести тяжеловатый груз в избушку. Двухоконную, с дубовыми венцами, вросшими в землю; из окостенелых, истончившихся, в глубоких трещинах сосновых бревен — из того, прошлого столетия. Избушка давно покосилась, как бы присела на сенцы-пристройку по крутому наклону подворья, спускающемуся к озеру. Чуть ли не раздвоилась, и сцепляли распавшиеся половины свежеприбитые жерди. С крышей из замшелой бурой щепы, с прорехами, грубо залатанными рубероидом. А внутри, вчетверть низенького пространства — громоздкая русская печь, стол да лавка, да полка с посудой, да небольшой, в железных ободьях, сундук.

Володя сидел на железной узкой кровати, застеленной лоскутным, цветастым одеялом. В своих белых космах он казался нездешним существом. Его белесые очи без зрачков были неподвижны, но маленькое гладкое личико исказила судорога.

— Здравствуйте, — сказал я осторожно.

Он не ответил.

— Клади и пойдём, — забеспокоилась Марфа Никитовна.

— Сейчас, — заупрямился я. — Скажи, Володя... Я хочу задать тебе только один вопрос...

— Уходи, господин-барин, — тоненько застонал он. — Не тревожь сирых и убогих.

— Прости, Володя, но ответь все-таки: как ты понимаешь *будущий век*?

Он заплакал. Из белесых глаз покатались-упали в прозрачную бородку алмазные слезы.

— Пошли, пошли, — всполошилась старуха, потянув меня за рукав.

А Володя стонал:

— Уходи, господин-барин. Живи своей другой жизнью. Не трожь нас. Ибо Господь Бог тебя не помилует...

Уходил я пристыженным, не понявшим ни своей вины, ни Володиных слез. И еще того, отчего же оказался прямо с порога отвергнутым? И вообще: что он услышал, что ощутил с моим

приходом? Что так встревожило его? О чем думал? Не знаю ответов.

А было это... Боже, я уже употребил слово «давно», хотя тому всего лишь три года. Но какими долгими кажутся эти три года после державного развала, при нынешней государственной катастрофе?.. И какой давней представляется наша предыдущая жизнь, та, до августовского путча в год-оборотень, в 1991-й?..

Так о чем же плакал тогда слепой звонарь? О чем печалился? И что провидел? Именно: провидел! Ведь то Крестовоздвижение он отзвонил с такой печалью, в такой безысходности, что душу разрывало... В такой глухой безнадежности, в такой безрадостности, — и так стонали колокола, что хотелось стонать с ними вместе, броситься на землю, рыдать и не слышать, не верить, что есть такой стон, такая безысходность... Вскоре он заболел, и очень сильно — совсем умирал.

«Готовится преставиться, — часто повторяла Марфа-посадница, моя соседка Марфа Никитовна. — Да вот только, чаво ж, сколько готовится, а Господь его не берет. Для чаво-то тута держит. Измаялся весь. Все просит Господа смилостетья...»

А потом, на Успенье, вдруг сообщила:

— Кажись, полегчало Володе-то. Вставать начал. Намедни к озеру водили. Воду там слушал. Как она плескает, волной-то. И птичек. Дажесть подражал. Увеселился, как дитё. Может, поживет ишо. Может, Господу угодно, чтобы здесь задержался. А пусть! Как же, без него разве звоны? — И улыбалась Марфа Никитовна, радовалась: — Собирается нонешнее Крестовоздвижение отзвонить. Ужо я тебе подскажу, не сумлевайся...

И вот я слушаю хрустально-мелодичный водопад, медные удары, падающие весомо, грозно, как суровые слова библейских пророков, — внимаю...

IV

Странное дело, за эти три года — доо-лгие, длии-нные, когда отсчет времени, а главное, пережитого, шел, как на войне, в тройном измерении, все мы постарели, особенно взрослые поколения, и сильно переменились. Стали жить и думать как-то по-другому...

Тогда, до девяносто первого, звонарь Володя воспринимался как осколочек старой, казалось бы, исчезнувшей навсегда Руси, которая невероятна в нашу электронно-космическую эпоху. Ан нет, совсем и не осколочком был он, а изначальным знаком вечной, неменяющейся Родины. И не уходила из памяти, а, наоборот, прорастала в сердце новыми смыслами та маленькая встреча с ним и его простые, довольно странные, но, похоже, пророческие слова: «*Живи — своей — другой — жизнью*».

И мы жили, погрязнув в политике, сходя с ума от сатанинской лжи, от подлости, от предательства, надрывая души, не выдерживая, спиваясь, умирая от инфарктов и инсультов и совсем-то не думая о *веке будущем*, который до развала-переворота больше заботил нас, чем впоследствии. Правда, я, как и некоторые другие, все же думал и думаю о *веке будущем*, исходя из «своей другой жизни», то есть земной, а не вечной, не на небесах. И потому читаю-начитываю тома истории, чтобы что-то угадать там, за туманной завесой. И познал, и согласился с той, казалось бы, незамысловатой истиной, что, только зная прошлое, можно предсказывать будущее. Но, как мне представляется, лишь одну из вероятностей будущего, хотя детали и черточки проявляются уже и сейчас во всем.

Вот я упоминал о хазарском иге, схожем по сути с большевистским — своей иудейской верхушечностью, столичностью, той же жестокостью. И той же непрочностью, той же одноразовостью, как, скажем, голова на теле. Стоило захватить столицу — и рухнула в одночасье КПСС... Тем более и Ленинград (Петербург) сдался сразу...

А ведь то же сделал и Святослав Игоревич тысячу лет назад, познав, видно, тайны Торы, — покорил два столичных града, Итиль и Саркел, и в одночасье рухнула Хазарская империя, грозный иудейский каганат, соперничавший с Византией. И уже языческая Русь возвысилась до вызова самому Царьграду...

Между прочим, мало кто помнит, что Святослав Игоревич возмечтал перенести столицу Руси из днепровского Киева в Переяславец-на-Дунае, в покоренную им Болгарию, поближе к Царьграду. Он, безусловно, хотел воевать Византию, покорить и эту империю. В Царьграде царила паника, и императорские послы сумели подкупить печенегов и направить их орду к Киеву.

Святослав Игоревич поспешил на родину, напугал своим появлением хищную орду и в новой славе вернулся в Переяславец-на-Дунае. Император Цимисхий собрал громадную армию и лично возглавил ее. Неравные битвы длились долго, силы русичей таяли... Наконец Святослав Игоревич согласился уйти к себе в Киев. Но *лукавые византийцы* опередили его, предупредив печенегов, и малую уцелевшую часть дружины у днепровских порогов поджидала та же хищная орда... Косоглазый хан Куря сделал из черепа великого воина кумысную чашу...

Вообще удивительна цепь исторических деяний и амбиций, и чем упрямее погружаешься в летописание, тем больше обнаруживаешь откровений и, как думается, даже делаешь открытия. Например, я вдруг обнаружил подражательность русской истории — во всем втором тысячелетии, то есть за всю нашу памятную историю, вплоть до нынешних дней. Постоянно твердят об особенностях, загадочности России, русской души, а, может быть, главная особенность и главная загадочность именно в этой подражательности. Подражали Византии, наследовали, стали *Третьим Римом*...

Или вот нынешние разговоры о Евразии, о русских имперских амбициях. Читаю самые жуткие годы — 1237-й, 1238-й, 1239-й, 1240-й... Все сметено на Руси, поругано, разграблено, сожжено. Чингисхановская империя охватывает чуть ли не весь свет: от Китая и Индии до предгорий Карпат. Столица при первых великих ханах — на берегах Амура. И Батый из своей Золотой Орды, из Сарая на Ахтубе, именно туда посылает Ярослава Всеволодовича за ярлыком на великокняжеский стол во Владимире. Несчастный князь на обратном пути, в 1246 году, гибнет, как отмечает летописец, «от истощения сил в пустыне»...

А спустя века это уже Россия — и до сих пор! И вошла в нашу плоть и кровь другая подражательность — татаро-монгольская, азиатская, от которой в новейшие эпохи мы поспешали освобождаться, подражая Европе. А теперь желаем американизироваться...

Так кто же мы, кто?! Кем хотим стать или, точнее, быть? Если, конечно, нам предуготован *будущий век* — земной, понятно, бытийный. Ведь если подумать отстраненно, без страстей и пристрастий, то мы — *как русь* — жили только на заре нашей исто-

рии... Нет, не надо возвращаться в язычество. Но надо — к самим себе! И должно нам быть наконец-то — славянами: Русью!

Спасение русское мне видится в том, что мы вернемся на тысячу лет назад. И продолжим то, что не удалось осуществить великому воину Святославу Игоревичу, замыслившему создать новое государство на всем пути *из варяг в греки* — от студеной Балтики до теплых понтийских вод. И, может быть, действительно столицей на Дунае?..

Ныне я знаю одно, что завоеванная и распятая иудействующими большевиками Москва, впрочем, как и Петроград, эти два великих города, как тысячу лет назад в другой империи, в Хазарской, Итиль и Саркел (почему-то обязательно в любой великой государственности должны быть два соперничающих, два великих города), так вот, ни изгаженная, распятая Москва, ни болезненно-лихорадочный Санкт-Петербург не способны в будущем веке объединить русский народ, возродить державную Русь.

Потому-то, видимо, и посещают меня апокалипсические видения. Я все чаще вижу *будущий век* — земной, бытийный, ту самую другую жизнь, которую определил для таких, как я, слепой звонарь Володя, именно в пределах Русской равнины, Русской Европы, от Белого до Черного моря, где на востоке границей Итиль-Волга, но, пожалуй, Каменный пояс Урала, а на западе — Карпаты, славянская прародина...

И вижу еще одно в *будущем веке*, отвергая соблазн быть донором угасающей, закатной Европы (Западной, конечно), что Сибирь нам от Урала до Амура, до Тихого океана не удержать и не спасти. Более того, вижу там страшную апокалипсическую битву — межконтинентальную, космическую — между Азией и Америкой. Да, в следующем XXI веке, в которую ныне нас по неразумности, по глупой доверчивости хазарствующие демократы пытаются упорно, безжалостно вовлечь.

Опомниться надо нам, остановиться, постичь сокровенное. Познать, что за воинственным предтечей Российской империи Святославом Игоревичем явился миротворный Креститель, сын его, святой князь Владимир Святославович.

Поверьте, именно эти раздумья наполняли меня, когда я, оторвавшись от исторического повествования о походах Свято-славовых, слушал колокольный звон, исполняемый возродившимся к жизни блаженным Володей. Но что-то не заладилось у него с ударами тяжелого главного колокола. Они делались все тише, будто уже и не он двигал гирию медного языка, а она сама болталась, сорвавшись. А вот и совсем заглохли — только тянулся тягостно угасающий гул.

Сначала мне подумалось: наверное, нечто новое изображает Володя, творя, скажем, величественную паузу. Но легла тишина, и повисла, и не вспыхнул журчащий перезвон малых колокольцев, обещающая громовое звучание — торжествующее, победное... Тишина затягивалась, как осенняя ночь, и, будто протестуя, ожил земной мир: тревожно зазвучали женские голоса, заголосил сорвавшимся фальцетом петух, а издали натужно зашумела машина. Вот она пронеслась внизу по запрудному валу Колотовки, по пустой дороге на Попову гору, взвихривая монетки березового листопада, — и оказалась зеленым «уазиком» с красным крестом.

«Что-то случилось», — встревоженно понял я и, не раздумывая, заспешил к церкви. Там уже толпились. В основном церковные старушки в чистых платочках — белых, черных, цветастых. Но и всех других набегало немало. Все мы смотрели вверх, на колокольню. Там отец Серафим в допальном, золотого шитья церковном одеянии, однако простоволосый, держал на руках легонького, белесо-серого звонаря Володю. С бессильно откинутой головы падали, шевелимые ветерком, белоснежные космы, а согбенные ноги провисло тяжелили кирзовые сапоги. Отец Серафим негромким речитативом произносил молитву и низко кланялся на все четыре стороны света.

А был закат — пламенеющий. Малиновый диск солнца застыл между звонницей и золоченым церковным крестом. На его фоне, а также вулканической лавы на горизонте, под омраченной, потемневшей синевою небесного купола поклоны отца Серафима воспринимались воистину благодарственными — да, самому Господу.

Подошла незаметно, опираясь плечом на клюку, Марфа-посадница, старуха Марфа Никитовна.

— Ну вот, — сказала, вздохнув, — наконец-то преставился. — И добавила с гордостью: — Вишь ты, при праздничном звоне. — И принялась часто креститься, напевно повторяя: — Господи, со святыми упокой, со святыыы-ми, Гооо-споди...

Похоронили слепого звонаря в церковной ограде. Поставили деревянный крест с медной табличкой. На ней только и написали: «Володя, звонарь Крестовоздвиженской церкви, 78 лет». Оказывается, никто не помнил ни его фамилии, ни отчества. А, пожалуй, никто никогда и не знал.

ТАЙНА БОТТИЧЕЛЛИ

I

Никак не предполагал встретить Григория Бенедиктовича Баулина у себя в Теплом Стане! Тем более прогуливающим таксу — это необычное создание на карликовых ножках с симпатичной мордашкой. Однако не стану рассуждать на заезженную тему о соответствии хозяина и собаки. Прежде всего потому, что ничего совпадающего между Григорием Бенедиктовичем и черным кобельком по имени Стас не угадывалось.

Вообще Баулин на редкость не совпадал с расхожими представлениями о преуспевающем интеллигенте, а посему факт владения собакой меня крайне удивил. Впрочем, в Баулине все удивляло, и именно несоответствием его личности, внешнего облика, манеры держаться и особенно говорить — то вкрадчиво, то громоподобно. В целом всему тому, каким он казался для тех, кто ничего о нем не знал. Начни, например, в случайной компании рассказывать правду, кто и что он на самом деле, неминуемо возникло бы недоумение, а затем откровенный смех: мол, перестаньте разыгрывать! Сами, что ли, не видим? Экий вы, однако, выдумщик!

Но это — выдумка судьбы или нашей вздорной эпохи, и все, что я в дальнейшем поведаю, было, истинно было! Только не знаю, с чего начать? Со своего знакомства с ним или с его внешнего вида? С его реальных занятий или скрытой деятельности? Пожалуй, как поставились вопросы, так и стану отвечать.

С Григорием Бенедиктовичем я познакомился лет восемь назад, в самый пик перестроечного воодушевления, когда еще верилось в обновление, в возрождение Родины. Тогда меня неожиданно пригласили поработать на телевидении в одной из информационно-аналитических программ. Однажды мы задумали рассказать о демографической ситуации в столице. О том перекосе в народонаселении мегаполиса, подобном раковой опухоли, когда молодежная лимита, эта разлюли-малина, собранная со всей страны, и почти три миллиона пенсионеров, со всеми их бе-

дами-обидами, создали из-за жесткого диктата прописки прямо-таки тупиковую ситуацию.

Обратились мы в институт социально-экономических исследований с просьбой порекомендовать специалистов-демографов. Накануне передачи я встретился с тремя «научными величинами», профессором и двумя доцентами, чтобы проговорить сценарий. Они представились по именам-отчествам и, естественно, по фамилиям: Соломон Яковлевич Цайс, Александр Николаевич Зиненко и Григорий Бенедиктович Баулин. Представились, не упомянув своих регалий, будто это само собой разумелось. К сожалению, смутившись их важной самоуверенности, я не стал сразу уточнять, кто есть кто, решив, что в процессе разговора все определится. Однако из-за подобных мелочей, из-за этих незначительных недоразумений и возникают часто провальные обстоятельства.

Ну вот, имена названы, и у меня нет и толики сомнения, что профессор — это Соломон Яковлевич Цайс. Большой, тучный, с седой львиной гривой, с выпяченной нижней губой, с которой так и срывался словесный водопад. Он важничал, старался выглядеть, ну, что ли, умнее самого Маркса и уж, безусловно, небезызвестного Кейнса.

Зиненко, рано облысевший, бескровный интеллигент: нервный, болезненный, из тех незаметных личностей, которые с невероятным упорством «грызут науку», но так и остаются не способными ни к высоким прозрениям, ни к глубинным обобщениям. В общем, схоласт. Однако он тоже важничал, старательно поддакивал Цайсу, — уточнял, подправлял, ссылаясь на академические авторитеты. И, как истинный схоласт, много и точно цитировал.

А Баулин, Григорий Бенедиктович, рядом с ними выглядел профаном, заурядным подмастерьем. По интеллекту, казалось, намного ниже даже схоластического Зиненко. Вообще, думалось, что он не имеет никакого отношения к этим ученым мужам — по тому отстраненному равнодушию, с которым внимал разговору. Вернее, совсем не внимал! Лишь изредка с любопытством поглядывал на меня, причем сочувственно. Будто и он здесь случайно присутствующий.

Нет, Баулин действительно никак не тянул на доцента, а тем более на «научную величину». Но вот странность: воспринимался он как давний знакомый. Будто старинный приятель, а может быть, и родственник. Шло это, наверное, от какой-то обобщенной простоты лица. Пожалуй, грубоватого, сработанного без всяких затей. Однако небольшие глаза цвета холодного, матового серебра приоткрывали душу, казалось бы, незлобивую, и смотрели на мир, как я уже упомянул, с любопытством, с веселой непринужденностью. Поседельный чуб, тускло-серебряный, как и глаза, ползакрывал узкий, но высокий лоб. В целом он был даже очень по-мужски убедителен, прежде всего, своей спокойной надежностью. И никак — ну, абсолютно никак! — не вписывался в компанию с болтливym Цайсом и занудным Зиненко.

Кстати, еще при знакомстве меня поразило то, как он умел переключать регистры своего голоса — от тихой, вкрадчивой интонации до зычного, басовитого тона, я бы сказал, командного. Всего-то две реплики вставил, а неудержимый Цайс на полуслове замирал! Обратил бы мне на это внимание, и моя передача получилась бы удачной. Но я так и остался в заблуждении, не удалось выяснить, кто же все-таки кто. Потому-то в прямом эфире и вышел конфуз: профессором, оказывается, был не Цайс, а Баулин.

Но Цайс, этот самонадеянный словоблуд, и перед камерой оставался неудержимым. К тому же он нарушил условие о вежливой дискуссии. Он сразу рванул разговор на себя, причем достал из кармана печатный текст и, забыв обо всех на свете, с пафосом принялся зачитывать хвалу дюжине академических начальников. Как ни пытался я его остановить, не получилось.

В общем, после той передачи договор со мной на телевидении расторгли, о чем, честно говоря, я совсем не сожалел.

II

Тогда, восемь лет назад, примерно недели через две после злополучной передачи, где витийствовал Цайс, мне позвонил Баулин и мягким, сочувственным голосом предложил уладить конфликт. У него, оказывается, в друзьях немало влиятельных лиц. Я поблагодарил и отказался.

Потом он еще раз мне звонил, приглашая к себе в гости: у него, убежденного холостяка, по установившейся традиции раз в месяц собираются друзья, и для меня будет большой неожиданностью обнаружить среди них очень интересных собеседников, не говоря уже о достаточно влиятельных политиках. Сославшись на что-то, я опять отказался. А в третий раз он пригласил меня на международную конференцию, заметив, что о ней вряд ли появятся сообщения в газетах, но значение ее от этого никак не уменьшится.

«Если хотите понаблюдать, как делается большая политика, — говорил он загадочно, но вполне доверительно, — то используйте этот редкий шанс. Туда попадут только избранные. А вы мне симпатичны...» Конечно, было соблазнительно почувствовать себя избранным, но и на этот раз необъяснимая осторожность остановила меня от принятия столь лестного приглашения.

На этом и закончились наши отношения с загадочным профессором Баулиным. Правда, все эти годы от случая к случаю мне он вспоминался, и порой я упрекал себя за то, что не воспользовался шансом проникнуть в нечто сокровенное. И вот совершенно неожиданная встреча в тепло-станском лесопарке. Кстати о собаках: черный кобелек Стас мгновенно уловил и настроение хозяина, и мою дружественность и вертелся колбасой в ногах, радостный, повизгивая от своего собачьего восторга.

Была макушка лета, первые дни июля, какая-то летняя расслабленность в поведении и поступках. Всех изнуряла жара. Никто не мог вспомнить приличного прохладного дня, а тем более с дождиком. В небесной сфере почти ежедневно бродили угрюмые, чернильно-фиолетовые грозы, однако не разрешаясь ливнями, и оттого все чувствовали себя изможденными. Лишь в тенистых аллеях сохранялась прохлада, возвращая бодрость, а земляные дорожки в низинах оставались не до конца просохшими, приятно дышали сыростью.

Повсюду высокими куртинами цвел иван-чай, и эти всхолмленные лиловые острова радовали своей непритязательной красотой. Ежедневно по телевидению внушали, что нынешний год — чрезвычайно активного солнца, а потому все необычно — и в природе, и в человеческих делах. Блуждающие по горизонтам грозы создавали такое высоковольтное напряжение над Москвой,

что хотелось спастись, бежать куда глаза глядят, подальше от задыхания, от ночного безумия головных болей. И только полевые цветы — душистые метелки таволги, синеокий цикорий и скромная рыжая пижма, зацветшая в городской жаре раньше срока, внушали что-то неизменное, а кроме того, восхищали своей чистотой и наивностью — как бы даже детской!

Мы с Григорием Бенедиктовичем медленно прошли по зеленому туннелю березовой аллеи, где застыла парная духота. Выяснилось, что уже с месяц как он поселился со мной по соседству, — в недавно отстроенных роскошных краснокирпичных домах, которые бросали вызов нашей унылой типовой застройке прежних времен. Разговоры велись самые общие, но когда Григорий Бенедиктович предложил побывать в его новой квартире, выпить кофе или чего-нибудь прохладительного, то на этот раз я согласился сразу, ни на секунду не засомневавшись.

III

Меня несколько удивило, что такая важная птица, как профессор Баулин, свил себе гнездо на самом верхнем, семнадцатом этаже. Правда, работало два лифта, и лестничное «скалолазание» исключалось. Подступ к двухквартирной секции закрывала стальная решетка; она отодвинулась внутрь совершенно беззвучно. Баулин нажал кнопку звонка боковой двери — та тут же отворилась: в проеме стоял молодой человек лет двадцати пяти в допальном, кремового цвета халате, будто в древнегреческом хитоне. Он был нежно-круглолицый, с длинными волосами, вьющимися на концах. Очень женственный: упитанно-мягкий, томно-задумчивый и, пожалуй, сонливо-кокетливый. Кого-то он мне напоминал. Кого-то... сошедшего с живописного полотна. Но вспоминать после изнурительного марева, когда отовсюду будто наплывали миражи, не только не хотелось, а было просто лень.

Баулин мягко произнес:

— Анатолий, приготовь, пожалуйста, кофе по-турецки, как только ты умеешь, и покорми Стаса.

Умный, понятливый Стас радостно тьякнул и засеменял на карликовых ножках в квартиру, а Анатолий, поведив манерно округлыми плечами, с растяжкой отвечал:

— Ха-ра-шоо, Гри-гоо-рий.

Когда он закрыл, дверь, Баулин без всякого смущения пояснил:

— Это мой аспирант, Анатолий Голубев. Мы с ним как братья. Очень талантлив. Приехал из Хабаровска. Можно сказать, тоже был лимитой, — напомнил он причину нашего знакомства.

Профессор определенно оставался загадочной фигурой. Вот и дверь его квартиры отворилась: мы оказались в обширном холле. Тут нас встречал бюст рыцаря! Это была прекрасная художественная работа из бронзы. Настоящий антик! Закатно-золотистый, с прозеленью в складках. Из тех, которые величаво красовались над камином в какой-нибудь старинной усадьбе или даже в рыцарском замке. Редкая, дорогая вещь... Стоял этот бюст благородного воина на черной жардиньерке, инкрустированной белым перламутром. На квадратном клейме было выдавлено: Mdina.

Думать мне, в самом деле, не хотелось, но все-таки, напрягшись, я вспомнил, что это замок рыцарей-иоаннитов на Мальте.

Баулин, как когда-то в первую нашу встречу, с благожелательным приглядом ловил мои впечатления.

— Мне столько раз хотелось побывать на Мальте, но не пришлось. А вы там были? — спросил я.

— Да! Вскоре после того, как Ордену иоаннитов разрешили вернуться из изгнания в альма-матер, то есть на Мальту. Возможно, вы знаете, что это случилось в октябре тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Еще до встречи Горбачева с Бушем.

— И до появления в Кремле командора Мальтийского ордена, — напомнил я с иронией.

— Конечно, конечно, — важно согласился Баулин. — Взгляните на нашу фотографию.

Он подвел меня к стеллажам, где в нише между томами энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона примостился групповой портрет в черно-золотистой рамке на фоне Мдинского

замка, вознесенного на скале. Среди тринадцати «паломников» я увидел весьма именитых политических деятелей, которые уже не первый год были на слуху и нередко с телеэкранов вещали нам о гласности и демократии. Баулин поглядывал на меня вопросительно, но никак не провоцировал обсуждение. Однако я почувствовал его немой упрек, точнее, недоумение, но уже втянулся в предлагаемую игру и потому предпочел отмолчаться, сам не понимая отчего.

Мы прошли в кабинет — просторный, прекрасно обставленный — вожденная мечта любого, кто добровольно обрек себя на одинокое затворничество. Левую от входа стену, от пола до потолка, закрывали стеллажи книг, а у окна в полутора метрах от него, важно расположился тускло сияющий полированной поверхностью, обширный письменный стол. Там же, из угла, выглядывал большеэкранный телевизор, а вдоль противоположной книжной стены, на темно-синей панели, крепленной металлическими угольниками, выстроились в функциональной последовательности факс, кнопочный телефон с автоответчиком и запоминающим устройством и компактный компьютер.

А над этой супертехникой модно нависала в матовой никелированной раме знаменитая картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Конечно, копия, но выполненная мастерски, да еще чуть ли не в величину подлинника. Думаю, вы ее видели: обнаженная богиня в морской раковине, а по сторонам — юноша Сатурн с обнявшей его грацией и светло, радостно беременная дева в цветастых, развевающихся одеждах, олицетворяющая Весну.

Если бы Боттичелли жил не в пятнадцатом веке, а, скажем, в девятнадцатом, тем более в нашем, двадцатом, то все, как говорится, соответствовало бы духу времени. Но в том-то и дело, что жил он в такую эпоху, когда за подобную чувственную фривольность могли... да, как еретика, и на костре сжечь! Пикантность, кроме того, заключалась еще в том, что в своих тайных шедеврах, таких, как «Рождение Венеры» или «Примавера», он писал... да, одну и ту же натурщицу — и в образе Святой Мадонны, и нагой языческой богини!

— Вы прямо-таки примагнитились к картине, — иронически усмехнулся Баулин.

Ему, конечно, доставляло удовольствие удивлять меня. Но я действительно до неприличия долго вглядывался в жемчужно-белую, огневолосую Венеру, пораженный прежде всего несоответствием ее присутствия в этом чинном кабинете.

— А вы знаете, когда тайные шедевры Боттичелли были впервые представлены широкой публике? — спросил он.

— Знаю только, что его нет в музейных собраниях России. И еще то, что в начале столетия он сделался у нас очень популярным.

— Именно так, — согласился Баулин. — Однако впервые картины Боттичелли — пикантные, понятно — были извлечены из частных коллекций Медичи, Лоренцо Великолепного, для всеобщего обозрения в середине прошлого века.

— А до этого в течение веков были доступны только избранным, не так ли?

— Да, только избранным, — с подчеркнутым достоинством подтвердил профессор.

— А можно спросить... Впрочем, нет, — смутился я. — Наши пристрастия и привязанности уж очень индивидуальны.

— Это справедливо. Но я, кажется, догадался, о чем вы хотели спросить? — уже мягко, благожелательно произнес он. — Так вот, Боттичелли меня восхищает как таковой. Не столько как ярчайший представитель великой — необъяснимой! фантастической! — плеяды итальянского Ренессанса, но и как страстный поклонник языческой античности. Да, он был нестойким христианином, потому что на каком-то этапе уверовал в этические нормы эпикурейства. А согласно эпикурейской философии, как, возможно, вы знаете, вечной жизни не существует. Душа умирает вместе с бренным телом, а значит: «Спешите наслаждаться!» И беспечный эпикуреец Сандро Боттичелли спешил преуспеть во всем, — с довольной улыбкой заключил Баулин. Помолчав, с подчеркнутой убежденностью повторил: — Да, Боттичелли меня восхищает как таковой.

Он указал на угловой диван, около которого стоял низкий столик с круглой поверхностью дымчатого стекла, и предложил:

— Присаживайтесь! Сейчас нам принесут кофе. Может быть, вы хотите холодной минеральной воды или сока? Как насчет крепких напитков?

— Только кофе, — отвечал я.

Житейские сведения о Сандро Боттичелли ошарашили меня. А хотелось восхищаться! Потому что звуковым миражем возник приглушенный рокот волн, тот, какому мы восторженно внимаем, прижав к уху морскую раковину. Да и само имя художника перекатывалось в сознании, как прибрежные камушки: Сандро, Сан-нн-дро, Бо-т-ти-че-л-ли...

Впервые в общении с Баулиным я ощутил себя профаном, хотя и понимал, что в его суждениях о жизнелюбивом флорентийце не все именно так, как он преподносит. Но главное, я учуял, как умело Баулин заставляет меня играть на своем, неведомом мне поле, да еще и по неизвестным правилам.

Разговор прервался: в кабинет входил с серебряным подносом аспирант, назывной брат Баулина, Анатолий Голубев.

IV

Мы пили кофе. Голубев исчез так же незаметно, как и появился. Но входная-то дверь не открывалась! «Значит, квартиры соединены? — пораженно сообразил я. — Сколько же еще меня будут здесь дурачить?»

Я понимал, что Баулин ждет моего вопроса о соединенности квартир, но не хотел спрашивать. «Черт возьми, — возмущался в себе, — дернула нечистая попасть сюда...»

— Вы зря сердитесь, — опять обволакивая меня подчеркнутым расположением, произнес Баулин. — Я вам покажу обе квартиры, если вы желаете. Они действительно соединены. Но, прежде всего, давайте взглянем на Москву. Из соседней комнаты. Вы не поверите: отсюда даже Кремль виден! Как на ладони! Правда, в бинокль. Ну, идемте же, взглянем на Москву! — И, сделав паузу, подчеркнул: — С нашего птичьего полета.

Следующая комната меня потрясла больше всего предыдущего. Я остолбенел уже при входе, как внезапно ослепший... Окно было зашторено, и в сумеречной темноте только узкая солнечная полоска наискось прочерчивала длинный черный стол в белой ералашной инкрустации. Он напоминал школьную грифельную доску, исписанную мелом. Угадывалась вся иерархия масонской символики, включая и цифровую кабалистику. А в са-

мом центре размещалась шестиконечная звезда в ореоле пентаграмм. Столешница, похожая на хаотическую картину ночного неба, занимала половину пространства комнаты.

Баулин щелкнул клавишей выключателя, и на глухой восточной стене, обклеенной шелковистыми обоями лилового цвета, засветился большой фарфоровый глаз в золотом равностороннем треугольнике. Полумрак наполнился тенями, стал еще более загадочным. Я чувствовал, с каким удовлетворением и превосходством хозяин кривит тонкогубую усмешку за моей спиной. Тут зазвонил телефон, и он поспешил в кабинет.

Некоторое время я обалдело смотрел в одинокий питекантропный глаз размером со столовое блюдо. И все больше испытывал раздражение: «Зачем я здесь? Для чего?»

В соседней комнате тявкнул Стас, и я, забыв о приличии, подкрался к двери в следующую комнату, чуть приоткрыл ее. У трюмо грустно сидел аспирант Анатолий Голубев, шлифуя пилочкой ногти. А Стас черной колбасой покорно дремал на его обнажившихся коленях. И я невольно подумал: «Так спят только дети...»

Крадучись, отошел от двери, тихо притворив ее. Я чувствовал себя еще больше раздосадованным. Конечно, прежде всего на себя. И уже решил, было, навсегда распрощаться с профессором, прервать это ненужное знакомство, как вспомнил о картине Боттичелли. Я понял, что не могу уйти, не разгадав тайну ее присутствия в столь странном месте.

Я нагло уселся в председательское кресло перед грифельной столешницей и тут только сообразил посчитать кресла: их было тринадцать! «Ну хорошо, пусть тринадцать, — говорил себе. — Как на групповом портрете. Допустим, тайная масонская вечеря. Но причем-таки Боттичелли? При чем обнаженная Венера? Ведь нелогично! Но тайна, тайна-то существует...»

V

Мое одиночество затягивалось, как, по-видимому, и телефонный разговор Баулина, но я подозревал, что он умышленно томит меня в столь неприветливой, взыскующей атмосфере. Что ж, сказал себе, постараюсь разгадать тайну Боттичелли.

Я начал лихорадочно прокручивать все то, что знал о пятнадцатом веке. А знал я немало, так как в долгое гриппозное недомогание в последнюю из череды гнетущих зим — серых, овянутых мраком, с деньками тусклыми, не разгоравшимися с вялых рассветов до скорых, обвальнo-черных сумерек, — мучаясь то температурным жаром, когда не знаешь, куда себя деть, то липким холодным бессилием, когда все до чертиков, так вот, в последнюю уныло мрачную зиму, в часы облегчения, я вдруг жадно, прямо-таки по-юношески страстно — в попытках прозреть! — начитывал то у Карамзина, то у Ключевского, то в энциклопедиях нежданно вспыхивающие понятия о *конце света*, о *конце империй*, в частности, о *падении Константинополя* под натиском турок-османов и тут же последовавшем воскресении Руси — рождении России!

И еще начитывал об открытии Нового Света, о покорении Мирового океана, сразу сделавшем единой планету, — о Христофоре Колумбе, величайшем мореплавателе, хотя и умершем в заблуждении, что открыл всего лишь новый путь в Азию. И о той поразительной исторической несправедливости, что континент, открытый им, получил не его имя, а вполне заурядного банковского служащего, рядового штурмана последующих экспедиций, флорентийца Америго Веспуччи. Однако — далеко не заурядного писателя! Его письма о путешествиях за моря-океаны читала вся просвещенная Европа и в благодарность за яркие описания нарекла открытые земли в его честь — Америкой!

А началось все с цифры (и это часто случается, по крайней мере, у меня), вернее, с года: 1992-го... С вспыхнувшего в раскаленном мозгу вопроса: а почему все-таки рухнул СССР, а исторически — Российская империя, в самый канун именно этого года, который по Божественному календарю 7500-й от сотворения мира?.. И мысль заметалась: а почему именно в этот год Америка сделалась единственной супердержавой? Ровно пятьсот лет спустя после открытия Колумба — в том, 7000 году, когда, между прочим, вся христианская Европа ждала конца света? Но этого не только не произошло, наоборот, по Промыслу Божьему из небытия воскресла православная Русь, наследовав угасшую Византию, и на старом Европейском континенте началось новое противостояние: России против объединенной Европы, которую в двадца-

том веке дополнил заокеанский Новый Свет, — победно дополнил!

Мы все-таки заблуждаемся в отечественной истории, думалось мне. Часто забываем, что с тринадцатого века, с Батыевых нашествий, и до пятнадцатого века, до турецких завоеваний в Малой Азии и Южной Европе, кульминацией которых стало падение Константинополя, то есть более двух столетий, восточно-славянская Русь, или Московия, для всей Западной Европы практически не существовала. Значительная часть Руси — и, может быть, даже большая — входила в польско-литовское государство, а Московия была подчиненной, вассальной частью Золотой Орды.

Это мы мыслим собственную историю нераздельной, но, на взгляд со стороны, покоренная, разгромленная, разъединенная Русь действительно не существовала, а владими́ро-суздальская, московская ее часть незаметно переплавлялась в разноплеменной Золотой Орде в азиатчину, в нечто промежуточное.

Так мыслили о нас в Европе, говорил я себе, и совсем не печалились о нашей судьбе, давно смирившись с нашей погибелью. Это мы знаем, что все было иначе, совсем не так, как представляли европейцы, и помним, что спаслись мы своей не порушенной верой: православием! Заступницей же православия была Византия, слабеющая Восточно-римская империя, константинопольские патриархи, — и Русь не поганилась, не сдавалась: жила!

И вот Константинополь пал... А до этого были разгромлены теми же османами православная Сербия и православная Болгария, и на священном престоле в Риме католические папы, считающие себя в несусветной гордыне предстоятелями самого Господа, казалось бы, окончательно осуществили свою затаенную мечту — об уничтожении православия. Да, уничтожении христианских постулатов, идущих от живой жизни Христа. Стирание их из сердец и умов миллионов ради перевоплощения в цезаристские догмы латинянства.

Но не вышло! Хоть и единственная, но православная Русь выстояла непреклонным бастионом против натиска Ватикана. Более того, изумленная Европа была прямо-таки ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных рубежах.

Разве такое случается без Божьей на то воли?..

VI

Я чувствовал, что затянулись мои исторические реминисценции, а пора было бы ответить на вопрос о великолепном Сандро Боттичелли: в чем все-таки тайна присутствия его чувственной картины в профессорском кабинете? Мне казалось, что я знаю ответ, только вот никак не могу высветить. А потому продолжал упорно, как говорится, ломать голову: ну вот... вот же! Но нет, не поддавалось, ускользало. Я пытался мыслить парадоксально. В такой неадекватной обстановке, убеждал себя, возможен только парадоксальный ответ. И он выкристаллизовывался: мол, обнаженное женское тело — это тайная, неуемная жажда власти. Над всем и вся! Да, говорил себе, это аллегория, символ голой власти... Да, подобно обнаженной грации!

Но этот парадоксальный выверт не убеждал меня. Не только вызывал сомнение, но и неприятие. Я чувствовал, что ответ проще... намного проще! И я его знаю. Но отчего же никак не могу найти? Он ускользает, как обмылок в горячей воде: вот же, а не ухватишь...

В глубокой сосредоточенности, обхватив голову руками, уткнувшись в черную столешницу, я не заметил, как вернулся Баулин, как неслышно прошел к окну, и только вздрогнул, вскинувшись, когда он шумно распахнул шторы и мощный солнечный поток хлынул в это странное помещение, делая его совершенно неправдоподобным, несерьезным, вроде детской игровой комнаты. «И чем не дети, — подумал сердито, — эти самые масоны, играющие в рыцарей, во вселенские тайны? — И подтвердил себе: — Да, аллегория голой власти».

А Баулин патетически восклицал:

— Идите же к окну! Смотрите: у наших ног наша Москва!

Определения «наши, наша» на этот раз меня покоробили, но теперь я понимал, что это не случайная оговорка, а настойчивое подчеркивание торжества над Россией, по крайней мере, над ее столицей. Но я с этим не был согласен, а потому отвечал с вызовом:

— Москва ничья. Пока никем не завоевана. Как и Россия. И надеюсь, никогда не будет! — Добавил непримиримо: — Хотя в вожделениях кое-кого и бытует подобное заблуждение. Вы согласны?

— Вы меня не совсем правильно поняли, — поспешил оправдаться Баулин. — Я имел в виду только нас двоих.

Он улыбался, но улыбка у него получилась мертвой. Видимо, оттого, что глаза зло похолодели, сделавшись ледяными, — тусклого мартовского льда. И, вообще, лицо его снова как бы превратилось в маску — из измятой фольги.

— Скажите, — я нарочито продолжал оставаться в председательском кресле, — в чем смысл присутствия в вашем столь чинном кабинете пикантной картины Боттичелли?

— Мы вольные люди, — попытался пошутить он. Ядовито добавил: — А вы очень догадливы. Так попробуйте разгадать!

— Я, кажется, догадался. Это — символ власти.

— Вот как! — поразился он и искренне расхохотался каким-то шершавым, скрежещущим смешком — будто мял фольгу. — Что-то похожее, — произнес он сквозь горловой клекот. — Как в известной детской игре, когда кричат: «Холодно! Горячо!» То есть недалеко от истины, если мыслить парадоксально. Но я вас должен разочаровать и произнести: «Холодно!» Даже: «Очень холодно!» Вам, следует знать, что существует семьдесят семь смыслов и только один верен.

— Каббала! — воскликнул я. — Высшая мудрость, не так ли?

— Вы правильно догадались. — И вдруг, оборвав смех, важно заявил: — Я точно рассчитал: мы с вами обречены на сотрудничество.

— Вы мне предлагаете присоединиться к вам? В этом моя обреченность?

— Разве вы не хотите вернуться на телевидение? — удивился он.

— Конечно, нет.

— Не могу поверить.

— Кстати, а Цайс здесь бывает? — вспомнил я Соломона Яковлевича, можно сказать, погубившего мои телевизионные ам-

биции. — Он входит в число ваших влиятельных друзей? На мальтийском групповом портрете я его не углядел.

— Ах, этот болтливый Цайс! — небрежно бросил Баулин. — Нет, он здесь не бывает. Хотя тогда постарался: ему все-таки дали кафедру.

— А Зиненко?

— О нем не стоит упоминать. Нуль! Но на что-нибудь сгодится.— И продолжал с упрямой настойчивостью: — Так, вы поняли, что мы обречены на сотрудничество? А уж раз вы побывали здесь, то тем более. Мы ведь не умеем прощать, — как бы вскользь заметил он.

Я не стал отвечать. Встав, подошел к окну.

— Дайте, пожалуйста, бинокль,— попросил небрежно. — Хочу взглянуть на ваш Кремль. Или на наш? Кстати, к какой системе лож принадлежит ваш капитул? К шотландской? Шведской? Впрочем, я уже разгадал: вы же мальтийские рыцари! Так сказать, основоположники!

Однако на этот раз Баулин не поддался на мою провокацию, спросил примирительно:

— Скажите лучше, вы видите Кремль?

— А как же! Вижу даже площадь у колокольни Ивана Великого. О Боже! — воскликнул я, изображая, как жадно рассматриваю в бинокль нечто неожиданное. — Опять в Кремле непонятные иностранцы! Не то хасиды, не то папские нунции. А выступает перед ними трехпалый высокий господин в мантии и конфедератке.

— Не может быть! — изумился Баулин.

— Точно! Я ведь вижу, — настаивал я.

— Дайте-ка бинокль, — нервно потребовал профессор.

VII

Конечно, я разыгрывал Баулина. Даже провоцировал. Я не забыл его мелкую угрозу: мол, мы не прощаем. Но я не из пугливых. Наоборот, когда меня пугают, становлюсь тверже, решительнее. Понятно, никакого господина, ни хасидов с нунциями на площади у колокольни Ивана Великого не было. Да и сама площадь обозначалась лишь царь-пушкой.

— А вы шутник! — сдерживая гнев, выдавил раздосадованный Баулин.

— Почему же? — с непорочной наивностью возразил я. — Они просто скрылись за царь-пушкой.

Он едва сдерживал себя. Хладнокровно, в басовитой приглушенности чеканил фразы:

— Мне не хотелось бы в вас разочаровываться. Мы решили вернуть вас на телевидение. Станете телеведущим. Надеюсь, вы понимаете, что это сейчас определяющая профессия. Очень влиятельная. Мы гарантируем вам полную свободу действий. Только изредка будем обращаться с просьбами. Неужели вас не устраивает такое лестное предложение?

— Нет, мне это не нужно.

— Вы подумайте. Взвесьте возможности, — настаивал он.

— Нет, и думать не к чему. Раньше вербовали в тайных осведомителей, в сексоты, а теперь, выходит, вербуют в тайных рыцарей. Странно все это.

— Я же вам подчеркнул: раз вы оказались здесь, — и он провел рукой по полукругу, задержавшись на треугольнике со светящимся глазом и на черной столешнице, испещренной символикой, — то, поймите, мы теперь обречены на сотрудничество. Точнее, на согласие. В противном случае мы вынуждены будем поискать способы воздействия.

— Отмщения? Мести? Мне? — возмущенно спрашивал я. — Проиграли, между прочим, вы, Григорий Бенедиктович. Отмщение, прежде всего, пожалует к вам.

— Это почему же?

— Ну как же? Пустили профана в святая святых, а он может, как Цайс, оказаться болтливым. Что будет тогда?

— Вы этого не сделаете, — прошептал, будто прошипел, он.

— Пожалуй. Потому что, и тут вы правы, мы действительно обречены на согласие. Но только с вами. Вдвоем. И согласие самое элементарное: здесь я не был, а знакомство наше не возобновлялось. Вы ведь сразу поняли, — внушал я, — что для тайной деятельности, для вашей невидимой власти я абсолютно не пригоден. Нуль. Как аспирант Зиненко.

— И все-таки я тепло надежду, — неуверенно настаивал он.

— Зря! Как в детской игре: «Холодно!»

— Хорошо, я принимаю ваше условие. Однако с великим сожалением.

— А ваш нежный юноша, — сказал я жестко и посмотрел прямо ему в глаза, — ваш аспирант Анатолий Голубев, уверен, будет молчать... — И тут я замер, потому что меня осенило: «Да вот же разгадка тайны картины Боттичелли! Ведь Голубев — копия флорентийца!»

Потрясенно уставился я в холодное, неподвижное серебро баулинских глаз и поражался, что он, как каменный истукан, выдерживает мой взгляд. Я не знал, как выразить то, что и раньше чувствовал, а теперь постиг: язык присох к гортани... «Да ведь это единственный верный смысл из семидесяти семи! — восклицал в себе. — И заключается в дважды произнесенной Баулиным фразе: «Боттичелли меня восхищает как таковой». То есть сам Сандро Боттичелли!»

Я оттого и мучился — ощущая, почти угадывая, почти догадываясь, но не хватало импульса, намека, удачи — чуть-чуть! И вот наконец осенило: я увидел молодого Боттичелли в правом углу его знаменитой картины «Поклонение волхвов» — в верблюжьей хитоне, с завитыми рыжими волосами. Волоокий, паточно-красивый, с губами бантиком... В задумчивой грусти, в убежденном высокомерии... Однако и в капризном недовольстве, которое свойственно томным, знающим себе цену натурам. В общем, *утонченно-боттичеллиевское*. В нем самом! То, о чем я прочел и запомнил в те же самые гриппозные две недели, листая книжки-альбомы о художниках Ренессанса.

Да, Анатолий Голубев скопировал Сандро Боттичелли! Возможно даже, по желанию Баулина. О Боже, как непонятлив я во всем, что касается противоестественного! Потому-то и не отсыхал мой язык от гортани. Наконец я его отодрал, произнес хрипло:

— Я знаю, когда вы снимете Боттичелли. Как только появится новый аспирант.

— Любопытно, — с ледяной корректностью отвечал Баулин.

— По предложенной вами игре, — хрипел я, — лучше сказать: «Теплее» или даже «Горячо!»

— Более чем любопытно. — И он поклокотал горловым смешком.

— Вы знаете, я догадался! — выкрикнул я.

— О чем? Ха-ха...

— Вы действительно сказали правду. Вам нравится Боттичелли — как таковой! И в этом единственный смысл! Из всех семидесяти семи!

— Не понял. Что вы имеете в виду?

Он сильно смутился. А я уже спокойно продолжал:

— Так вот, Григорий Бенедиктович, ваш аспирант Анатолий Голубев — вылитый Боттичелли. Я вспомнил автопортрет художника.

— Вы меня удивили... Просто поразительно, — промямлил он.

— Скажите лучше: «Горячо!»

— Я скажу другое: в вас я не ошибался.

— Ну что ж, спасибо. Вы меня достаточно наудивляли сегодня, наконец и мне удалось: я разгадал вашу тайну, — подчеркнул я. — А теперь давайте расстанемся. И, думаю, навсегда.

— Что ж, с большим сожалением, — растерянно отвечал он.

На том мы и расстались. С тех пор в своем теплостанском лесопарке я ни разу его не встретил. Хотя прогуливаюсь там почти ежедневно — и в разное время! Он исчез, будто в преисподнюю провалился. Иногда у меня возникает острое желание выяснить: а существует ли он? Более того, существовал ли вообще? Для этого надо поступить очень просто: подняться на семнадцатый этаж краснокирпичного элитного дома и нажать на одну из двух кнопок. Но почему-то я этого не делаю.

ВОРОНЁНОК

В полном отчаянии Наталья Владимировна искала Павлика по московским моргам. Это была такая жуть, такая немыслимость, что она перестала сомневаться в собственном сумасшествии. И в этом ирреальном, запредельном кошмаре лишь малая точка, самая крошечная надежда, последний проблеск рассудка удерживали ее от окончательного душевного краха — то, что нигде не находила.

Даже среди изуродованных трупов, неузнаваемых лиц, даже частей человеческого тела она непременно его, Павлика, определила бы — так бесконечно знала в нем все: сутуловатость фигуры, тонкость и длину шеи, кистей рук; остро, углами торчащие лопатки, будто когда-то выростали крылья, а какой-то злодей их срезал. И каждую родинку знала, и каждый шрамик, и особый пушок на молочно-бледной, ребристой груди — тончайшие, прямые, блестящие, как шелковые нити, черные волосы, похожие издали на бархатный лоскуток... Уже не говоря о его узкой голове с прямым, римским носом и удивленно раскрытыми большими глазами, которые смотрели на людей пристально — с доверчивостью и вниманием. Его пухлый, детский рот, говорящий об обидчивости, но и незлобivosti. Его беломраморный лоб — мыслителя, книжника.

Он был привлекателен. Нет, не красавчик: нос чуть длиннее, губы чуть толще, лоб чуть выше, но в скопище людей он запомнился сразу, и именно необычностью своего лица, как бы изнутри светящегося. В нем, в этом бледном одухотворенном лице, угадывалась натура восторженная, ранимая и — чистая, светлая.

С детства, с самого младенчества, она ласково называла его Воронёнком, и только ей, сестре своей, он позволял себя так называть, не надуваясь и не протестуя. Впрочем, она звала его так только в тех случаях, когда они бывали наедине, а при ком-то всегда Павликом. И он знал, что в это ласковое прозвище Тата вкладывает всю безграничность своей привязанности к нему, своей любви.

Она была его старшей, единственной сестрой, и старше на четырнадцать лет, но по обстоятельствам жизни не сестрой, а ма-

терью. Они остались сиротами, когда ей было восемнадцать, а ему четыре, и она вынужденно бросила педагогический институт, чтобы устроиться воспитательницей в детский сад, где при ней подрастал он. У них не было никаких родственников, даже очень дальних. Может быть, где-то они и были, но в Москве никого. Знакомые родителей не оставляли их, но в основном советами да скромными подарками. Это внимание радовало Наталью Владимировну, внушало уверенность, что она сумеет поднять Павлика, как обещала перед смертью маме.

В общем, восемнадцатилетняя Тата поклялась сделать все для Павлика, чего не успели родители. О своей судьбе она не думала. Вернее, изредка позволяла себе помечтать о добром и благородном мужчине, который так преданно полюбит ее, а она его, как любили друг друга родители. И почему-то всегда он ей представлялся немолодым, с седыми висками, как у отца.

Так незаметно минуло двадцать лет, и ничего особого в ее жизни не случилось. Вся она, жизнь ее, была посвящена Павлику — и радовалась она его радостями, и горевала его печалью. И уже окончательно смирилась с тем, что собственная судьба у нее не сложится.

Павлик к тому времени окончил радиотехнический институт, был принят на работу в научно-исследовательский институт, вдохновенно включился в разработку нового направления, что гарантировало скорую кандидатскую диссертацию. И это радовало ее. Беспокоило другое, то, что Павлик со всей своей неумной искренностью втянулся в круговорот политики.

Году в 89-м он объявил себя демократом, восторженно бегал на митинги, возносил Ельцина и гордился, что однажды с ним разговаривал и пожимал руку. Такими же были его новые приятели, ходившие на демократические митинги так же дружно, как когда-то на первомайские демонстрации. Восторженный Павлик и среди них выделялся: в августе 91-го он бросился защищать кумира и второй раз удостоился пожатия руки — Ельцин лично вручил ему удостоверение защитника Белого дома» с собственноручной подписью.

Павлик Алферов был на седьмом небе от счастья и доказывал сестре, что этот документ исторический и выше всяких кандидатских диссертаций, которых тысячи. Она так не считала. Однако оттянуть Павлика от политики и вернуть к научной работе ей не удалось.

Правда, когда случилось великое ограбление народа, в январе 92-го, и они лишились своего малого вклада, он как-то замкнулся, притих и, к ее радости, вновь сосредоточился на своей электронике: диссертация быстро подвинулась к завершению. В тот год все чаще она слышала от прозревшего брата грустно-покаянное: «Эх, не сотвори себе кумира!»

А однажды, весной 93-го, когда президент устроил очередной наскок на парламент, он сказал ей: «Я думаю, папа с мамой были бы на другой стороне. Ведь правда, Тата? Потому что на той стороне справедливость...» И, удивляясь, спросил ее: «Ты-то, Татуль, с кем?» И теперь она корила себя за то, что поспешно, непродуманно выпалила: «Конечно, с теми, где справедливость». И он, задумавшись, произнес: «Я тоже».

Боже, как же неосторожно она тогда поступила, зная незащищенность его души, безоглядность поступков. Он свято чтит отца и, конечно, маму, безоговорочно верил ей, и если они втроем на той стороне, то, значит, он заблуждался и, значит, не прав.

С особым доверием он относился к отцу, которого, в общем-то, по жизни не помнил. Отец умер, когда ему еще не исполнилось и трех лет. Но с его смерти, собственно говоря, и началась жизненная память Павлика — гроб, похороны, безутешные рыдания... Это потом он узнавал, в основном от нее, от Натальи Владимировны, какой отец у них был добрый и мужественный, ушедший на фронт в семнадцать лет. Сколько раз был ранен, выживал, и все-таки раны достали его... И как он любил маму, которая восьмилетней девочкой пережила ленинградскую блокаду, а потому была очень слабенькой, худенькой, болезненной... А отец, когда она заболела, утешая и ободряя, часто носил ее на руках, — да, как девочку. Он и их, детей своих, любил носить на руках...

Владимир Николаевич, их отец, был светловолосым, спокойным, сильным, и Наталья Владимировна наследовала его, можно сказать, скопировала — крепостью фигуры, уравновешенностью, упорством. А вот Павлик был нервный, схватывал все на лету, вечно спешил и как бы скопировал Тасечку — так отец ласково называл мать. В отличие от Владимира Николаевича Таисия Павловна была смуглая, чернявая, тонкая, как стебелек, напоминающая не то испанку, не то турчанку. Многие люди, даже знакомые, просто не верили, что Тата и Павлик — брат с сестрой, более того, от одних и тех же родителей: так они различались внешне! Но внутренне были спаяны нераздельно, неразлучно.

Наталья Владимировна, конечно, знала внутренний мир Павлика не хуже его характера и телесных особенностей. Поэтому, когда он сказал, что пойдет защищать Дом Советов — уже не Белый дом, а именно Дом Советов, — защищать по истинной правде и справедливости, она не решилась его останавливать. Однако мрачно пошутила: мол, теперь ты становишься индейцем, красно-коричневым, и сам добровольно отправляешься в резервацию, за колючую проволоку... А он отвечал весело: «Представляешь, Тата, а они теперь так и зовут меня в институте — красно-коричневым, коммунякой, и обещают уволить». Они — это его демократические сослуживцы. И она именно тогда поняла, что трещина между бывшими советскими людьми разверзлась в пропасть.

Наталья Владимировна чувствовала — знала! — что Павлик мертв, но из последних сил, в последнем отчаянии заставляла себя не думать об этом, — и ни за что не верить! Но удавалось это лишь в первые дни после расстрела и полусожжения Дома Советов, когда она, потеряв голову, упрямо обхаживала московские морги. Однако в пустое, ненужное теперь воскресенье, десятого октября, не выдержала и рыдала безутешно с самого утра.

Где-то в полдень ей почудилось — да нет же! — реально привиделось, что явился виноватый Павлик просить у нее прощения. Но она разрыдалась еще сильнее и ни в какую не хотела его прощать. И ни в какую не хотела мириться с тем, что он явил-

ся призраком, а не вживе. И вообще, Воронёнок ее ужаснул своим окровавленным видом. Особенно тем, что голова у него как бы была вставлена в плечи, притом скособоченно, — и совсем исчезла тонкая шея, а на лбу наискось, от волос к правому глазу, казавшемуся пустым, запеклась вытянутой змейкой кровь. «Нет! нет!» — стонала Наталья Владимировна, и он, виноватый, исчез. Она тут же опомнилась, принялась себя нещадно корить, не соображая за что. И коря, и ругая себя, она вдруг со всей ясностью поняла, что действительно сходит с ума.

Она схватила телефонную трубку, набрала номер подруги — такой же учительницы младших классов, работавшей в той же самой школе и жившей по соседству. В отчаянии умоляла немедленно прийти, потому что она, да, на полном серьезе сходит с ума. Подруга, Нина Георгиевна, естественно, испугалась, обещала тут же прибежать.

Наталья Владимировна отрешенно ждала. Впервые за целый день она осмысленно посмотрела в окно и удивилась, как быстро подкрались сумерки. Как вдали, за лесопарком, кроваво растекался закат, затянутый серой дымкой. И ощущала такое бесконечное одиночество, такую гнетущую вечность, что вся ее жизнь представилась бессмысленной, — и жить ей больше не хотелось. Однако именно осознание бессмысленности прожитой жизни и нежелание жить дальше успокоили ее. И возникло самое простое решение: если Павлик мертв, то и ей лучше уйти...

Раз так, думала Наталья Владимировна, то остается только завершить некоторые дела, а затем спокойно найти верный способ очутиться там, где отец с матерью и где теперь Воронёнок. Это решение оказалось спасительным, вернуло ее в реальность. Ей даже захотелось поесть, по крайней мере, попить чаю. Чайник уже закипел, когда в дверь коротко позвонили. Она обрадовалась, что прибежала Нина. Открывала дверь, не раздумывая, без предупредительного «Кто там?», и остолбенела: перед ней стоял худощавый мужчина в темном плаще и кепочке.

Лицо у него было жесткое. Из тех суровых и не улыбочивых, которые никогда не обещают приятность общения. К тому же он смотрел на нее пристально, даже подозрительно.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказала она устало.

— Простите, вы сестра Павла Алферова?

— Да. Заходите, — испуганно произнесла она и почувствовала, как ее покидают силы и она вот-вот потеряет сознание. Сразу обо всем догадалась: и о том, зачем он пришел, что ей сообщит, но, прежде всего, о том, что это Павлик его прислал, — да, чтобы она его простила, как бывало в детстве.

Наталье Владимировне хватило сил пройти в комнату и опуститься в кресло. Она слышала, как осторожно незнакомец прикрыл дверь. Не раздеваясь, проследовал за ней. Только снял кепку, оказавшись обширно, по-ленински лысым. В настороженном молчании долго вглядывались друг в друга. Она с отчаянной мольбой, в последней надежде искала на его жестком непроницаемом лице признак доброй вести, чуда спасения. И не находила.

— Говорите, — прошептала она.

— Мне кажется, вы догадываетесь, — осторожно произнес он.

— Говорите всю правду, прошу вас.

— Вы уже знаете, что Павел погиб? — глухо спросил он.

— А вы это видели?! — вскинулась она и посмотрела на него с ненавистью, с проклятием.

— Да, — отвечал он, выдержав ее взгляд, и опустил голову.

— Ну говорите же! — занервничала она. — Скажите, он погиб наверху? От танковых снарядов?

— Вы разве об этом знаете? — удивился он.

— Нет, я ничего не знаю! И ничего знать не хочу! — восклицала она. Но взяла себя в руки, заговорила отрешенно: — Просто я знаю, что он любил высоту. Любил смотреть на Москву с птичьего полета. Когда был маленьким... Да, когда был маленьким, всегда просил меня съездить с ним на Ленинские горы. Особенно в дни салютов. — И замолчала. Усиленно терла ладонями лицо, чтобы опомниться. — Когда увидела по телевизору, что они стреляют из танков по верхним этажам, — продолжала отрешенно, — сразу почувствовала, что Воронёнок там. Он был там?

— Да, там, — подтвердил он.

— Простите, как вас зовут? Ах, вспомнила. Вы же сказали: Константин Петрович.

— Разве я говорил? — удивился он.

— Ах, нет, это Павлик сказал, когда приходил домой в один из дней.

— Возможно. Мы с ним часто беседовали. Он был в моем подчинении.

— Да, да, вы же военный, — сказала она. — А Павлика даже в армию не призывали... Ну, рассказывайте, рассказывайте, — требовала Наталья Владимировна. — Вы кто по званию? Наш отец тоже был военным.

— Подполковник, — сказал он.

— И где служите?

— Уже не служу, в отставке.

— Ну, хорошо. Рассказывайте.

— Это случилось на тринадцатом этаже...

— Да, да, я об этом знаю.

— Откуда? — опять удивился он.

— Знаю, знаю, — повторила она в угрюмой настойчивости.

— Стреляли кумулятивно-термитными снарядами...

— Что это такое?

— Это страшно: громадная убойная сила и зажигание. Я случайно оказался внизу. Это меня спасло. А вашего брата... В общем, его зацепил снаряд. — Подполковник говорил с опущенной головой. Смотреть в лицо Наталье Владимировне он не мог. Будто бы был виноват в гибели ее Воронёнка. — В общем, — заключил он, — я посчитал своим долгом... Ну, понимаете... Павел как-то упомянул, что если с ним что-то случится, то Тата, то есть вы, не переживете.

— Да, да, конечно. От такого можно сойти с ума. — Слезы сами по себе катились по ее щекам.

— В общем, вот, — и Константин Петрович положил на стол газетный сверток. — Тут удостоверение личности, записная книжка и вложенные в нее деньги. Не знаю, правильно ли я поступил? Но думаю: правильно.

— А он-то сам где? — недоуменно спросила она.

— Не понимаю вас...

— Как же! Я все морги обошла, а его нигде нет...

Константин Петрович понял, что всю правду он никогда не скажет. Впрочем, он понял это еще раньше — сразу же, как это случилось. Но сейчас он вновь, наяву, увидел то замкнутое про-

странство, где буйствовал снаряд. Уже горели ковры, мебель, и он задыхался от гари и дыма, и от острого запаха свежей обильной крови. И еще от чего-то более острого, отвращающего, мутящего сознание — от жути изуродованных тел.

Он надеялся его, Павла Алферова, спасти. Надеялся, что он только ранен. Но вот, наконец, увидел и его: с оторванной мальчишеской головой — сплюсненной, расколотой. И сквозь жаркую серую пелену сумел разглядеть на панели стены мягкое, звездобразное мозговое пятно.

Он не соображал тогда, зачем переворачивает обезглавленный труп, вытаскивает из кармана куртки, пропитанной кровью, удостоверение и записную книжку. Но делал это, подозревая нечто худшее, более ужасное...

Как же теперь он может рассказать такое его сестре? Как может ответить на вопрос, за что убит ее брат? В Афганистане бывало и пострашнее, но там шла война, а здесь, в самом центре Москвы... Да, за что убит этот чистый, этот наивный, этот восторженный парень, к которому он за все эти беспокойные дни и бессонные ночи душевно, искренне привязался? Ответа не было, и, он знал — не будет. Не будет и прощения. Никогда! Это он тоже знал...

— Почему вы молчите? — возмущалась Наталья Владимировна. — Я вас спрашиваю, где все же тело Павлика? Отчего я нигде его не нашла?

— Вы же знаете, что верхние этажи выгорели, — ответил он сумрачно, почти с раздражением.

— Ну и что? Как?! — вдруг дошло до нее. — И люди сгорели?

— Да. Некоторые заживо.

— Какой ужас!

— Да, ужас, — подтвердил он,

Раздался звонок в дверь. Он подозрительно взглянул на нее.

— Это Нина пришла, — устало пояснила она. — Моя подруга. Я просила ее...

Она поднялась и направилась в прихожую. Он последовал за ней. Увидев незнакомца, полнотелая, рыхлая и одинокая, как и подруга, Нина Георгиевна сильно смутилась. Но тут же забыла о своем смущении. Наталья Владимировна зарыдала в голос:

— Ниночка, Павлика больше нет! Больше нет Воронён-ка-ааа...

Константин Петрович тенью выскользнул в открытую дверь, осторожно притворив ее.

На сороковины, в субботу тринадцатого ноября, в мрачный холодный день, когда ветер пронизывал насквозь и срывался ледяной дождь, а то и хлесткая ледяная крупа, Наталья Владимировна отправилась к Дому Советов на панихиду.

После расстрела парламента Москва продолжала жить, придавленная страхом. Город наполнился тревожными слухами. Пугали, что несправедливые власти снова учинят жестокие избиения и аресты. И вообще, мол, режим, отравленный вседозволенностью, готовит по всей стране повальный террор. А начнется он именно на сороковины.

Поэтому Наталья Владимировна категорически отвергла желание верной Нины Георгиевны сопровождать ее. Мрачно шутила: «Если увезут в Лефортово, хоть передачу принесешь. Ну, а если прибудут, то кроме тебя и закопать некому».

Павлика Наталья Владимировна вместе с Ниной Георгиевной похоронила на Котляковском кладбище, где успокоились родители. Похороны выглядели как бы тайными и не вполне настоящими. В хрустальную вазу, напоминавшую кремационную урну, они положили кровавый сверточек, принесенный Константином Петровичем, — удостоверение личности и записную книжку с влипшими в нее купюрами. Все, что осталось реально-го от Павлика, — его запекшаяся кровь.

Также положили его последнюю фотографию, на которой он застенчиво, чуть виновато улыбался, и образок Спасителя. Обернули вазу-урну в белый шелк и закопали глубоко, опустив на мамин верхний гроб.

И все равно не верилось, особенно Наталье Владимировне, что Павлика больше нет и никогда не будет. Потому что многого недоставало в его смерти. Не только бездыханного тела, но, главное, той внутренней убежденности, что он действительно мертв. Какого-то совершенно неопровержимого доказательства, без чего и сама она не решалась осуществить свой тайный умысел. Несмотря ни на что, надежда на чудо не умирала в ней.

На панихиде она хотела бы отыскать бесследно исчезнувшего Константина Петровича и вытянуть из него все подробности гибели брата. Хотя и сомневалась, что он туда явится. Она догадывалась, что просто так он не отдастся в лапы рыскающего ОМОНа. Но вдруг?..

Вообще Наталья Владимировна была уверена, что народу соберется немного. Только те — такие, как она, — кому терять нечего и кого уже ничем не запугаешь. И была крайне удивлена, увидев множество людей, пришедших помянуть убиенных, причем с цветами и свечечками.

Милиция, эта страшная московская милиция, хоронилась по сторонам и была почти незаметной. И Наталья Владимировна поняла, что жестокие власти напуганы значительно больше, чем москвичи, и страх отмщения угнетает их...

Панихиду служили монахи Новоспасского монастыря у общей символической могилы со свежеструганным деревянным крестом под молодой липой с засохшими примороженными сережками. Диакон мощным басом поминал всех убиенных в междоусобной брани. «Паа-вее-л», — пробасил гулко он, и Наталья Владимировна испуганно вздрогнула, не поверив, что поминается именно ее Павлик, ее Воронёнок. Но потом зачитывали официальный список погибших, тех, чью личность удалось установить, и она к ужасу своему услышала то, чему до последнего мгновения сопротивлялась, — Алферов Павел Владимирович, двадцати четырех лет...

Публичное подтверждение гибели Павлика не взорвалось в ней рыданиями, наоборот, как-то сразу ее охватила опустошительная усталость, — и даже успокоение. Будто все, абсолютно все наконец-то завершилось в ее непоправимой трагедии.

Она тихо плакала. Вытирала слезы платочком, как женщины рядом. Горе было всеобщим. И физически чувствовала, как с нее сползает многолетний груз забот, изнурительного неверия, и она освобождается для чего-то другого, нового. И еще чувствовала, что теперь она совсем не одинока, по крайней мере, не так бесконечно и не так безысходно, какой пребывала в своей омертвелой квартире. И мелькнула странная мысль, вызвавшая в ней стыд, о том, что самой умирать необязательно, а надо жить. Потому что немало дел, завещанных ей... да, Павликом!

Наталья Владимировна вспомнила, что в сумочке у нее есть его фотография, та, какую они положили в могильную «урну», и ей вдруг захотелось пристроить ее у поминального креста, где среди цветов и горящих свечей уже стояло несколько портретов. Она нерешительно достала ее, не зная, как поступить, и печальная девушка с траурной повязкой молча и как-то знающе взяла из ее рук фото и, отцепив значок, изображающий андреевский флаг, приколола в центре креста. И Наталье Владимировне показалось, что Павлик как бы ожил, по крайней мере, в трепетном пламени свечей засветился своей застенчивой, чуть виноватой улыбкой.

— Это ваш сын? — спросила пожилая женщина в черном.

— Да, Павлик, — вздрогнула она.

— А это мой муж, — указала та на большой застекленный портрет, и ее бледное, почти меловое лицо исказила судорога.

— О Боже, сколько же горя! — произнес кто-то вслух.

А молчаливо-печальная девушка, приколовшая к кресту фото Павлика, вдруг громко, чуть нараспев принялась декламировать поэтические строки, сочиненные, похоже, тут же, во время этой суровой, по-монашески строгой панихиды:

Теперь уж им, наверно, легче.

Теперь все страшное ушло.

И только души их, как свечи,

Струят прощальное тепло.

Да, в сороковой день, когда души человеческие улетают на небеса, они прощаются со всеми теми, кто им близок и кто еще остается пребывать на этой грешной земле. Так успокоительно подумала Наталья Владимировна. А потом думала о том, что вот и Павлик отлетает в Господни выси — навечно. И, прозрев сердцем, покаянно простила своего неугомонного Воронёнка, молитвенно прося и его простить ее.

БЕГЛЫЙ ПАЛАЧ

повесть

В тот грозовой август Андрей Жвахов, вдруг нагрывший в Тульму из Рязани, принялся настойчиво убеждать меня познакомиться со стариком Кравцовым, потому что он, оказывается, тоже москвич.

Сначала я отшучивался:

— Ну и что из того? Разве это повод для знакомства? Для завязывания отношений? Да и вообще: разве мы живем в тайге или в тундре, где москвичи редкость? Здесь, в Тульме, чуть ли не в каждой семье кто-то уж обязательно зацепился за Москву, а значит, по местным понятиям, тоже москвич. Так что, начинать и с ними со всеми знакомиться?

Но тульменский рязанец Жвахов, родившийся и выросший на той же самой улице, где поселился и я, оставался неумолим:

— Но ты прикинь, он же настоящий москвич! Не наш, не местный. Он же в Москве родился. Напротив монастыря Новоспасского. Царского! Там первые Романовы похоронены. Знаешь? То-то... И они, Кравцовы, — убеждал неистово, — там изначально жили. Документально доказано!

Но я все равно отнекивался:

— Видишь ли, получается, что я для Кравцова не настоящий москвич. Я-то всего во втором поколении столичный житель.

Однако длинный, упрямый, узкоглазый Андрей Феоктистович Жвахов, мужик сорока шести лет, слесарь-ремонтник на одном из рязанских оборонных заводов, из той своеобразной породы, из которой и в солидном возрасте всё равно себя парнями считают, кстате, таковыми и остаются, так вот, Жвахов упирал в меня свой перпендикулярный взгляд, хватал запястья рук и, упершись, заостренным вытянутым носом в висок, таинственно шептал:

— Ты такое узнаешь, та-ко-о-е... Он ведь Берю охранял! — И, пугливо оглядываясь, произносил: — Генералов расстреливал. Понял? А потом сюда бежал. Когда, того... Берю-то самого порешили. С тех пор и скрывается. Ну, прикинул?

И все равно я не соглашался. Не могу до сих пор понять, отчего этот беглый палач, этот Кравцов, этот бериевец не возбуждал во мне любопытства, не притягивал к себе. Наоборот, вздыбливал брезгливое отторжение. Не гнев, а именно отторжение. Устали, наверное, мы тогда от бесконечных гулаговских жутей и особенно от неистовых, истеричных разоблачений, как всегда, с перехлестом, с руганью, с неубедительным развенчанием всего и вся. То есть всей в целом сталинской эпохи, которая была, как ни глянь, а значительной. Кроме того, частью нашей жизни. Ну а уж подручным Иосифа Виссарионовича, в первую очередь таким, как Берия, доставалось в перестроечных писаниях так, что, казалось, от ненависти бумага дымится. Причем сразу обнаружилось, что все предшествующие палачи: все эти Бронштейны, Радомысльские, Розенфельды, а по псевдонимам — Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, все эти Урицкие, Дзержинские, эти Петерсы и Ягоды, и сам апостольный вождь товарищ Ленин, — вроде бы паиньками были, такими умненькими, идейными, почти незапятнанными. Если уж русскую кровушку пускали, то только во имя счастья народного. Да и чью? Конечно, классовых врагов!

В общем, неистовая свистопляска в новой либеральной прессе, на раскрепощенных, бесцензурных радио и телевидении, почувствовавших вседозволенность и безнаказанность, в самом деле, к тому грозному августу 1991 года прямо-таки осточертела. Ну, еще одна история, думалось мне, из великого множества, еще один палач из гебистского карательного легиона, еще один иуда из миллиона бывших... Ну, еще одно запоздалое разоблачение, когда их уже десятки тысяч, еще одно натуженное покаяние — теперь уж никчемного, немощного старика...

— Нет, — твердо говорил я Жвахову, — с таким москвичом не хочу ни знакомиться, ни встречаться.

II

Был первый Спас — медовый, 14-е августа. Знаменит он еще и тем, что по церковному календарю творится малое освящение воды, а потому этот праздник также мокрым зовется. Накануне столь достопочтенного события тульменские старухи ходкой ватажкой отправились к Светлому озеру за святой водицей, — кило-

метров за двадцать от поселка, в самую глухомань мещерских лесов.

Существует легенда: в далекую старину на таинственном лесном озере, из которого вытекает речка Тульмень, объявился монах-отшельник. На острове в самом центре озера он соорудил скромный скит и часовенку. А затем, когда возникло монашеское братство, вместо часовенки возвели бревенчатую, резьбой украшенную церковку с позолоченным крестом.

Все те, немощные, что добирались до Светлого озера сквозь чащобу, торфяники да болота, не пугаясь дикого зверя, излечивались от хворей и недугов, испив целебной водицы из родника, омывшись в чудодейственном озере и, конечно, помолвившись в Спасской церковке. А те, что здоровыми приходили на молитву и покаяние, укреплялись духом и сил набирались на годы вперед, а то и на всю жизнь. И беды, и разоры всех тех, кто причастился божественных таинств в дальней, нетронутой стороне, миновали даже при всеобщем несчастье или море. Утверждают, и крепко верят до сих пор, что праведники молитвенные поселились на Светлом озере аж при святом равноапостольном князе Владимире Святославовиче, в честь которого на первый Спас в православных храмах произносятся воспоминательные молитвы.

Но не все вечно в нашем грешном мире — даже праведное! Наступили новые, недобрые времена, в веке восемнадцатом, когда в здешних окрестностях объявились заводчики Баташовы. Они запрудили речку Тульмень, чтобы воды в избытке хватало для огнедышащей домны, для адской чугунной лавы, для всего железоделательного производства. Сначала вроде бы ничего не случилось, но наступил расплатный год — истинно потопный! Остановилась Тульмень, набухла, морем-океаном разлилась, а в лесных истоках, на Светлом озере, из-за великих грехов людских, по Божьей каре исчез, провалился в бездонную глубину отшельничий остров — с церковью, со скитом и будто бы с самими монахами. Вроде и не было его, вроде причудился. Вроде фантазия, видение. Но нет, до сих пор утверждают: стоит нетленной на озерном дне красавица-церковка, сияет крестной позолотой. И те, кто глубже обыкновенного могут нырнуть, уже, мол, не раз видели ее в лучезарном подводном царстве.

Так ли это, или не так, однако верят в чудодейственные свойства купания в Светлом озере. И еще в то, что накануне первого Спаса приподнимается со дна китеж-церковка и узреть ее даже с берега можно. Ну, а кто узреет, так ему и грехи прощаются, и дается крепость душевная. В общем, благоволение сил небесных. Более того, верят, что поднимает Господь сей непорочный храм из глубин темных и, когда явит его на свет, то произойдут чудеса вселенские. А случится это должно именно в канун первого Спаса. Такова легенда. И, вот в тот тревожный, ливневый август девяносто первого года ватажка тульменских старух вернулась из своего паломничества на Светлое озеро в усмерть перепуганной. Конечно, первым делом, в подробностях изложили о приключении отцу Серафиму, настоятелю Крестовоздвиженской церкви, а уж потом и всем остальным.

Старухи в страхе рассказывали: мол, вода в озере в нынешний год не светлая, а густотемная — ничего не узреть. Будто бы, как только Василиса Гулина, старостиха церковная, пустила в озеро руку, так тут же выдернула, чуть не лишившись чувств. Она, рука-то, вся была словно в крови. А на чистом небе, неведомо откуда взявшись, вдруг распласталась сизая туча. А на ней сам Илья-пророк на огненной колеснице. И как взялся пулять в них молнии-стрелы, да градом посыпать. «А ён, — пояснили перебивчиво, — с голубиное яйцо. Ужо без памяти бежали до Милованова, до Надькиной избы, чтобы переждать, опомниться...»

И далее рассказывали: «А когда мимо-ть бывшего лагеря трусили, где торфодобыча производилась, так тама, где ухоботьями уцелели бараки-развалюхи и проволока-колючка, и вышка охранная, так вот, тама будто бы черные тени метались, будто невольники ожили и этак угугукуют, а на вышке, будто бы, сам начальник стоит, известный всем Кравцов, в малиновой фуражке и с ружьем...»

Не знаю уж, страха ли нагнали старухи на поселок, однако, смутили, растревожили всех: мол, к чему бы это?

III

Сидим с Андреем Жваховым на лавочке перед его запущенным домом, куда после смерти матери он все реже и реже навещает-

ся. Молча курим: он — беломорину, по привычке форсисто перекидывая ее по углам рта, а я — сигаретку с фильтром. Только что он поведал мне о старушечьем приключении, бравидуя тем, что как был неверующим, таковым и остается. Однако смущен: нет, не *рукой в крови*, не налетевшим *Ильей-пророком*, *пулявшим ледяными камнями*, не *толпой призраков* в бывшем лагере, а тем, что на вышке привиделся бабкам Кравцов.

— Ты, того... пойми, — говорит с упреком, с обидой даже, — не желаешь с ним познакомиться, а это, может быть, знак тебе. Градины, оно, конечно, могут быть и с голубиное яйцо. Потому что, кто там бывал, знает: места затаенные, неведомые, натурально край света. Тут даже я готов побожиться. Ну, а когда кто увидится, соображай — к чему бы это? — И останавливается, боясь произнести вслух: к смерти, мол.

— И все-таки, Андрей, невдомек мне, — говорю искренне, — чего ты вдруг в этот приезд затеял знакомство? Отчего раньше и не упоминал о нем, о Кравцове? Что случилось?

Он смущается: достает новую беломорину, выдувает со свистом мундштук, ловко его сжимает так и этак и, пока зажигает спичку, папироска успевает раза два побывать и слева, и справа. Отчего-то волнуется, нервничает. Наконец, решает приоткрыть правду. По крайней мере, объяснить и свой неожиданный приезд, и ту заинтересованность, с какой старается ввести меня в дом бывшего... ну, скажем, мягче москвича Кравцова.

— Ты, того... пойми, хотя, пожалуй, не знаешь: Ленка ведь приехала!

— Какая Ленка? — спрашиваю вполне безразлично.

— Э-э, да тебе, что, душу выворачивать? — вспыхивает он. — Однако... погоди... Тебе разве тетка Фаня не докладывала? — Я пожимаю плечами. — Странно, — удивляется он, — как же не успела? В общем, Ленка — его дочь. Из Саратова приехала. Разве ты ее не знаешь?

— Впервые слышу, — отвечаю, причем несколько раздраженно.

Он стушевывается, улыбается стеснительно, даже голову опустил:

— Нас когда-то с ней поженить хотели. Мой отчим и ее отец. А тетка Фаня, она ведь мне сродница, в свахи набивалась. А язык у

нее, как помело. Недаром ее Репродуктором прозвали. Вот и сейчас шпионит, выслеживает, чтобы первой набрехать с три короба. Смотри! Опять маячит в окне. Вон же, вон! — и он указывает пальцем.

— Та-а-к, — произношу я и, откинувшись к штакетнику палисада, вопросительно смотрю на него: — Значит, старая любовь?

— А то! — в его настырных глазах неожиданная мольба: раз догадался, то не кочевряжься, поспособствуй. Торопливо начинает объяснять: — Понимаешь, она переживает. Ну, кому хочется, чтобы того-самого... значит, болтали. И за отца беспокоится — сильно сдал. Летось ведь жена померла, Марья Федоровна. Не знал ее? Как же так? Надо же... Ну вот, а теперь и он сам на сердце жалуется. Говорит, никакого интереса к жизни. Мол, и мне пора. Понимаешь?

— Та-а-к, — повторяю я, готовый не только понять, но и рассмеяться.

Эту неизбывную деревенскую логику, когда пасторально чистому селянину кажется, что во все, известное ему, в той или иной степени посвящен и собеседник, потому что поселковое пространство маленькое, а стало быть, обо всем и всеми рассказано-пересказано, так вот, эту деревенскую логику я ну никак не могу освоить. Хотя бы как-то к ней привыкнуть.

В общем, по этой логике, даже если ничего не знаешь, даже краем уха не слыхивал, все равно надо понятливо поддакивать, сочувственно вопрошать, сопереживать и обязательно помочь. Можно и въедливо, до мельчайших подробностей выпытывать, если уж очень хочется. Все откроют! Причем, порой с такими подробностями, что ахнешь со стыдобы. Пожалуй, только в русском языке существует присказка: *хоть стой, хоть падай*. Но я не желал натурализма, этой ненужной распахнутости, и потому повторяю: — Значит, старая любовь? Но отчего все же не поженились?

— Ты того, пойми, — продолжает Жвахов, — меня в армию загребли, а она учиться уехала. Там, в Саратове, у нее дядя жил, брат матери. Ну вот... Там она сразу замуж выскочила. За летуна. А он, возьми, да и разбейся. Потом снова замуж — за ракетчика. Она красивая, вот увидишь! Лет десять, значит, моталась с ним по дальним гарнизонам, пока снова не вернулась в Саратов. И на те-

бе — разошлись! В общем, она третий раз замужем. Теперь за полковником из штаба округа.

— Постой, — уточняю я, — а вы что, с ней переписываетесь?

— Ага. До востребования. Но редко.

— Значит, не заржавела? Старая-то любовь?

— Ага. Как видишь.

— А чего ж все-таки не поженились?

— В этом ее и Николай Дмитрич упрекает. Говорит, лучше бы за меня вышла. Потому что я ей предан. А когда разозлится, то того... офицерской шлюхой обзывает. Вчерась тоже приключилось. А ей обидно, она и говорит мне: «Давай, Андрюша, убежим. Куда хочешь. Хоть на край света».

— Та-а-к, — мычу я, едва сдерживая улыбку. — Можно сказать, наотмашь саданул старик. По-домостроевски!

— Ну, убежим, — тоскливо произносит Жвахов. — А куда бежать-то? Скажи мне, куда? Не дети же!

— Почему же? — говорю. — Да хоть бы на Светлое озеро! Шалаш там постройте.

— Это зачем же? На Светлое озеро никак нельзя.

— Да брось, Андрей! Святые места.

— Ежели переждать? А так ведь напугаешь Николай Дмитрича...

Нет, Жвахов не чувствует иронии. Вообще, с иронией у него, как, впрочем, у большинства деревенских, плоховато. Вот и сейчас он озабочен реальной прикидкой: как обосноваться на Светлом озере и что из этого выйдет? Что ж, придется отринуть эту эфемерную иронию и продолжать разговор *сурьезно*. Говорю:

— Конечно, не монашеского вы звания, чтобы селиться на Светлом озере. Скажи лучше, отчего сыр-бор?

— Вот в том-то и дело, — начинает он обстоятельно пояснять. — Мужья-то у нее, сам понимаешь, все офицеры, а от каждого еще и по ребенку. Три внука — и все в разномасть. Но не на это осерчал Николай Дмитрич. Вот она приехала, а внуки где? Их по бабкам распихала. Этим и обидела его. Он совсем затосковал. Так-то.

— Н-да-а, — опять мычу я, и уже понимаю, нет, не отвертеться мне от знакомства, да не только с бывшим москвичом, но еще и с дамой «из города С» (надо же, почти по Чехову!), которая, и в

самом деле, — трижды офицерская жена...

На всякий случай уточняю:

— А почему все же она в Саратов поехала? Почему не в Москву? Если уж они коренные москвичи, то столица ближе. И родственники наверняка там имеются.

— Ага, значит, согласен! — восклицает он.

— Считай, что да.

— Так бы сразу! А то... Почему, почему? А ты прикинь! Человек-то бежал, скрывался. А ежели обнаружат? Те же родственники помогут. Разве не бывало?

— Постой, а что он... ну, да, — прикидываю в уме, — почти сорок лет... И ни разу не навевывался в Москву?

— А я-то тебе о чем толкую! Тоска у него. А теперь, того... о смерти задумался. А тут еще эти старухи! Надо же — на вышке! В малиновой фуражке, да с ружьем! Откуда и околышек разглядели? На бегу-то? Врут, конечно. Чего только не привидится!

— А если и в самом деле привиделось?

— Приврали малешко. Он-то и начальствовал всего полгода. Потому что вскорости торфоразработки прикрыли. Я помню, как толпу зэков гнали через поселок к Оке. В Перхурово. Там на баржу погрузили и куда-то увезли. А он остался. Да его, — опять горячо заступається Жвахов, — никто никогда и не видел в форме! Он у нас только шляпу носил. Как все начальники.

— Но старухи, может быть, и видели, — возражаю я. — Они-то, не сомневаюсь, и тогда на Светлое озеро, как у вас говорится, шастали.

— Ну, может быть... Только не о том мы с тобой. Человек, понимаешь ли, пообщаться хочет, кое-что вспомнить. Я же тебе втолковываю: плох он, о смерти думает. Может, он тебе такое-самое... Ну, особенное расскажет. Тайну откроет! А ты? И-эх! — в сердцах заключает он.

IV

Отлично помню, что встретились мы с Кравцовым в воскресенье, 18-го августа, в день его рождения. Ему исполнилось семьдесят два года. Но получилось это ненамеренно. Хотя, думаю, с самого начала во всем была предопределенность. Потому что ус-

ловились мы идти к нему в тот же вечер, когда состоялся наш разговор, — в четверг, 15-го. Андрей тут же вскочил на велосипед и помчался на радостях доложить, однако старик так взволновался — он-то отлично понимал, отчего я упираюсь, — что с ним случился сердечный приступ. Пришлось вызывать «скорую», и он слег. Правда, вскоре, как «докладывал» Жвахов, был в «полной боевой готовности», причем с намерением осушить чарку.

Между прочим, мне хорошо памятли те августовские дни, впрочем, как и весь август того переломного года. Тогда я впервые выяснил, что дни между первым и вторым Спасом по нашему народному, православному календарю являются непростыми: они таят разгадку последней трети года. И я почти с детским любопытством принялся фиксировать погоду. Возможно, и вы знакомы с особенностями этих четырех августовских дней — пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, которые определяют оставшиеся четыре месяца года — сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Каковы они — таковы и месяцы: «Степансеновал» — сентябрь, «Антон-вихровей» — октябрь, «Авдотьясеногнойка» — ноябрь, «Евстигней-житник» — декабрь. Должен заметить, что старинные поверья потом в точности подтвердились.

Итак: Николая Дмитриевича Кравцова я представлял совершенно не таким, какой он был на самом деле. Кравцов мне рисовался одряхлевшим стариком — согбенным, лысым, морщинистым, а кроме того, мрачным, подозрительным и враждебно-затравленным. Ничего не поделаешь с собственным воображением, особенно когда тебе внушают, что человек — палач, да еще какой — генералов расстреливал! И возникала сумеречная картина: каменное подземелье, морозящий свет лампочек, черные ниши, где попискивают крысы, — и подлый выстрел в затылок... И лужа дымящейся крови, и труп с изуродованной головой — да, в генеральских лампасах...

Конечно, я пытался гасить эту жуткую картину, но многие знают, как навязчивы бывают подобные видения. И вообще, эти упомянутые четыре дня — Степана, Антона, Авдотьи и Евстигнея — я провел не столько в наблюдениях за природой, сколько в непрекращающемся изнурительном споре со стариком Кравцовым. Я разоблачал ужасы той, сталинской, эпохи, произносил обвинительные речи, заявляя, что со сталинизмом у нас покончено, что

он проклят... Однако сталинист Кравцов упрямо со мной не соглашался.

Такие внутренние диалоги действительно изнуряют, но и важны, потому что начинаешь чувствовать готовность, а главное настроенность на встречу. И все равно шел я к нему, к сталинскому, вернее, бериевскому прихлебателю, сильно волнуясь, и в который раз ругал себя за то, что смалодушничал, согласившись на это ненужное мне знакомство. Ох, как часто в жизни мы заблуждаемся! А ведь ведаем истину, что не следует ни предвосхищать события, ни тем более заранее осуждать тех, кого не знаем. Но, что поделаешь, такие вот мы!

Кравцов Николай Дмитриевич никак и ни в чем не совпадал с тем мрачным, враждебно-затравленным стариком, какого нарисовало мое воображение. Он-то и стариком не выглядел! Пожалуй, только темно-лиловая синева под глазами выдавала возраст. А так, лет пятидесяти пяти — не больше! И, безусловно, горожанин, тип — московский, в поколениях отшлифованный. Да, несомненно, коренной москвич, и корень давний, глубинный. Выходит, правильно утверждал Жвахов: документально доказано, *аж с первых Романовых...* Уж поверьте: с детства я пригляделся к московским жителям. Еще с тех пор, когда Москва-матушка была сама собой и даже казалась маленькой. Когда по ней пешком ходили, а не ездили, по крайней мере, в пределах Садового кольца. И не осуждайте меня за то, что я так рьяно и въедливо взялся за описание портрета Кравцова. В этом не только повествовательная необходимость, но и более высокий смысл. Ведь мы стали забывать, что внешний облик человека очень о многом говорит, если не обо всем, — во все времена и среди всех народов! И если Господь кого-то уродует, а тем более, если это уродливое создание добирается до вершин власти, то и времена наступают уродливые. Разве не так?

В общем, бывший коренной москвич Кравцов выглядел... да, красавцем! А потому представить его палачом, тем более в могильных каменных катакомбах, оказалось просто невозможным. Он был высок, широкоплеч, симпатичен, с открытой улыбкой, как какой-нибудь знаменитый артист — тот же Дружников! И совсем не лыс, как рисовался в мрачных фантазиях, а с волнистой шевелюрой — белоснежной! И лицо у него было эталонно-правильным, однако не слащавым, а спокойно-мужественным. Из тех,

которые сразу привлекают и воспринимаются как бы давно знакомыми: только вот, дай Бог, вспомнить, когда же в последний-то раз встречались?

Его высокий лоб резко перечеркивали две глубокие морщины, намекая на твердость характера и принципиальность; серые глаза были живыми и приветливыми, более того, доброжелательными. Во всем — во взгляде, в движениях, в общей манере держаться и говорить чувствовалась стать и достоинство, хотя в какие-то неуловимые мгновения, по каким-то мелькнувшим особенностям я заметил, что человек он сломленный, причем давно, а кроме того, смертельно усталый.

Но пока царствовало первое впечатление — неожиданное, поразившее: Кравцов нравился! И я вдруг понял, отчего толстый коротышка, яйцеголовый злодей в пенсне, безмерно коварный и похотливый, да, отчего уродец во власти Берия выбрал командиром личной охранной роты именно красавца Кравцова. И еще я понял, что существует какая-то невысказанная тайна, какая-то непреодолимая трагедия, заставившая его, Кравцова, навсегда оставить столицу и затеряться в тульменской глуши. И именно тогда я почувствовал его страстное желание, видимо, уже непереносимое, обо всем этом поведать, освободиться от гнетущей душевной ноши, длящейся... н-да, полжизни!

V

Выслушивать покаяние, честно скажу, не в моей натуре. Если бы это было мне по душе, то я, вероятно, стал бы, ну, скажем, судьей. Потому что в нашем атеистическом поколении о поприще священнослужителя никто никогда не мечтал. Это выглядело бы странным и даже нереальным. Все мы возрастали в жестком, я бы сказал, жестоком безбожии, когда даже помыслить о церковном выборе казалось преступным, влекущем неминуемое наказание.

Я не стану утверждать, что понятие Бога в нас отсутствовало и что мы были нехристями. Наоборот, нас тайно крестили и тайно благословляли, и втайне мы сами в Бога верили. Но эта святая вера оставалась как бы в зародыше. Самой церкви, храмов Божьих, мы сторонились, вернее, пугались. Да, страх правил нашими судьбами. И ныне, уже научившись бывать в храмах, мы все рав-

но в большинстве своем остаемся лишь наполовину воцерковленными. Прежде всего оттого, что не находим в себе мужества преодолеть гордыню, чтобы целовать священнослужителю руку, искренне, без утайки исповедоваться, причащаться со всеми вместе — сирыми и убогими, больными и старыми, каяться в грехах своих — бесчисленных, ежедневных...

Поэтому не мне выслушивать покаяния и не мне судить человека — прав ли он был в своей жизни или нет. Не мне! — это я знаю твердо. И так же твердо на этом стою. Мой личный путь к воцерковлению и труден, и долг и пока я лишь тепло надежду, что настанет тот миг, когда, не ведая ни стыда собственного, ни суда людского, упаду перед алтарем на колени, чтобы проще было биться лбом о паперть каменную. Так, как делали наши предки, — не такие уж и далекие от нас! Они-то умели верить, и вера праведная не раз спасала и их самих, а главное — Россию-родину.

В общем, сильно смущало то, что Кравцов выбрал именно меня для столь особого, столь высокого таинства, как покаяние. Ему бы было проще, думалось мне, смирить свою гордыню и отправиться в поселковую Крестовоздвиженскую церковь к отцу Серафиму, чтобы с его помощью просить у Господа прощения, — да, в храме каяться, перед алтарем... Но для него, сталиниста нераскаявшегося, видимо, такое было исключено. И вот ищет житейский суррогат: чисто по-русски разоблачиться перед человеком случайным, каков я. Но, видит Бог, такова наша общая судьба, мечты нынешнего века.

VI

Кравцов, улыбаясь, говорит:

— А мое настоящее имя Евстигней. Так поп записал. Вы, наверное, знаете, что сегодня церковный праздник Евстигнейжитника?

Я вежливо киваю.

— Ну, еще чего не хватало! — притворно возмущается его дочь Елена. — Это, что же, и я должна быть Еленой Евстигнеевной? Ха-ха, — звонко смеется она.

И отец, и дочь пытаются меня расположить к себе. Мы сидим в яблоневоm саду, в грубо сколоченной беседке. Душно, без-

ветренно, сумрачно — моросит дождь. Жвахов жуёт мундштук беломорины, перекидывая ее по углам рта. Доволен, улыбается, но как он контрастирует, длинноносый и перпендикулярный, с этими яркими, привлекательными людьми.

Елена Николаевна — в отца, но тот как бы сдержанно, мужественно красив, а она кукольно, как заласканная кошечка: большие глаза с длинными ресницами, сочный рот, сдобная белизна кожи и довольно пухлые формы. Неслучайно она «трижды офицерская жена» — в гарнизонах такие, как она, самые вожделенные дамы. Заметно, что Елена Николаевна давно уже не мыслит себя без обожания — где бы ни находилась! Вот и в Тульме при ней должен быть преданный «милый друг».

— А отец мой, красногвардеец, — продолжает улыбочиво Кравцов, — уже отринувший Бога, заявил категорически матери: какой еще Евстигней? Колькой будет! В честь деда. Так и зарегистрировал в районном совете. — И обращаясь к дочери, говорит — Вот умру, а ты вздумаешь меня в храме отпевать, так знай, что по церковному я — раб Божий Евстигней.

— И что ты, папа, заладил: умру, умру, — опять притворно возмущается она, — живи себе! Туда всегда успеется.

На столике стоит помятый алюминиевый таз с яблоками. Жвахов берет твердый ранет и смачно откусывает.

— Что ж ты, Андрейка, забыл разве, — иронизирует хозяин, — ведь только завтра можно вкушать плоды — на Преображение Господне, на яблочный Спас.

— А мы неверующие, — самодовольно смеется Жвахов, хрустко жуя яблоко.

— Неверующие... Это я знаю, — как-то печально, погаснув ликом, произносит Кравцов.

— Ну, мы пошли. Вставай, Андрюша, — командует Елена — Через десять минут за стол прошу.

И вот мы наедине.

— Давно из Москвы? — спрашивает именинник.

Одет он без всякой торжественности, но продуманно: темно-зеленая водолазка, словно китель военный, серый пиджак и черные брюки. На пиджаке орденская колодка. Узнаю знаки — и Отечественной войны, и двух Красных звезд.

— Из Москвы-то? Недели две, — отвечаю. — А вы, смотрю, настоящий фронтовик

— Да. Еще в финскую начинал. До сорок третьего года — бои и госпиталя.

— А в сорок первом, где воевали?

— Под Москвой, в шестнадцатой армии, у Рокоссовского.

— Тогда скажите: почему все-таки немцы не взяли Москву?

Он некоторое время молчит.

— В октябре могли взять, — отвечает в раздумчивости. — Но, по-видимому, подвел характер, их аккуратность. Точнее, самоуверенность. Уж больно не сомневались... А в ноябре мы натиск сдерживали, а они выдохлись... Странно, — признается он, удивляясь, — никогда об этом не думал. Одно подчеркну: мы свято верили, что Москву не отдадим. Особенно после ноябрьского парада на Красной площади и, конечно, выступления Сталина... А вы до сих пор сомневаетесь? — иронизирует он.

— Нет, — отвечаю серьезно, — я так же думаю.

Это нас сближает. Но вижу, что военные воспоминания его не волнуют. Он говорит:

— Позвольте и мне поинтересоваться; вы не хотели со мной встречаться потому, что Андрей лишнего наболтал?

Я молчу, и своим молчанием, в общем-то, подтверждаю это. Смотрим пристально в глаза друг другу.

— Понимаю, — наконец произносит он, — понимаю... Ставлю себя на ваше место: мол, палач, зачем пачкаться?

— Не совсем так, но, похоже, — не юлю, говорю правду.

— Спасибо за откровенность, — он опускает голову, долго смотрит в землю. — Хотя, знаете, — вскидывается, — а ведь тогда лучших брали в НКВД. Меня, например, после госпиталя, в конце сорок третьего... Впрочем, давайте лучше поговорим о нынешних временах. Вы верите Горбачеву?

— Нет, никогда не верил.

— И я — ни на йоту! По-моему, наступила эпоха иуд... Предателей! Оборотней!.. Развалили содружество социалистических государств, скоро развалят СССР, наш великий Советский Союз... Но начали с Югославии. Она — как доказательство возможного, как полигон... Вы бывали там?

— Не приходилось.

— А я даже работал. Сначала в Албании, а в сорок восьмом перевели в Югославию, когда мы вдруг сделались врагами... Там я задержался. Вернули домой только после смерти Сталина.

«Албания, Югославия, — соображаю я, немало пораженный, — а после — Тульма?.. начальником заштатного лагеря?.. Загадочно!»

— Все готово, ждем! — кричит из открытого окна Елена. — Давайте быстрее! Потом наговоритесь!

VII

Застолье, как повелось на Руси, — грибки, капуста, огурчики, селедка, зеленый лук... Что еще нужно под водочку? Дымятся: кастрюля с молодой картошкой, блюдо с тушеным мясом. Подеревенски — все сразу на стол. Скорые, корявые тосты, начатые нетерпеливым Жваховым, а рюмки — большие, граненые, из мутного толстого стекла: откуда бы такие? После третьей захмелели, уже веселая бестолковость разговора — непосредственного, панибратского. Уже Жвахов, торопливо жуя, с набитым ртом, покровительствует Кравцову.

— Ты, дядь Коль, не переживай! Старухи, они что, пугливые. Мало кто им примерещится? Глупые бабки, это точно!

— Ты, пап, остынь! Ну, что ты? — внушает в безалаберной веселости и дочь Елена. — Прав Андрюша, они бабки глупые. Мало ли что им примерещится?

— Да я что? — опустив голову, произносит Николай Дмитриевич. — Все, конечно, так. Да и не так! Давно уже.

— Ну вот, опять! И брось думать! — кричит дочь.

И вскакивает, бежит в кухню, мелко двигая локотками, округлыми плечами, большим задом. Возвращается с двумя чайниками: один железный — с кипятком, другой фарфоровый — с заваркой. Достает из серванта расписные чашки, наполняет их, приговаривает покровительственно:

— Живи! О чем забота? Все у тебя есть. Чего гундосить?

— Да разве я гундосю? — обиженно говорит лишь слегка захмелевший Кравцов. — Я ведь по сути. И не о старухах даже. Мало ли что им примерещится, в самом деле? Однако и малиновый

околыш углядели, и ружье. Откуда?! С чего бы это?! — возмущается он, но меркнет, успокаивается. — Я о другом...

— О чем ты, пап? О чем другом-то? — кричит, перебивая, Елена. — О Ваньке, что ли, Дутикове? Да лагерник он, лагерник!

— Э-э, Лена, — спокойно возражает Кравцов, — лагерников я знаю, поверь, получше тебя. Это поселок вердикт вынес. Сама посуди: «Здравия желаем, товарищ начальник!» Когда это было? Да никогда!

— Брось, дядь Коль! — встречает Жвахов. — Сам же знаешь, бездельники они. Им бы только выпить!

— Постой, Андрейка! Ведь вот как кричат: «Привет начальнику! Ты чё, опять на вышке? Чи-чё, опять нам подгрести к тебе в зону?» Вот как они выступают! И это — при толпе слушателей.

— А ты не думай! — сердится Елена. — Шпана и есть шпана. Им что? Правильно Андрюша говорит: бутылку слямзить.

— Ты, дядь Коль, выше будь, — наставляет и Жвахов. — Он же, Ванька Дутиков, законченный урка. Ему бы только побалаболить.

— Ах, да ладно! Обмелется, мука будет, — вздыхает Кравцов.

Жвахов с Еленой торопливо допивают чай и исчезают.

— Ну что, выпьем еще по одной? — говорит Николай Дмитриевич. — За Москву!

— За какую? — уточняю я. — За нынешнюю, или за ту, которую вы оставили?

— За Москву, столицу нашей родины, — сумрачно подчеркивает он.

Чокаемся, пьем. Я понимаю, тот самый момент, когда следует задать один из главных вопросов:

— Если позволите, спрошу напрямик: почему вы ни разу за столь долгие годы не навещали в Москву?

— Потому что не мог, — сразу отвечает он и, отвернувшись, в тоскливой согбенности смотрит в окно. — Да, не мог... И не хотел! А если по правде, то и заказано... И вообще: если отвечать на ваш вопрос, то всю жизнь надо рассказывать. Целая книга получится.

— Написали бы, — говорю я.

Он иронизирует:

— И назвать: «Исповедь беглого москвича». Нет, пожалуй, позабористей: «Исповедь беглого палача», а? Может быть, вы напи-

шите? Готов быть откровенным, — и грустная улыбка, и тоска в глазах.

— Нет, не соглашусь. Исповедальные книги каждый должен писать сам.

— Я понимаю... Только у меня не получится. Давайте еще по одной, а?

— Нет, мне хватит.

— Ну и мне, — соглашается он. — Давно уже. Давайте лучше послушаем мою любимую песню «Ямщик, не гони лошадей».

— Что ж, давайте.

Он начинает искать пластинку, но не находит. Раздосадован, возмущен, сердито направляется в кухню, куда удалилась Елена и Жвахов. Но их там нет. Возвращается в столовую и прямо идет к дальней двери — в спальню. Осторожно приоткрывает ее, и я слышу из темной глубины томные вздохи... Он дерганно прикрывает дверь, шатко возвращается к столу. Пристально вглядывается в меня, не сомневаясь, что я догадываюсь о происходящем. Не спрашивая, наполняет рюмки. Шепчет, подняв свою, — как бы для себя:

— *Мне некуда больше спешить... Мне некого, больше любить... Ямщик, не гони лошадей...* Жаль, — говорит резко, — вы не знали моей жены. Однако, может быть, помянем ее, а? Светлой памяти, — произносит едва слышно, и сталь его глаз туманит слезная пелена.

VIII

Я решаю, что пора уходить. Лучше всего, думается мне, распрощаться именно сейчас. И забыть про этот странный человеческий треугольник, про все его тайны и про все проблемы — у меня ведь и своих хватает! И только я собираюсь сообщить Кравцову об уходе, как он произносит

— Не торопитесь, очень прошу вас. Забудем о случившемся. — И, помолчав, начинает: — Так вот, слушайте: у меня была единственная сестра, Клавдия. Значительно старше, на одиннадцать лет. У родителей были еще дети — два братика, Иван и Володя, но оба умерли от скарлатины. В революцию, зимой семна-

дцатого года, когда отец еще воевал на фронте. И это, конечно, была семейная трагедия.

Отец вернулся весной восемнадцатого, и сразу возглавил красногвардейский отряд, хотя был очень болезненный, отравленный газами. Он недолго прожил, и умер в двадцать первом, — я совершенно его не помню. Но именно в эти годы мы переехали из Кожевников в один из Всесвятских переулков, потом Динамовских, что напротив Новоспасского монастыря. Тогда уже он был тюремным лагерем. Утверждают, самым первым...

Поселились мы в богатом особняке, принадлежащем владельцу ватной фабрики. Дом был бревенчатым, но на каменном подклете, с громадной кухней внизу. Сам фабрикант куда-то бежал, а вся мебель, посуда, ковры и многое другое оставалось нетронутым и перешли, в частности, к нам в наследство. Мы заняли треть дома, две большие комнаты... Наверное, я слишком подробно рассказываю?

— Нет, почему же? Я слушаю.

— Так вот, отец умер, и я его не помню. А сколько помню себя в детстве, всегда под присмотром сестры Клавдии. Мать у меня была белошвейкой, но после смерти отца пошла работать на ватную фабрику, кстати, принадлежавшую тому самому фабриканту, в доме которого мы жили. Там она шила стеганые одеяла. Была активисткой, к тому же училась, кажется, на рабфаке. Видно, слишком перенапряглась, заболела чахоткой и умерла буквально в считанные месяцы. Умирала в Крыму, а в Москву ее привезли уже в гробу.

В общем, остались мы с Клавдией сиротами. Ей — семнадцать, а мне — шесть. Она училась в железнодорожном техникуме. На бухгалтера-экономиста. Между прочим, она выбрала отцовскую линию, то есть железнодорожную: наш отец до войны работал слесарем в депо Московско-Рязанской дороги. Короче говоря, пришлось ей бросить учебу и идти работать на товарную станцию. Там она познакомилась с инженером-путейцем Павлом Даниловичем Серебровским. Он был старше ее вдвое, но она любила его, и вскоре они поженились. Он поселился у нас.

Собственно говоря, в моей жизни это был первый настоящий мужчина, который постоянно был рядом, — внимателен ко мне,

заботлив. Я его в детстве, пожалуй, любил больше сестры. Хотите, покажу его фотографию?

— Потом, Николай Дмитриевич, — останавливаю его порыв погрузиться в семейный альбом.

Я знаю по опыту, что тут же нарушится плавность повествования, и оно само, как чаша может разбиться на мелкие фрагменты, а может и совсем уйти в сторону. Поэтому повторяю:

— Лучше потом, когда уж все станет ясно.

— Пожалуй, вы правы, — соглашается он. — Так вот, любил я его, пожалуй, больше сестры, по крайней мере, так мне казалось. Вскоре у них пошли дети — Ваня, Володя и Маша. Ну, а я был вроде бы самым старшим. Павел Данилович не делал между нами разницы. Впрочем, как и сестра, хотя с ней я мог и повздорить, и покапризничать. Все-таки сестра! Н-да...

Вы обратили внимание, как она назвала своих сыновей? Иван и Владимир. В честь младших братиков, которые на глазах у нее умерли. Как вспомнит о них, всегда прослезится. В войну она мне внушала, что умершие братики как бы даровали мне свои жизни, и потому я не погибну. Галиматья какая-то, женская логика, но честно признаюсь, дважды я должен был умереть — после ранений под Москвой и под Харьковом, однако выкарабкался.

Если уж быть до конца откровенным, — продолжает Кравцов, — именно это внушение способствовало тому, что я согласился перейти в войска НКВД и служить в охране центрального аппарата. Поймите: почетно, без всякого риска, благополучно, в родной Москве, на глазах у тех, кто на вершине власти. Хотя в душе еще и мечталось прогреметь, заработать героя. Вы же знаете, как мыслили поколения мальчишек тридцатых годов, — *страна рабочих, страна ученых, страна героев!* Так в песне пелось...

Должен сказать, что сестра Клавдия не только отвергала все мои колебания, но прямо-таки требовала, чтобы я соглашался. А вот Павел Данилович упрямо молчал, и я чувствовал, что он решительно не одобряет мое возможное перемещение. Перед окончательным согласием я все же решил его спросить: почему он против? «Ты что, не понимаешь, куда тебя тянут? — сердито сказал он. — В изувера хочешь превратиться? В палача?» Я возмутился, потому что так не думал. Пожалуй, впервые мы серьезно с ним рассорились, и между нами выросла стена отчуждения. Ме-

ня даже обидело, что он не понимает того простого факта, что возвращение на фронт означает вполне реальный шанс быть убитым, тем более, если верить Клавдии, те две жизни, подаренные неведомыми мне братиками, исчерпаны и осталась только одна, моя собственная.

Конечно, славно быть героем, но хотелось жить, хотелось любить, — ах, да что там! И тот, кто отверг бы такую невероятную возможность, был бы стопроцентным идиотом. Поверьте, я не вру. Ведь был уже конец сорок третьего года, мы наступали, освобождали Украину, Белоруссию. Уже всю сверкали зарницы победы, а тут такое редкое, такое лестное предложение. Я повторяю: тогда в НКВД брали лучших. Вернее, уже в МГБ — министерство госбезопасности.

— Вы убеждены в этом?

— Армейских офицеров? Да, убежден. Впрочем, я понимаю, о чем вы хотите спросить. — Он надолго замолкает. Рассеянно берет яблоко, подносит ко рту, но не надкусывает, а откладывает в сторону. — Я понимаю,— повторяет, — понимаю... Собственно говоря, об этом я и рассказываю.

— Простите, а почему Павел Данилович не хотел этого понять и так резко, так откровенно высказался против вашей службы в МГБ?

— Хорошо, я отвечу. Именно к этому я подошел. Только давайте перекурим. Правда, давно бросил, но, когда волнуясь, не могу без курева.

Мы закуриваем. Вечерний дождливый сумрак делается еще гуще от сизого сигаретного дыма. В комнате — стоячая влажность, тягостное безветрие, все признаки предгрозя. Но мы — и он, и я — внутренне взволнованны, а потому не замечаем ни сумеречности, ни давящей погодной тяжести.

Николай Дмитриевич продолжает:

— Почему был против? Точнее, почему откровенно и резко был против? Во-первых, доверял. Он ведь был для меня как отец. Во-вторых, видимо, знал, какие там нравы. Из НКПС, Народного Комиссариата путей сообщения, где он работал, загребли при Кагановиче многих. Это мы по молодости не задумывались, действительно ли враги народа или все же оклеветанные, невинные?

Мне это вскоре предстояло узнать из первых рук. Да что там узнать! Самому участвовать.

Он в сердцах, сердито давит сигарету в пепельнице, сминая фильтр в копеечную монетку, и тут же закуривает новую. Я молчу. Я понимаю, что мы подошли к кульминации его исповедального повествования.

IX

— Мой благодетель, Павел Данилович Серебровский, — рассказывает Кравцов, — был большим человеком в Министерстве путей сообщения. Не знаю, как в войну его должность называлась, но сразу после победы он ведал грузовыми перевозками на европейском, западном направлении, включая, естественно, и заграничные — Германию, Польшу, Чехословакию. Если вы знаете, Сталин для всех ведомств ввел форму, и вот Павел Данилович обрядился генералом. Необычная была форма — почти черная и брюки с зелеными лампасами.

Однако я забежал вперед. Впрочем, все остальное не столь существенно. Одно, пожалуй, упомяну: я уже многого посмотрел в МГБ и достаточно очерствел душой. Жалости у меня подследственные не вызывали. Может быть потому, что в основном это были шпионы и диверсанты. Неудивительно: ведь шла война... Политических дел я просто не припомню. О врагах народа и речь не возникала. Расстрелы случались крайне редко. Я имею в виду у нас в подвалах. Но если бы мне приказали привести приговор в исполнение, то я выполнил бы его, не задумываясь. Таким вот стал.

Отношения с сестрой, с Павлом Даниловичем, — продолжал Кравцов, — были натянутыми. Да и редко мы виделись. Я забыл упомянуть, что еще до войны они переехали в четырехкомнатную квартиру у Никитских ворот. А я в одиночестве остался в особняке, хотя, будучи на фронте и по госпиталям, там не бывал. По брони наши две комнаты занимали — не знаю даже, кто. Но когда я остался служить в МГБ, то всех этих жильцов мгновенно повыселяли, и я один занял обе родительские комнаты.

В общем, в конце войны у меня была веселая холостяцкая жизнь, и к Серебровским я навещался только по праздникам.

Занозой застрял в памяти разговор с Павлом Даниловичем: о том, что я превращусь в изверга. Я этого не мог простить. Но он-то был мудр. Он не предполагал, а точно знал, что другого выхода у меня не будет.

Вот кручусь вокруг, да около, — тягостно вздыхает Кравцов, вновь закуривая, — а пора и о самом страшном поведать. *«Святый ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни»* — так, кажется, одна из покаянных молитв начинается, — произносит он и правой рукой с дымной сигаретой накладывает на себя короткий крест. — В последнее время, — говорит, — в одиночестве начитался святых писаний. Жена моя верующей была. А мне вот гордыня не позволяет. Однако вникаю — с великим удивлением...

Так вот, не знаю в точности, что уж такое на самом деле случилось в Орше, куда Павел Данилович ездил с инспекцией в декабре сорок пятого, да только вернулся оттуда под конвоем — и прямо к нам, на Лубянку. Третьего января Нового, тысяча девятьсот сорок шестого года... Насколько мне удалось узнать, а это было, ох, не принято — сразу сам оказывался под подозрением, но и мне деваться было некуда: тут же выяснилось, что я его родственник. Вызвал меня — да, на допрос — мой непосредственный начальник полковник Которов, относившийся ко мне по-хорошему... по-отечески, я бы даже сказал. А никуда не денешься — допрашивай! В общем, дутое дело: Павел Данилович своей властью задержал в Орше эшелон со спецгрузом из Германии, а он предназначался для нашего ведомства, чуть ли не для самого министра.

— То есть для Берии?

— Выходит, так... да еще сильно повздорил с нашими товарищами — там, в Орше. Ну, может быть, конфликт и замяли бы: в Орше действительно сложилась аховая ситуация. Но ночью вагон, где находился мейсенский фарфор, грабанули. Причем с убийством часового. Какие тут сомнения — диверсия! Я думал, меня тоже арестуют. Вставят в сообщники, а то и в пособники. Более того, в члены диверсионной группы. Которов намекнул, что Сам в бешенстве.

— То есть Берия?

— Да, конечно... И требует немедленного ареста всех подозреваемых и жестокой расправы. Однако, меня не только не дерну-

ли, но я продолжал выполнять свои прямые обязанности — по карательной службе именно на этаже, где был кабинет министра. А тут, конечно, ко мне домой вся в слезах прибегает сестра Клавдия: мол, Коленька, выручай! А как? Как!? Легко сказать: выручай! Должен заметить, примерно с год, как я женился, и только что родилась Леночка...

— Сложная ситуация, — произношу сочувственно.

— Катастрофическая, прямо вам скажу, — благодарен моему сочувствию Кравцов. Но тут же взгляд его тускнеет и весь он съезживается. — Вот сейчас вспоминаю, а по спине — мурашки, как и тогда. Я ведь уже многое знал. Одна мысль свербит: на дворе наружка — поди, потом оправдайся... А она, Клавдия, долдонит: спаси! спаси! на колени перед тобой встану — и бухается... Я на нее накричал — для наружки больше... А она не поняла — обиделась смертельно, и давай, не помня себя, выговаривать мне, какой я неблагодарный, сколько они с Павлом Даниловичем для меня сделали.

— Все верно, конечно, — вздыхает Кравцов. — Однако что, всем вместе погибнуть? Так, что ли? После ее прихода я не сомневался, что меня из органов выкинут. Может быть, из армии. Сами посудите: в родстве с диверсантом, а ведь у нас анкеты, ой, какими чистыми должны были быть — без малейшей пометки!

Вы знаете, страх подавлял меня. — Он сидит сгорбленно, весь сжатый, самым натуральным образом вновь переживая прошлое. — Поверьте, не за собственную шкуру боялся — я все-таки прошел фронт, смертей навидался и для себя никогда не исключал такого исхода. Но вот одно лишь сознание, что будет перечеркнута жизнь Маши, Марии Федоровны, которую я и тогда, и после преданно любил, и нового существа, моей дочурки, нет, я не мог с этим смириться. Я даже думать об этом не мог. Ну, что ли спокойно... Я решил, что буду драться, как лев, чтобы оправдать себя, чтобы доказать свою непричастность к этому делу. Молод, конечно, был — и глуп! При чем здесь непричастность?

Он надолго замолкает: весь сжат, сосредоточен на тех страшных для него, на тех трагических днях. Я начинаю думать, что он готов оборвать свое повествование, и потому спрашиваю:

— Так как же вам все-таки удалось доказать?

— Доказать? — рассеянно повторяет он, очнувшись от внутреннего оцепенения. — Ах, да, я понимаю, о чем вы: как удалось выпутаться? А никак! В самом деле... Теперь, на исходе жизни, все чаще думаю: лучше бы все было по-другому... Лучше бы я поступил не так, как поступил... Лучше бы, знаете ли, я тогда исчез... Поверьте, не вру. В конечном счете, нет оправдания нашим поступкам. Если даже оправдываешь себя тем, что спасал других. Ну, невинных, слабых, незащищенных... Ой, нельзя! И нет прощения... И не будет!

Он отходит к окну, и по тому, как вздрагивает его спина, я понимаю, что он плачет.

Х

— Так что же все-таки произошло? — спрашиваю, когда Николай Дмитриевич возвращается за стол.

Он кажется похудевшим, будто суше стал, отчего резче обозначились морщины, особенно две параллельные на лбу. И цвет лица изменился: бледно-серый, как у мертвеца. И взгляд, ушедший в такие глубины, будто человек рухнул на дно. В общем, другие измерения, другие печали.

— Вам, конечно, не приходилось сталкиваться с Берией? — осторожно вопрошает он.

— Отчего же? — отвечаю весело, даже усмехнувшись. — Лицезрел на трибуне Мавзолея. Кроме того, посмотрелся на портреты, фотографии. Впоследствии немало и читал о нем. Правда, еще с детства меня пугал его взгляд. Сквозь пенсне, а злобный, страшный взгляд!

— Да, взгляд у него был тяжелый...

— Знаете, — перебиваю его, — мне вспомнилось, как его разоблачили. Нет, точнее, когда привели в исполнение приговор. Кажется, это было в декабре того же пятьдесят третьего года. Однако, суть не в этом. К нам, семиклассникам, на общее собрание явился директор, человек суровый, которого, конечно, все боялись. А мы были выпускниками. Я тогда у деда с бабкой жил в небольшом южном городке, где и кончал семилетку. Ну вот, сколько приходится объяснять, чтобы подойти к взгляду Берии, — и я развожу руки: мол, что поделаешь!

— Ничего, ничего, я понимаю, — поддерживает Кравцов.

— Так вот, директор школы Иван Григорьевич Широков, бывший в войну командиром роты, весь израненный, а до войны в нашей же школе преподавал математику... Выходит, — удивляюсь я, — ему тогда было чуть больше тридцати, а нам он казался прямо-таки стариком... Ах, опять не о том! В общем, Иван Григорьевич заявляет, что мы должны из всех книг вырвать страницы, где есть портреты Берии.

— Надо же, так было? — поражен Кравцов. — Я этого не знал.

— А одна наша девочка, — продолжаю я, — самая красивая, Таня Акулова, в которую были влюблены не только все мы, семиклассники, но, пожалуй, и первоклашки, вдруг спрашивает: «А можно ему сначала глаза выколоть? Фу, какие у него гадкие!» И директор школы Иван Григорьевич Широков, подумав, серьезно отвечает: «Можно. Выкалывайте». Странное воспоминание, не правда ли?

— Почему же? Я понимаю, — говорит Кравцов, оставаясь подавленно-сосредоточенным. — В самом деле, жуткий взгляд. Я бы сказал: гипнотический. Когда он, Лаврентий Павлович... товарищ Берия, смотрел на кого-нибудь, то, ей-богу, мурашки по спине бегали. А уж если пристально вглядывался, то, казалось, просвечивает насквозь, как рентген. Хуже даже: казалось, что он читает мысли. По-моему, он был черный маг. В любом случае, парализовывал волю.

— Знаете, — взволновавшись, продолжает Кравцов, — он действительно внушал панический страх. Я не раз это испытывал на себе. Сколько ни оказывался в его присутствии, а всегда терялся. Превращался прямо-таки в балду. И мысленно молишь: «Господи, если ты есть, пронеси». Вытянешься в струнку, одеревенеешь, идиот-идиотом, и шепчешь бесконечно: «Пронеси, пронеси...» И знаете, не только я. Тот же полковник Которов мне как-то признался: ужасом сковывает, когда вызывают к нему. Глянет, говорил, и ты вроде голенький, и совсем ничтожный, и такой маленький, будто букашка у него на ладони. Что захочет, то и сделает: придавит ноготком, сдует, как пух, или пренебрежительно отпустит: живи, мол! Дьявольский был человек. Из тех, кого изображают слугами ада. Бездушный абсолютно!

— Неужели вы так его представляли и тогда, в те годы — спрашиваю я.

— Нет, конечно... Безусловно, нет. У нас в МГБ его многие боготворили. Считали наследником Сталина. Правда, некоторые говорили, тот же Которов, что он злой гений при нем. Мол, даже Сталин его боится.

— Неужели боялся? И неужто гений?

— Нет, пожалуй... Но органы при нем работали надежно. Как часы... Как швейцарские часы! Да, как хорошо отлаженный механизм.

— Как адский механизм, — добавляю я.

— Возможно... А сам он был ужасным человеком. Абсолютно всех держал в страхе.

— Неужели абсолютно всех?

— Думаю, да... От него пощады никто не ждал. Если что, так такую казнь придумает... Ну, чтобы так раздавить... превратить в ничто, в нуль. В лагерную пыль, которую бесследно ветром развеет.

— И для вас придумал?

— Да, и для меня.

— Именно казнь?

— Да, именно казнь.

— Какую же?

— Он заставил меня расстрелять Павла Даниловича.

— Серебровского? — вскидываюсь я неверяще. И даже встаю, наклоняюсь через стол.

— Да, Серебровского, — подтверждает он и опускает голову.

«Вот так история!» — взволнованно говорю себе, еще до конца не веря. Повторяю:

— Серебровского? Как же так?

— А вот так! — и он злобно опускает кулак на столешницу, как бы в доказательство. Но берет себя в руки. Говорит тихо, почти шепотом: — Вскоре после того, как ко мне приходила Клавдия, я дежурил в ночь... — Его лицо еще сильнее посерело, осунулось, взгляд потускнел; руки на кремовой скатерти дрожат. — Так вот, мне позвонил Которов и приказал подняться в приемную министра. Я понял, что надвигается нечто ужасное. Пытался успокоить себя, но не мог. Ждал там больше часа. Извелся вконец. Уж

ни на йоту не сомневался, что вызов связан с делом Павла Даниловича. Думал, сейчас устроят очную ставку, и очень боялся. А потому лихорадочно соображал, что говорить, как держаться. Я решил не предавать его, рассказать, каким знаю. Я понимал, что не спасу его. Но и не хотел быть обличителем. Я не верил в чудо. У нас чудес не бывает. И даже смирился с собственным крахом. Поверьте, так я думал.

И вот, наконец, в приемную выходят полковник Которов, кавказец-капитан из личной охраны и он сам, Лаврентий Павлович, товарищ Берия. Я вытянулся, как положено. И одна только мысль: как бы не опозориться, как бы не упасть в обморок. Капитан заходит мне за спину, Которов держится в стороне, а Лаврентий Павлович... товарищ Берия останавливается в двух шагах против меня. Он тучный и низкий, и потому своей головой мне под подбородок. Снизу вверх, д-о-о-лго вглядывается мне в лицо. Да, сквозь тонкие линзы пенсне, за которыми черные, неподвижные глаза. Как у удава. Честно признаюсь: мне стало дурно. Чувствую, еще мгновение, и рухну. И вдруг он мне благосклонно улыбается: я даже и сейчас вижу его желтые ровные зубы. Повернувшись к Которову, он указывает на меня вялой рукой с волосатыми, толстыми пальцами. На одном из них меня поразила черная перстень. Представляете, он носил перстень, когда всем было запрещено даже кольца обручальные надевать?! Так вот, он указал на меня и как-то весело произнес — с акцентом, конечно, как у Сталина: «Пускай майор Кравцов лично приведет приговор в исполнение».

«Какой майор?» — недоумеваю и совершенно не догадываюсь, о каком приговоре идет речь. А он, Лаврентий Павлович, товарищ Берия, поворачивается и легкими шажками возвращается в кабинет. А я ем его глазами, как положено по уставу, — его тучную спину и глянцевою лысину с черным обручем волос на затылке. В те мгновения, признаюсь, я больше всего был рад тому, что все обошлось, что очная ставка с Павлом Даниловичем не состоится... И еще тому, что не рухнул. В общем, почти ничего не соображал. Был туп, как бревно. Поверите ли?

— А приговор касался Серебровского? — осторожно уточняю я.

— Да! Да! — вскрикивает Кравцов. Он хватается за горло бу-

тылку водки. Резко, нервно выплескивает жидкость в граненую рюмку. Дрожащей рукой, зажав в кулаке, поднимает ее и опрокидывает в себя, морщится, кривится от горечи. Обхватывает лицо ладонями — и голова, и руки мелко дрожат.

— Вы бы закусили, Николай Дмитриевич, — подсказываю я.

Он покорно берет долю огурца, зажевывает. Отрешенно молчит: все еще там, в приемной Берии.

XI

Мы долго, тягостно молчим. Наконец, я решаюсь спросить:

— И когда же, Николай Дмитриевич, вам пришлось исполнять приговор?

— Сразу же! — как от боли вскрикивает он. — Но все! Все! Больше ни слова! Не мучайте меня, прошу вас.

— Но, простите, вам же надо хоть раз до конца высказаться, — осторожно внушаю я.

— Разве? — удивляется он, и я замечаю, что успокаивается. — Пожалуй... Но только вы уж не распространяйтесь. А то тут так исказят, что и сам не поверишь. Я однажды кое в чем признался отчиму Андрейки, которого считал другом, так назавтра вся Тульма болтала, что я генералов расстреливал. Представляете, сотнями! Дайте честное слово, — требует он.

— Даю честное слово.

— Так вот, — продолжает Кравцов, — остались мы вдвоем с Которовым, и он мне говорит: «Благодари судьбу, майор, и меня, что выпутался. И с повышением тебя!» Тут только до меня дошло, что из капитанов я произведен в майоры, а это, знаете ли, уже высший офицерский состав, особенно в органах. Но главное в другом: в том, что Павел Данилович подлежит расстрелу. И исполнять приговор приказывают мне.

Опять тягостно, долго молчим. Наконец Кравцов выдавливает из себя:

— Полковник Которов догадывался, что творится у меня на душе. Поэтому повел к себе в кабинет и там стал шепотом разьяснять: «Если откажешься, то другие исполнят, а ты тогда — нуль, ничто. Думай о себе, понял!» — «Слушаюсь!» — идиотски согла-

шаюсь... Нет! Не могу! Не просите! Не надо! — восклицает он, и я вижу, как катятся прозрачные слезы по его мертвенно бледному лицу, и он их не стыдится.

— Страшная история, — говорю я.

— Еще какая страшная, — жалобно подтверждает он и внутренно всхлипывает. — Всю остальную жизнь прожил с этой жуткой тайной. Даже жене не признавался. Поверите ли?

— Верю, Николай Дмитриевич.

— Уж и не знаю, чего это. Разоткровенничался, разслезился? — Он достает платок и промокает слезы. — Ладно уж, доскажу, — произносит покорно. — Ждал я его, Павла Даниловича, в подвальном помещении. В Варсонофьевском переулке, где гараж... Вместе с прокурором и врачом... Мне казалось, что они знают, кого я должен расстреливать... Ни слова не проронили. Наконец приводят... Честное слово, не узнал я Павла Даниловича. Били верно, пятый угол устраивали.

— Пятый угол? Что это?

— Ногами, человек десять... Ну вот, прокурор — из молодых карьеристов, ничтожество — зачитал постановление трибунала, а врача, старая алкоголичка, даже головы не подняла. Только неслышно постукивала пальцами по столу. Не терпелось, видно, хватануть спирта... А я, поверите ли, только раз взглянул на Павла Дмитриевича и не могу смотреть. Никак не мог!

Ну вот, веду его в соседнюю, в расстрельную комнату. Плотно прикрываю дверь. Начинаю торопливо шептать: мол, сам министр приказал и, если не я, то другие, а мне тогда хана... Он ни слова не произнес, только посмотрел на меня с сожалением.

Кравцов опять плачет, и взгляд у него отрешенный, нездешний. Похоже, он там, в расстрельном подвале.

— ... да, посмотрел на меня с сожалением и еще с презрением. Простите, сейчас успокоюсь... Ну вот, стоим мы: он ко мне спиной... Мне надо ему приказать лечь на пол лицом вниз, как положено... А я не могу. Тут он поворачивается и говорит сердито: «Стреляй, изувер!» А я опять пытаюсь ему объяснить: мол, пойми, отец, не всем же нам гибнуть... А он еще настойчивее: «Стреляй, изувер!» Тут я и выстрелил. Я думал, раз в затылок, так он упадет вперед. Лицом на пол, как положено. А все, оказывается, наоборот. Он вскинул руки и стал валиться на меня. В растерянности я

его подхватил. И вся кровь с мозгами выплеснулась мне на китель... — ... да, я обезумел. Бросил и его, и пистолет, и назад в комнату, где прокурор с врачом. Там же и конвойные. Врачиха, так та злобно посмотрела на меня и кивнула конвойным... Ну, те и скрутили меня. А она, эта садистская сука всадила мне лошадиную дозу снотворного. Я не просыпался больше двух суток.

ХП

Исповедь Кравцова вроде бы завершена, однако мне она кажется неполной. Что ж, он приоткрыл свое палачество, по-моему, чудовищное, за что, кстати, получил награду — пусть не повышение по службе, не звезду майора, но зато спокойное посольское место, причем материально хорошо обеспеченное. Пусть первоначально в маленькой и далекой Албании, но затем, хоть и во «враждебной», однако, в Югославии. Главное, все же, в другом, в том, что его страшный поступок оценили, и его самого отметили как офицера, готового ко всему, как настоящего представителя славных карательных органов.

Это потом, думаю я, он присочинил — в оправдание и, возможно, в раскаяние уже тут, в Тульме, когда карьера безвозвратно оборвалась, — что это была и его личная казнь. Нет! Было, конечно, все по-иному. Был выбор — там, в приемной министра, перед лицом самого Берии: расстреливать или отказаться? Там тогда была развилка судьбы: потому-то он подчеркивает, что плохо соображал. Нет! Он все отлично понимал: если он откажется и сохранит честь и совесть, то карьера его сломана.

Но я не уверен, что он попал бы под карательные жернова. Твердость поступка, пусть и неподчинительную, но в органах ценили. Не случайно Берия вышел в приемную, и не случайно кавказец-капитан встал за спиной. Наверняка, с пистолетом наизготове. Видимо, Берия все-таки сомневался, что Кравцов согласится расстреливать отца. И, видимо, боялся, что тот вспыхнет гневом и схватится за оружие. Тогда, безусловно, ему в спину тут же всадила бы обойму беспощадный кавказец. Но надо знать, каким брезгливым был Лаврентий Павлович, — ему совсем не хотелось заливать кровью свой уютный, обжитой кабинет.

И все-таки: полковник Которов, похоже, лишь наполовину убедил своего кровожадного шефа, что Кравцов, ради карьеры, согласился на все. Думаю, если бы он отказался, то его и из органов не выгнали бы. Просто задвинули бы в тьму-тараканскую даль, в ту же самую Тульму начальником того же самого лагеря. Вероятно, еще и тогда, в январе 1946-го такой вариант предусматривался: полковник Которов, судя по всему, был предусмотрительным, опытным служакой. Но после расстрела — и этого, думалось мне, Кравцов до сих пор не понимает — от него необходимо было избавиться, хотя бы на время, потому что он все равно представлял потенциальную угрозу для министра-монстра: ведь мог же в любой момент вспылать мстью!

Иудино геройство вознаграждается, а потому Кравцова отправили не в глухой мешерский угол, не начальником мелкого лагеря, а на голубую Адриатику, комендантом в небольшое посольство. Но удивительно: как любит Господь во имя справедливости все возвращать на круги своя...

И все же необъяснимо, говорю себе, отчего Кравцов на всю оставшуюся жизнь схоронился в Тульме? Решаю расспрашивать до конца:

— А все-таки, как вы попали в Албанию?

— Которов благодетельствовал, — отвечает нехотя. — За то, что не проявил хладнокровия, меня отстранили от службы. Думал, что уволят. Ан нет, послали в Тирану.

— А сюда-то как вы попали?

— Очень просто: когда я вернулся в Москву летом пятьдесят третьего года, уже началась чистка бериевских кадров. А я, крути ни крути, его кадр. Но тот же Которов решил меня сохранить... Ну, после того, как самого арестовали.

— Кого? Которова?

— Да нет же, Берию! А потом, сами знаете, началась реабилитация. Ну, и всех нас уволили... Мне опять повезло, — усмехнется Кравцов. — Н-да, везучим оказался... очень везучим! В общем, лагерь прикрыли, ну этот, на Светлом озере, а я вроде бы для этого и прибыл... Ну, предложили здесь работу — начальником отдела кадров на заводе. Все-таки в струю попал... Ну, согласился: думал, пережду с годок-другой и вернусь в первопрестольную... Ан нет, навсегда застрял.

Впрочем, было одно обстоятельство, — тяжело вздохнув, признается он. — Каганович очень ценил Павла Даниловича. Его реабилитировали в числе первых. Когда-то, еще при Сталине, он, Лазарь Моисеевич, — и это я доподлинно знаю, — лебезил перед Берией, а тут, как того объявили врагом партии и народа, первым в него нож всадил. Подлость ситуации заключалась в том... Вернее, не подлость, а как бы выразиться? — Кравцов стушевывается. — В общем, шепнули сестре Клавдии, что я расстреливал Павла Даниловича... Ну, она послала письмо, где прокляла меня. От себя и детей. Навсегда... Хорошо еще, что я его перехватил: жена так ничего и не узнала... В общем, заказана мне стала столица.

— А сестра ваша жива? — спрашиваю я, удивляясь неожиданной догадке.

— Жива, — кратко подтверждает он.

— Жива?! — поражаюсь я. — А откуда вы знаете?

— Есть у меня информатор.

— Информатор? — переспрашиваю, еще сильнее пораженный.

— Да, из бывших эков. А чему вы удивляетесь?

Он выглядит раздосадованным. Пожалуй, больше: разозленным. Когда изображал из себя жертву, несчастного капитана, раздавленного волей Берии, казался жертвой, а теперь, со сжатыми скулами и оловянным, ледяным взглядом — нет, не жертва, а именно хладнокровный убийца. И неважно, сколько он затылков дырявил... Да и что я знаю?.. Но тот единственный человек, который был ему вместо отца, который взрастил его, на путь истинный направлял, предсказывал, в кого он превратится, и превратился — в изувера! — разве за него может он быть прощен?.. И со всей ясностью я понимаю: именно эта память, эта страшная память — как о палаче! — останется о нем, пока кто-то будет его помнить. Вот что особенно гнетет его на исходе дней. Но нет во мне сочувствия к нему.

Машинально беру бутылку и наливаю в неуклюжую, уродливую рюмку на толстой, короткой ножке, в этот граненый конус, неведомо кем придуманный и изготовленный из мутного, серого стекла: лагерный, что ли? «Ах, гулаговская фантазмагория — пей лучше!» — говорю себе. И пью, не закусывая, чтобы ощутить му-

тящую разум водочную горечь. И жестко произношу — без пиетета, напрямую, в упор:

— А теперь я хочу посмотреть ваш семейный альбом. Хочу увидеть Серебровского Павла Даниловича. И вашу сестру Клавдию Дмитриевну. И ваших племянников, Владимира и Ивана, и вашу племянницу Марию.

— Теперь-то зачем? — пугается он. — Лучше не надо.

— Почему же? Самое время.

— Нет, не надо, — жалко просит он.

— Почему же? — упрямым неотступно. Он встает, хватается за сердце, волочится к дивану.

— Пожалуй, прилягу. Попросите Лену найти нитроглицерин.

Ложится на диван, вытягивается, скрестив на груди руки, прикрыв глаза, — настоящий мертвец. «Еще не хватало, — думаю зло, раздраженно, — стать причиной его смерти...» Торопливо встаю, требовательно стучу в закрытую дверь спальни, зову: «Лена! Лена!»

Безответная тишине. Вхожу, зажигаю свет — смятая постель, и никого. Иду на кухню. Но и там никого. Выхожу во двор. Темно, ветрено, мокро — по-осеннему холодно. В небесах — сердитая катавасия: черные тучи с бледными лунными кружевами рвано, низко плывут, то и дело напозая на луну, но в черных прорехах блестят звезды. Наконец, выглядываю: их, обнявшихся в беседке.

— Отцу плохо, — говорю громко, осуждающе. — Просит нитроглицерин.

— Сейчас, сейчас, — воркующе отвечает она.

— И еще он просит поставить пластинку, — выпаливаю сердито, — его любимую: «Ямщик, не гони лошадей...»

— Ой, как она надоела! — кокетливо говорит дочь, проходя мимо.

И опять мелко, завлекающе колышет телесами. Будто ненароком, — а я стою в свете лампочки на узком крыльце, — задевает меня своими полновесными грудями. И задерживается, как бы смущенная.

— Ой, извините! — произносит с таинственной, джокондовской улыбкой.

И поднимает невинные очи, в которых безгласный, простенький вопрос: ну, догадался?.. И вроде смутившись своей откровенности, опускает взор долу и спешит дальше в завлекающих колебаниях, тараторя:

— Ой, где же лекарство? Ой, что же это?..

А я зло думаю: ни беспокойства об отце, ни переживаний... Эгоизм, распутство!.. Подходит Жвахов. В свете лампочки вижу, какой он сыто-довольный, вальяжный.

— Мне пора идти, — говорю ему.

— Ну, того... малешко бы задержался. Может, серьезно.

— Конечно, серьезно, да только какая от меня помощь? А ты задержись, переночуй.

— Оно, видать, придется, — важно соглашается он. — Вдруг что, а Ленка одна... Надо помочь.

— Именно так! — зло иронизирую я. — Ведь женщины теряются в одиночестве. Им нужна крепкая мужская опора. Поэтому, ночуй!

— Выходит, придется, — наполняясь значимостью своего благородного поступка, произносит Жвахов. Ирония ему недоступна.

XIII

В августовской теме по крутой улице, скользя на мокрой глине, спускаюсь вниз, к мосту через Тульмень, где центр поселка, — там уж недалеко и до моего дома. Падают одинокие, очень крупные, как металлические рубли, дождевые блямбы. Рваное небо, суматошно клубясь, несется навстречу, а далеко, где-то над Окой, бушует гроза, озаряя весь горизонт белыми всполохами, и урча докатываются громовые раскаты.

«Успею, — думаю я. — Только бы не поскользнуться, не упасть в вязкую грязь...» И вдруг, без всяких видимых причин, именно на мосту через Тульмень, на меня обрушивается хлесткий холодный ливень, и даже не ливень, а ледяной град. В миг он выбеливает дорогу, ветвистые тропинки от нее, и уже вокруг — криво ломаются ослепительные молнии, и не урчит, а гремит прямо над головой громовыми раскатами небо. И вместо того, чтобы спрятаться под магазинный навес, я в глупом желании поскорее

очутиться дома бегу во всю мочь и только бьется отрывочная мысль: «Быстрее!.. Быстрее!..» На мгновение взглядываю вверх, и мне чудится, что над мутной чернотой возвышается призрачно-белобородый, обнаженно-мускулистый Илья-пророк на огненной колеснице. И обеими руками, как копье, метает молнии...

Уже в страхе — да нет же: в ужасе! — мчусь, задыхаясь, вверх по своей улице, виляя из стороны в сторону, как на поле брани, чтобы копыта разгневанного Ильи не вонзились в меня. И вдруг у самого дома обнаруживаю, что дождя-то и нету, что сухо, — и во все тут не было! Но внизу, на поселковой площади, дымится мутная стена, которую по-змеиному огненно разрывают молнии и гулом оружейной канонады басит грозный громовержец...

Жутко, необъяснимо, — и я побыстрее прячусь в своем бревенчатом пристанище. Долго не могу согреться, избавиться от дрожи-колотуна, хотя выпил пять чашек чаю, натянул сухую одежду и даже толстый свитер. Наверное, дрожь нервная — от потрясения, от непонятности этого грозного смерча, от мистичности происшедшего, такого же, о каком пугливо повествовали старухи, побывавшие в паломничестве на Светлом озере.

Только об этом и думаю, пытаюсь постичь непостижимое, найти разгадку столь странному, столь неожиданному явлению. Но нет разгадки и нет объяснения, и я ложусь спать, не раздеваясь, чтобы лучше согреться под двумя ватными одеялами. Засыпаю сразу, но тут же начинается кошмарное сновидение: во весь дух несусь я по булыжной мостовой под гору, где внизу ждут меня отец с матерью, давно умершие, а тут совсем молодые, улыбающиеся, красивые, да и сам радостный, счастливый и — маленький мальчонка в сандалетках и коротких штанишках. Но разбег мой так неудержимо-стремителен, чуть, еще шаг и — споткнусь, полечу кубарем, ломая руки-ноги, и там, где они, родители, распластаюсь бездыханным...

В каком-то невероятном напряжении, в последнем усилии приостанавливаю себя, удерживаю от бешеного бега, от неминуемого падения, — и просыпаюсь: в поту, в изнеможении... Но тут же вновь засыпаю — провалью, безмысленно. И опять та же картина, тот же безудержный бег по кривому булыжнику, но уже вниз к реке, где у моста, на зеленом берегу, поджидают меня живые,

радостные и все еще молодые родители... И опять невероятным усилием воли едва вырываюсь из этого кошмарного сновидения.

Когда все это повторяется в третий раз, я, изнуренный, выпластываюсь из-под одеял, зажигаю во всем доме светильники. Сначала принимаюсь ходить — кругами, взад-вперед, по диагонали; потом пробую читать, но ничего не фиксируется в мыслях, никакого понятия — о ком, о чём, ради чего, будто я размагничен, обезволен. И это пугает: подобного никогда не бывало...

Тогда выхожу во двор, натянув телогрейку, сунув ноги в зимние, на меху, ботинки. Ветром разогнало тучную хмарь, и ночной купол, освобожденный вчистую, засиял ярчайшими звездами. И такая же яркая, промытая луна — висит себе в вышине, как неоновый фонарь, и струит спокойно прямо-таки на ошупь осязаемый свет. Чувствую, что успокаиваюсь, но необъяснимая тревога, уйдя куда-то вглубь, все-таки не покидает меня, и, выкурив с десяток сигарет, дожидаясь стражных петушиных криков и первой рассветной полосы, нежно-зеленой, над черным гребнем лесов. После этого опять иду спать, и уже сплю без сновидений, наверное, как младенец.

XIV

В понедельник, 19-го августа, на яблочный Спас, было солнечно, но прохладно и ветрено. В глубинной небесной синеве, как по сказочному морю-океану, плыли белые облачные острова. Я проснулся от резкого стука в окно — нетерпеливого, тревожного. Выглянул: в палисаднике стоял взъерошенный Жвахов. Узкое лицо осунулось, почернело щетиной, губы распухли, в глазах — лихорадочный блеск. Нет, я не подумал о его изнурительных любовных утехах, а как-то уныло, тоскливо решил, что случилось непоправимое со стариком Кравцовым. А в этом мог быть повинен и я. «Ну что поделаешь? — сказал себе в утешение. — Кто-то обязательно должен быть виновным». И, натянув брюки, отправился открывать калитку в дубовых воротах здешнего высокого крепостного порядка.

— Ну, чего так долго спишь? — упрекает Жвахов со свойственной ему полуизвинительной, полунахальной усмешкой. — Все люди давно встали: один ты! Неужто ничего не знаешь?

— А что я должен знать? — пожимаю плечами.

— Как что?! Ты того... радио бы включил.

— А что стряслось?

— Что стряслось? — эхом повторяет он: осуждающе, свысока. — Да в твоей Москве переворот. Государственный! Понял?

— Не может быть, — говорю растерянно. — Я-то думал с Николаем Дмитриевичем плохо... — с души сползает тревожная тяжесть. — Увидел тебя; и самое последнее подумал, что он... ну, сам понимаешь.

— Что ты! Дядя Коля пританцовывает! — И Жвахов, смеясь, изображает, как, прихлопывая в ладоши, пританцовывает Кравцов. — Он же люто ненавидит Горбача. Называет Иудой, предателем.

— Да что, собственно, произошло? — заводжусь наконец и я. — Какой переворот? Где, кто, кого сверг?

— В Москве. Горбача свергли. Танки на улицах. Понял? Создан, ну это, чрезвычайный комитет. Во главе... ну, с этим... как его? Ага, с вице-президентом. Татарин, вроде.

— С Янаевым? — удивляюсь я.

— Ага. И там, ну, эти, Язов, Крючков, других не упомянул. Так, что скажешь? — требовательно вопрошает Жвахов.

— Наверное, одно: надо ехать в Москву. — И уточняю: — Значит, старик радуется?

— Что ты! Помолодел! Пора, говорит, предателей к ногтю. Наводить порядок пора.

— Так и говорит?

— Именно так! А то, говорит, продадут Отечество. Социализм порушат.

— А Ельцин-то как?

— Тот, кажется, несогласный. В общем, его в этом комитете нет.

— Что-то здесь не то, Андрей. Не нравится мне все это.

— А кому понравится? — соглашается Жвахов. — Когда чрезвычайку вводят? Когда танки на улицах? Как в Чехословакии. Еще так гайки закрутят, едрёна феня, не дыхнешь! Как при Сталине.

— Нет, Андрей, тут нечто другое. По-моему, даже похуже.

— А что же тогда?

— Не знаю. Пока ничего не знаю.

В тот же день я уехал в Москву. На трассе, которая по понедельникам всегда заполнена грузовым движением, было почти пусто. Лишь за Егорьевском, ближе к Москве, началось оживление, причем довольно странное; навстречу на больших скоростях летели иномарки с озабоченными, мрачными седоками. И это — в понедельник! Из Москвы!.. «Кооператоры бегут!» — решил я. А вообще, в одиночестве путешествия, без радио мне вспоминался вчерашний разговор с Кравцовым, та жуткая история; ставшая причиной его долгого, многолетнего заточения в Тульме, а теперь, надо же, восторженно танцует с притопом да прихлопом, и уже успел, как ранний петух, прокукарекать: «К ногтю!»

«Н-да, не меняются люди, — говорю себе. — И не случайны их биографии, и закономерна их судьба...»

Конечно, Горбач — иуда, предатель, думалось мне, и это не вызывает сомнения — после Крушения Варшавского Договора, после Мальты, где он, с подобными себе иудами, с Яковлевым и Шеварднадзе, сдал все государственные позиции, низвел великую державу — без войны! без сопротивления! — до уровня побежденной, второразрядной, у которой нет даже будущего... Ничего подобного в истории еще не случилось!

Но кто эти спасители? Они ведь еще ничтожнее... Куда они-то поведут? Что, опять обкомовско-райкомовская клетка? Опять ранжирная пирамида? То есть русская социалистическая матрешка: большой вождь, поменьше, еще меньше и совсем маленький... Опять тупое единообразие, всеобщий одобрямс? И опять — хамство, ханжество, мещанская скука... И, конечно, самовозвеличивание, самодовольство, вернее, самодурство! И опять одних — к кормушке, к наградам, а всех остальных — к ногтю! по лагерям!.. Таков их возвратный порядок? Знакомый до тошноты, до боли... Который давно уже стал всем ненавистен!

... За Гжелью свернул с Егорьевского шоссе на Бронницы, чтобы въехать в Москву с главной юго-восточной магистрали — Новорязанской. И вновь навстречу летели иномарки всех тех, кто уже награбил, наворовал, а теперь спасался от чрезвычайки, от мести, от вероятных арестов.

Новорязанское шоссе, как древнеримская дорога, то падает в низины, то высоко взлетает на холмы, и тогда, на взлетах, в невероятной распахнутости открываются небеса. Перед самой Москвой на макушке одного из холмов остановился. Такого тревожного заката над столицей мне еще не приходилось видеть! Плоская чернильная туча, как горное плато, недвижно застыла, придавливая городской пейзаж, и в малом просвете между ней и белыми многоэтажными коробками малиново, огненно догорал горизонт. И над этой фиолетовой тучей в смертельно бледной чистоте угасал небесный купол с взошедшей, чуть ущербной луной, прозрачной, как папиросная бумага...

А на московской Кольцевой дороге у съезда с Новорязанского шоссе вдавленно замерли два громоздких бронированных чудовища, которые по замыслу их создателей должны были бы внушать страх. Но страха не было, потому что на броне молоденькие солдаты улыбочиво кокетничали с подростковыми девчонками, неведомо откуда взявшимися в этой автомобильной круговерти. И все представлялось безалаберным, карнавальным, хотя и тревожным одновременно...

... В пустой сумеречной квартире сразу включил телевизор и тут же увидел всех переворотчиков. Они сидели за длинным столом на авансцене — шла пресс-конференция. Выглядели скованными, неуверенными. У объявленного нового главы государства, Янаева, дрожали руки с текстом «Обращения к народу», срывался голос. Не чувствовалось ни правоты затеянного, ни твердой воли, — и мрак, тоскливое уныние заползали в душу.

А потом на телеэкране мрачная пресс-конференция сменилась... танцующими лебедями! Показывали балет «Лебединое озеро», причем в старой, заезженной записи. Голоногие балеринки кружились и прыгали, и этот лебединый сюжет воспринимался кошунственным идиотизмом.

... Весь вечер из массивной чернильной тучи обильно лил дождь — холодным обвалом, без грома, без молний. И я не мог вспомнить такой затаенной пустынности в Москве, по крайней мере, в своем Теплом Стане; когда ни машин, ни людей, а в скученных белых высотках бесконечными рядами чернели, как всеобщее осуждение, рано погашенные окна.

XV

Десять дней я оставался в Москве, наблюдая грандиозный политический спектакль. Его режиссеры старались вовсю, чтобы представить события как третью русскую революцию. Но сами события были настолько искусственны, а основные исполнители настолько бездарны, что, не сомневаюсь, у вашингтонских заказчиков не проходила мигрень. Да и спланированы они были слишком скоропалительно: сразу после визита в Москву главного янки — президента Буша. Этот американский президент, этот многолетний, упрямый продюсер уничтожения СССР, мечтавший о подобном еще со времен своей карьеры в ЦРУ, по-моему, до конца все же не верил, что ему в полной мере удастся осуществить сей тектонический сдвиг — крушение супердержавы, державы-соперницы, — и добиться вожделенной цели: утверждение нового мирового порядка под эгидой США — Pax Americana.

Если смотреть на события в тот грозовой август под американским углом зрения, то каждый из десяти дней, которые и на этот раз, как в октябре 1917-го, потрясли мир, служил доказательством двойного, тройного заговора против нашей страны. А те, кто пытался это предотвратить, ни в чем не преуспели. Чрезвычайка, то есть власть так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению, так и не началась: промелькнула танковой бутафорией, мрачно короткой увертюрой к главному действию по возвеличиванию нового героя — Б. Н. Ельцина.

Однако самой драматической стороной всех этих событий было не вознесение нового героя, а уход старого — Горби Меченого. Как же он изощрялся, этот словоблуд, изворачивался, как заискивал, как вновь и вновь предавал, иудствовал — о, немислимо! Он надеялся, затаившись в Форосе, что спектакль все-таки поставлен ради него — *самого лучшего, самого верноподданного*, что не Ельцин въедет в Кремль, а именно он туда вернется героем-победителем.

Вернее, «в другую страну» — такие вот слова он произнес, сходя во Внукове с трапа самолета. Правда ведь, очень странное для президента СССР определение? Что бы это могло значить — *д р у г а я с т р а н а*? Оскопленная Россия? Или, рассыпанный на сорок независимых государств, новый конфедеративный Союз су-

веренных республик? Но хоть оскопленный, хоть конфедеративный, хоть ничтожный, но он, Горби, все равно во главе! Не мог, никак не мог этот лукавый карьерист, этот мелкотравчатый тщеславец, предавший всех, кого только можно было предать, да, никак не мог представить, что в «другой стране» — как и должно! — окажется во враждебном окружении, в полной изоляции, — в пустоте! Конечно, все иуды вознаграждаются, и Горби Меченый, после разлома и уничтожения СССР, получил свои сребреники — миллионы долларов в фонд... собственного имени! Кажется, тогда стали поговаривать, что он похож на Берию. Более того, вроде бы — внебрачный его сын. Уж не знаю, от какой из сотни зафиксированных наложниц Берии он мог родиться, но внешнее сходство угадывается: слащавая улыбка при неподвижных — люциферских! — глазах. С такими глазами — и мать родную не пожалеют! Но главное в них сходство все же иное: абсолютное бездушие, безжалостность и — безнравственный, безнациональный безграничный эгоизм. Ах, да что говорить, чудовищные фигуры!

Между прочим, я сомневаюсь, что будущие историки сумеют разгадать мотивы поступков преступлений Горби Меченого. Ведь и мы, современники, не можем постичь, как же так — взять, да и все разрушить! Самоуничтожиться! Непостижимо. Впрочем, если только не объяснить самым элементарным образом: именно он-то и был главным американским «агентом влияния», о чем во всеуслышание предупреждал всеведущий гэкачепист, глава госбезопасности Крючков.

Короче говоря, на десятый день этих августовских событий для меня лично кроссворд-головоломка в целом был разгадан. Дальнейшее развитие ситуации становилось очевидным: распад, воровство, убийства, нищета, нравственная деградация, то есть хаос, смута. В общем, несуществование — как нации, как державы. С такими вот мыслями, проторчав в «другой стране» — в *новой, демократической* Москве — десять дней, где, кстати, уже начались и репрессии, я в полном мраке, в полном отчаянии покинул стольный град и опять устремился в свой глухой мешчерский угол. Перед отъездом побывал в Новоспасском монастыре на вечерней службе. Мне хотелось утихомирить взбаламученную душу, вразумить себя, обрести смирение.

Удивительно безсуетно, по-монашески строго и возвышенно ведутся в Новоспасском службы. Там безукоризненна молитвенная атмосфера. И нигде, пожалуй, в Москве не приходилось мне слышать такого псалмового песнопения — проникновенными мужскими голосами.

Еще для меня важным было побывать именно в Новоспасском монастыре, потому что знал, вернувшись в Тульму, неминуемо встречу с Кравцовым, а здесь все-таки его родина. Да и вообще, судьба этого столичного монастыря, по-моему, самая трагичная: именно отсюда началась гулаговская эра в России, здесь был создан первый концлагерь. И даже в подлую горбачевскую перестройку очень долго, упрямо не хотели этот величественный монастырь, с усыпальницей первых Романовых, возвращать церкви... Почему? — загадочно, необъяснимо...

Впрочем, почти сразу, поглощенный службой и печальными песнопениями, устремленными в выси, я запамятовал о своем суетном раздражении, о катавасии человеческих страстей и амбиций и был смиренен в восприятии вековечных истин, в осознании библейской мудрости о том, что наша жизнь, как и наша смерть, достаточно призрачны перед ликом Христа. Не забывал только, стоя перед громадной иконой Нерукотворного образа Спасителя, — о боли за дальнейшую судьбу Отечества. И все время пытался поймать Его взгляд. Но Он неумолимо смотрел в сторону. А потому не вспыхивало озарение, не мог я заглянуть в *век будущий*. Наоборот, как-то убедительно, хотя и невысказанно, подтверждалась трагедия происходящего. И лишь когда я уходил, вдруг затылком почувствовал теплоту нерукотворного прикосновения и, обернувшись в растерянности, наконец-то на краткий миг поймал Его ласковый взор, в котором, как мне почудилось, сверкнуло благоволение: *«Не предавайся унынию»*.

XVI

В Тульме меня ждали свои события, и главное из них — смерть Кравцова. Еще вчера, во вторник 27-го, когда я был в Новоспасском монастыре, он, посмотрев первовечерние новости, решил отдохнуть. Прилег на диван и вроде бы задремал, а как вы-

яснилось, умер. Это мне сразу доложила — не успел я и ворота открыть — жваховская тетка Фаня, моя соседка через улицу.

И я воочию представил кравцовский кожаный диван с высокой, кожаной же, спинкой, украшенной теремком с тусклым, в желтых разводах зеркальцем, его вытянутую стройную фигуру, с ногами на откинутах, вытертом до белизны, валике, его руки со сцепленными на груди пальцами, — и запрокинутую на подушке-думке красивую голову с костистым подбородком, со строгим лицом цвета пепельно-серого, как печная зола, таким, каким я его оставил десять дней назад... А за эти дни пронеслась целая историческая эпоха — и закончилась! Обрушилась и, похоже, надолго, если не навсегда, наша громоздкая государственная конструкция...

Говорливая старуха Фаина Васильевна уже докладывала другую важную новость, взбудоражившую Тульму: кто-то спалил до последнего бревнышка остатки «кравцовского лагеря». Спрашиваю: «Почему кравцовского-то?» — «А как же! Так и раньше прозывали, по начальнику. А сожгли, — и она пугливо оглядывается: нет ли кого рядом? — в точь на другой день, как энтотому Зержинскому в Москве памятник завалили. Ну, а кто — поди поищи! Вон тот же Ванька Дутиков, четырежды судимый, ай разве не мог? Да кто ж докажет? Да и зачем? Лесов-то не пожгли, и деревню Милованову, а энти ухоботья — кому они нужны?»

А третья (прямо-таки, как в сказке положено!) важнейшая старухина новость была о том, что батюшка, отец Серафим, наотрез отказался отпевать упокойника. Мол, в храм не ходил, не исповедывался, не причащался, — повторяла она аргументы священника, так как же творить молитву-то пред всевидящим оком Господнем? «Грех великий, — с возмущением доказывала старуха, — и надясь напрочь прогнал моего племяша Андрюшку Жвахова. Вишь ты, вспомнил, что в школе вместе с отцом Серафимом учились! Так таперь, чаво ж, тот — батюшка рукоположенный, а эн-тот, как был вертихвостом, таковой и посегодня. Правда-ть, церковная старостиха Василиса с девками присными сжалились. Обещались попеть заупокойную. Ужо больно его дочь, Ленка, убивается...»

В общем, не успел я приехать, как знал главные тульменские новости. Вскоре прикатил на велосипеде и Жвахов.

— Ну ты, того... наверняка в курсе, — произнес раздраженно. Выглядит раздосадованным, суетным, нервным. — Тебе тетка Фаня, небось, наболтала уже? Вечно наперед лезет. Лучше бы помогла с подготовкой поминок. Так нет же, отказалась! А Ленка вон зашивается. От горя едва на ногах держится, а эти... Ну, да ладно! Ты, того... дядю Колю в последний путь проводи. Все-таки москвич, как и ты.

— Что ж, провожу, — обещаю я.

— Это хорошо. Значит, так: с Ванькой Дутиковым мы договорились — и могилу выкопают, и гроб понесут, — и загибает мизинец. — С водкой в ажуре, — загибает следующий палец. — С молитвами...

— Постой, Андрей, — перебиваю я, — а что, кроме Дутикова с его гоп-компанией, некого попросить? Поприличнее мужиков?

Дутиковская компания — это тульменские бичи, бывшие лагерники, а точнее, уголовники. Вечно торчат внизу, на тульменской площади, у магазинов: как бы кого из загулявших мужиков оприходовать на бутылку. Однако всегда готовы, если надо, в чем-то помочь — или машину дров разгрузить, или ту же могилу выкопать. Воровством, бывает, промышляют, но мелким, ненаказуемым. Больше всего боятся вновь загреметь за колючку. Сам Дутиков, по прозвищу Крошка, лагерный авторитет — еще крепок, в силе. Объявился в Тульме недавно, по невыясненным причинам, и сразу твердо взял власть в свои руки. Но ведет себя смиренно, бездельничает, пьянствует — со всеми вместе. Кто-то утверждает, что он пересиживает в Тульме, скрывается от всесоюзного розыска. Но сам Дутиков напрочь отрицает этот подлый поклеп. «Пожить хотца...» — внушает всем.

Жвахов кисло говорит:

— Просил, и не одного: отказываются! Сам видал, чего в Москве-то наворотили. А тут какой-то гаденыш слушок пустил, будто дядя Коля, ну того... из этих самых... как их?

— Гэкачепистов? — удивляюсь я.

— Ага. Будто он их приветствовал, радовался... Оно, конечно, малешко было, — признает нехотя Жвахов.

— Неужели так серьезно?

— А ты думал! Народец у нас вздорный, злопамятный. Вообразили себя демократами... вместе с Ельциным! Вон пожгли лагерь до последнего бревнышка. Теперь там горелое место...

— Горелое место? — повторяю я, удивляясь тому, что отныне именно это наименование закрепится за тем участком на краю торфяных болот, где лет тридцать просуществовал «кравцовский» лагерь.

— Ну-у... Горелое место, — подтверждает Жвахов, не очень вникая в мое удивление. Его волнует другое: — Представляешь, записочку, обернутую ржавой колючкой подсунули. Мол, начальник, все, кончилась твоя власть. А каково дяде Коле? Ну, прикинь... Оно, конечно, сердце не выдержало.

— Значит, местный гэкачепист? — и у меня невольно вырывается нервный смешок. — И хоронить будут бывшие зэки? Гроб понесут, в могилу зароят?

— Чего ж здесь смешного? — вздыхает Жвахов. — Ты-то ведь с понятием, а туда же... Я б тебя послушал, чего там в Москве-то наворотили, да делов много. А ты, того... не пужайся: проводи дядю Колю в последний путь. Совсем он и не изувер. Никому плохого тут не сделал, а вишь, как они... с подковыркой, с мстительностью... Ну, я поехал... — он весь сник: подавлен, расстроен. — Пожалуй, давай покурим, и я поеду, — предлагает, затягивая встречу, и видно, что — в смятении, в раздвоенности, и какие-то неясные обиды гложат его душу. Свою беломорину уже не гоняет форсисто по углам рта, а курит затаенно, спрятав в кулак.

— Народец у нас, оно, конечно, темный, — продолжает раздумчиво, — однако, сразу сообразил, что, того... с властью партийной покончено. Ну, это... с коммунистами.

— Та-а-к! — опять из меня, ошарашенного, вырывается нечто неопределенное. «А ведь, действительно: сразу сообразил!» — соглашаюсь мысленно со Жваховым.

— А чего ж! — он даже оживляется. — Лучше быть свободным, чем подчиняться всякому партийному хмырю. Ну, скажи, разве не так?

— Слушаю тебя...

— А чего меня слушать? Пстой! — вскидывается он, — а про лебедя тебе тетка Фаня рассказывала?

— Про какого еще лебедя? — я опять ошарашен.

— Как же! Старостиха Василиса уже всех оповестила, что новое явление на Светлом озере. Когда пожгли анафемский лагерь...

— Не понял, какой?

— Ну, огнем анафеме предали лагерь-то, дошло? То-то. Так вот, бабка из Милованова, а это самая крайняя деревня, вплоты к лагерю. Там у нее, эти самые паломницы, с Василисой во главе, абныкновенно заночевывали... Так вот, пошла эта бабка по ягоды, Надькой, ее, кажись, звать, — у Жвахова, когда он волнуется, часто проскальзывают деревенские искажения слов — *абныкновенно, кажись*, — а лучшие ягодники, известно, вокруг Светлого озера — *хочь* руками загребай! Правда, у них там, в Милованове или в Ярыгине, ковшики заведены, как гребенки. Однако, не о том я...

Так вот, идет, значит, эта старая Надька по приречной тропке к озеру, чтобы живой воды испить, да лицо омочить, и столбенеет: ни двинуться, ни глаз оторвать. Видение перед ней, чудо! Будто бы поднялась из глубин церковка, каждым бревнышком в прозрачной воде просматривается, а позолоченный крест будто бы на поверхности сияет. И сидит на нем, то есть на кресте, белая лебедь-птица. Как сам ангел небесный. Ну, бабка: «Свят! Свят!» — и на колени бухается, чтобы креститься и молитву творить: мол, Пресвятая Богородица, и так далее. А потом, значит, испарилось это видение, как не бывало. Только и увидела старая, будто белая лебедь-птица в облачко превратилась.

Какие уж тут ягоды! — ухмыляется Жвахов. — Бабка прямехонько в Тульму к Василисе. А те: чудо! чудо! Мол, сама непорочная Богоматерь явление сделала. А, впрямь, вчерась это было, как раз накануне Успенья. Едва уговорил, — мрачнеет Жвахов, — у гроба спеть заупокойную. И проводить назавтра, на похоронах. Как же, очередное чудо у них!

— А ведь они искренне верят, Андрей, — говорю я.

— Так-то оно так, — отвечает он недовольно и мрачно. — У нас только на вере все и основано. Верили вон Горбачу, пока не обманул. Теперь Ельцину поверили. И этот обманет!

— Та-а-к, — опять недоумеваю я. — Значит, не следует ему верить?

— А чего им верить-то? — злится, вдруг взрываясь, Жвахов.
— Ты вот прикинь: ведь всем же ясно, Горбач во главе стоял, ну, как его?.. этого самого ГКЧП. К нему же в этот самый Форос все летали. Даже Ванька Дутиков говорит: «Как к пахану на уговоры».

— Что, так и говорит? — удивляюсь опять. — Выходит, и ему не безразлично?

— А то! Однако ты не смущайся. Они ведь тоже люди. И с понятием. Телевизор все смотрят, — внушает Жвахов: уже успокоившийся, просительный. — Ты-то, того... не отказывайся. А то Ленка с ума сходит. Будто всюду заговор!

— Не сомневайся, Андрей, — подтверждаю. А на душе как-то грустно становится: в самом деле, ведь целая эпоха кончилась... Какая бы она там ни была — жестокая, уродливая, а все равно великая! Вот с чем мы прощаемся — и это, выходит, даже бичи, воры-лагерники, понимают.

XVII

Хоронили Кравцова на третий, ореховый, Спас — в четверг, 29-го августа. Так вот пришлось. Вся эта история, выходит, в трех августовских Спасах разместилась — не знаю уж, к чему? Но, однако, памятно мне — физически! — необъяснимое тепло прикосновения в Новоспасском монастыре, и будто бы произнесенное — мысленно, конечно: «*Не предавайся унынию*». Что ж, не станем...

Так вот, похороны выглядели необычно. Пожалуй, таких похорон в Тульме и не припомнят. Вернее, такого прощания с усопшим.

Жвахов оказался прав: народец здесь жёсткий! К тому же, злопамятный... То есть помнящий зло и не прощающий. И даже не конкретное зло, а общее, которое выпало олицетворять Кравцову. И хотя это было несправедливо, потому что перед тульменцами он ни в чем не был виноват, но и во гробе ему предрекалось страдать и мучиться, как за собственные грехи, так и за все великие грехи той системы, которой когда-то он верно служил. По их разумению, Кравцов оставался не столько начальником лагеря, который мог быть плох или хорош, а прежде всего, палачом — да, к сожалению, именно так, — пускай раскаявшимся, но ими все равно не прощенным.

С характером народец в Тульме: часто вздорным, непримиримым, но по сути своей все же справедливым. И вот потому, что в каждом тульменце присутствовало это жесткое понятие справедливости, и еще то, что в совместной жизни Кравцов никогда не представлялся им ни палачом, ни извергом, наоборот, был *абнык-новенным*, то есть добропорядочным, отзывчивым, так вот, по этой причине все те на его крутой улице, мимо чьих домов несли на кладбище гроб, считали своим долгом выйти за ворота — за глухие, высоченные, как крепостные стены, тульменские фасады, чтобы в суровом молчании проводить в последний путь.

Однако никто, кому Кравцов за долгие годы своей второй — послемосковской, тульменской — жизни (за тридцать семь лет!) сделал добро, кого поддержал, благодетельствовал, кому помог, все равно не могли преодолеть себя, возвыситься до прощения, до христианского смирения, а в общем-то, отринуть негативный, осуждающий настрой, и по традиции, идущей от отцов и дедов, по извечной деревенской традиции приостановить процессию, то есть вынести на улицу два табурета, чтобы опустили на них гроб с усопшим, дабы в последний раз посмотреть в его застывшее лицо, запомнить его и во гробе, уходящего от них навсегда, в вечность, и, как завещано, дотронуться до руки или поцеловать в лоб. Нет, не двигались, стояли молча, насупленными истуканами.

Жесткий поселок, тяжелого нрава...

Так мы и шли неостановочно малой процессией: впереди красный гроб, который попеременно несли бывшие лагерники во главе со своим авторитетом, с озабоченно-серьезным Иваном Дутиковым; за гробом — высокая статная Василиса со своими сухонькими товарками, тонко напевавшими зауспокойные молитвы; за ними — Жвахов, поддерживающий под руку Елену, — всю в черном, плачущую, но и в горе прекрасную, сосредоточивавшую на себе все взоры; а далее мы — четыре ковыляющих старика, да я замыкающим.

О чем мне думалось? Честное говоря, не очень-то помню. Прежде всего, было очень неудобно. По всему найденному похоронному маршруту, особенно, от моста, с поселковой площади, где уже сплошными рядами — и слева, и справа — стояли тульменцы в своей молчаливой строгости. Кто-то крестился, кто-то

перешептывался, но лучше было не вглядываться в их лица, да и свое уткнуть в землю.

Помню, одна несерьезная мысль неотступно вспыхивала в сознании: «теперь уж наверняка зачислят в родственники Кравцова». Но эту ненужную, пустую мысль я упрямо гнал прочь, зачем-то доказывая себе: «...в конце концов, а что здесь постыдного? Что плохого? Что несправедливого?..» Кроме того, думал о тульменцах: «Уж лучше бы себя преодолели, простились бы по-человечески, как положено, как со всеми... Чего уж так строго судить? Сами-то разве лучше?» И мне казалось, что Николай Дмитриевич слышит мои мысли, — и благодарен.

Вообще-то он выглядел в гробу не синюшным мертвецом, а именно заснувшим человеком. Это ощущение, будто он не умер, а только заснул, неожиданно выразила церковная старостиха Василиса, все ведающая в подобных обстоятельствах. Так и сказала — громко, сама немало удивляясь: «Надо-ть, как живой...» И вот это ощущение, что он, Кравцов, живой и видит осуждающее, несправедное прощание с ним, не покидало меня тот долгий, изнурительный путь, что мы двигались через весь поселок на кладбище.

Не знаю, как объяснить, но это тревожное чувство, что зарывать будут живого человека, не давало мне покоя. Я вновь и вновь вглядывался в его отстраненно-умиротворенное лицо, мысленно пытался обращаться к нему, но он никак не откликался. И как бы само собой возникал молчаливый ответ: «Я решил уйти и не надо мне мешать».

Странное дело, и я это чувствовал, его совершенно не обижало то отчужденное, то осуждающее и даже жестокое отношение к нему даже во гробе. Не трогало, не тревожило. Будто он прозрел уже нечто новое, к чему и устремился — со всей покорной радостью. И мне вспомнились те библейские слова, которые он произнес при нашей встрече: *«Святый ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни...»*

На кладбище тоже было непривычно: без суеты, без голосистых рыданий, без речей. Елена тихо поплакала у него на груди, поцеловала в губы. попрощались сдержанно и все остальные. И в молчании, заколотив гроб, на канатных веревках опустили его в желтую песочную могилу. Бросили комья: сначала его дочь, за ней — Жвахов, а потом и мы со старухами. Но перед тем как зака-

пывать, стоя на песочно-глинистой горке, лагерный авторитет Иван Дутиков вдруг громко, проникновенно произнес: «Прощай, гражданин начальник». И по его команде все бывшие зэки дружно бросили и свои горсти земли.

Через несколько минут могила была засыпана и возник аккуратный, выровненный лопатами, холмик. А мы все, в оцепенелом молчании, наедине с сокровенными мыслями, еще долго стояли у этого последнего памятного знака очередной отшумевшей жизни, не то чтобы не в силах двинуться, а подавленно отяжеленные всеобъемлющей печалью. И именно там и тогда я впервые со всей ясностью понял, что с гулаговским прошлым, похоже, Россия расстается навсегда.

ДУРЬ ПОТУСТОРОННЯЯ

За селом Спас-Николино в цветастый луг врезалась лощина с двумя корявыми соснами на краю. Их, как бы дозором, выдвинул угрюмый лес, уходящий по крутому спуску к вертлявой речке Ржавке. Местность тут всхолмленная, лесная, в глубоких оврагах, прямо-таки первозданная.

Село уже давно и не село, а по нынешним переименованиям — «поселок городского типа», правда, еще не тронутый бетонно-блочной застройкой. А потому Спас-Николино сохранило бревенчатые избы, однако народца исконного осталось наперечет: магнит столицы, в каких-то семидесяти километрах, тянет крепко, неустанно. Ныне здесь больше обосновалось наезжих, невесть откуда наманенных — для работы в совхозах, а также санаториях, домах отдыха, которых в округе множество.

Когда-то, очень давно, в веках, Спас-Николино и не село было, а городок Спас-Никольск — с «неприступной крепостью на горе» у впадения Ржавки в стольную реку. Он соперничал со Звенигородом и даже с самой Москвой: так, по крайней мере, отмечено в летописи времен Ивана Калиты. Но потом по неведомым причинам исчез городок из письменной памяти, а возник опять лишь в семнадцатом столетии в государевых бумагах, обозначившись «доходным селом у сборного моста» на Можайско-звенигородском тракте.

Историческое место Спас-Николино, что и говорить. А почерпнуты эти сведения из статейки, опубликованной в районной газете в самый канун войны учителем истории Спас-Никольской средней школы Птицыным Михаилом Андреевичем...

Но вернемся на луг с лощиной за околицей Спас-Николина. Луг этот памятный, испокон века оставался лугом, никогда не распахивался — ни после революции, когда крестьяне жадничали до новых наделов, ни в коллективизацию, ни до, ни после войны, ни ныне, когда громадные «стальные кони», в обилии размножившиеся, безжалостно режут любую землю. Спас-никольский луг остается нетронутым, густотравяным, цветущим буйным многоцветьем до самых заморозков, до белого покрова зимы.

Иногда, как исстари повелось, здесь пасут небольшое совхозное стадо со спас-никольской молочно-товарной фермы, а вот

праздничных гуляний — всем селом, с песнями, хороводами — уже почти полвека, с начала войны ни разу не устраивалось. Правда, последние лет двадцать, в мае, перед праздником Победы, на лугу собираются учащиеся Спас-Никольской средней школы. Здесь, у двух корявых сосен, покоится в одинокой могиле учитель Птицын, расстрелянный в морозно-снежном ноябре сорок первого года.

На митинге каждый раз — без пропусков — выступает Надежда Илларионовна Шершанова, потомственная жительница села и последняя свидетельница жестокой казни. И каждый раз она добавляет все новые и новые подробности мученической смерти учителя-большевика...

Во время нашествия немецко-фашистской орды в Подмосковье Надежде Илларионовне исполнилось пятнадцать лет, и она жила вдвоем с престарелой матерью в большой избе на Новой улице, нескладно разбросанной по луговому краю.

Вообще Спас-Николино — селение нескладное, как бы звездно-лучистое, с ядром довольно странным, — кладбищенской горой, где в достопамятные времена возвышался крепостными стенами детинец, а в более поздние эпохи голубела куполами, сверкала позолотой крестов спас-никольская церковь, закрытая и разваленная по разъяснению-требованию грозного московского уполномоченного, усатого мастерового Семена Крученых, еще в середине двадцатых.

Так вот, от этой горы-ядра, что у самого моста над Москвой-рекой, начинают лучиться вверх по длинному плоскому подъему спас-никольские улицы, разъединенные глубокими распадками с ключевыми ручьями, и эта уличная обособленность, особенно чтимая в былые времена, как бы делала село семиконечным, и один из концов, в самом уже возвышении, где начинались поля и выравнивалась дорога, петляющая от моста к деревне Залесье, назывался Луговым.

В Луговом конце и родилась Надежда Илларионовна, и отцом ее был уполномоченный Крученых, полгода проживший в Спас-Николине в доме вдовы Шершановой Прасковьи Трифоновны, организуя ТОЗ — Товарищество по обработке земли. Вдова очень стыдилась, долго не регистрировала «девку уполномочен-

ного», все ожидая его обещанного возвращения, но он не объявлялся. И пришлось ей записывать дочь на имя-фамилию законного мужа, Иллариона Шершанова, убитого «в империалистическую», в шестнадцатом году.

Но Крученых не навсегда исчез, лет через пять, в коллективизацию, вновь объявился и вновь в звании уполномоченного, дочь признал, однако ни любви, ни интереса не проявил, а Прасковье Трифоновне строго растолковал, что придерживается принципа свободного брака, чтобы не попадать в старорежимное рабство семьи, а отдавать энтузиазм горения народному делу. И Прасковья Трифоновна примолкла и покорилась, потому что грозный и вроде бы близкий уполномоченный пообещал пристроить в Москве трех ее сыновей-погодков: Ивана, Николая и Петра, которые очень туда рвались. И постаревший, седоусый Семен Крученых, отбывший даже царскую каторгу, слово свое сдержал: все трое стали метростроевцами.

Вероятно, умчалась бы в Москву и кровная дочь Крученых, если бы не война, а точнее, если бы железный партиец Семен Митрофанович Крученых не погиб в рядах народного ополчения. Ну и, кроме того, если бы не погибли и три ее брата, ставшие москвичами...

Перед войной, в мае сорок первого, Надежда Илларионовна закончила шесть классов и с этим образованием осталась на всю жизнь. Учителя Птицына знала хорошо, хотя особого интереса к нему не питала. Был он внешностью незаметный: невысок, сутулился, бледный, бескровный лицом и, по словам одинокой бабки Феодосьи Анисимовны Девяткиной, в избе которой квартировал, «дюже болезный».

«Страдалец! — говорила старуха. — Грудью мается, потной одышкой, сердцебиеньями. В избе или на кровать завалится — от немощи, или над книгой горбится. А все от ума, от неспособности к делу...»

«Книжный, как барин, — еще докладывала бабка Феодосья. — Книг навез цельный сундук. Есть огромные, в коже, вроде церковные. Но, ой, нет, не церковные, а тыйстические. — И, зажигаясь возмущением, прибавляла. — Против Бога рьяно спорит, потому что коммунист. В царствие справедливости верит, в рай на

земле-матушке. — Но смирялась Феодосья. — Однако тихий, незлобивый, всегда уважит. Чё и говорить, болезный...»

Феодосьяина изба была крайней в ряду, у луга против лощины, и учитель Птицын, по болезни покинувший Москву, не случайно поселился именно в этом конце Спас-Николина. Отсюда бежала тропа через луг, затем по спуску вдоль лощины на мостик через Ржавку и, попетляв по лесу, выводила на шоссейку, на можайско-звенигородский тракт, где в стороне от села стояла двухэтажная бревенчатая школа. Путь туда занимал всего пятнадцать минут, но если идти вкругаля через село да по снегу, а тем более по осенне-весенней распутице, то и за час, измаявшись, не доберешься.

На этой скорой тропе Надька Шершанова всегда обгоняла, здороваясь, одышливого учителя, который к тому же часто не то отдыхал, не то любовался деревьями, цветками, не то заслушивался пением птиц. Она была к нему совсем безразлична, к тому же его предмет, история, ее ни чуть не занимал, более того, не понимала, не хотела понимать, зачем же им знать-то про всяких царей да князей с боярами, когда у власти рабочие и крестьяне. Надькино неприятие истории, как и ее девический максимализм, распространялись и на замухрышистого учителя, и она даже серчала про себя на то, что он постоянно попадает на ее пути...

Война так неожиданно накатила в Подмосковье, что не успели опомниться, как в Спас-Николине появились немцы. Прежде всего они заняли школу, устроив в ней казарму, а также несколько домов, ближайших к мосту через Москва-реку. На Луговом краю не объявлялись, правда, однажды приехали на двух мотоциклах и, покрутившись, угрожая автоматами, прирезали овцу у Кувшиновых.

Учитель сначала куда-то исчез, но дня через три объявился, сильно кашлял, простуженный, и свалился в лежку — в бреду и жаре. Однако через неделю, как объявляла всем бабка Феодосия, очухался и «опять горбится над треклятыми книгами». На волю он совсем не показывался.

Все они тогда жили в тревожном ожидании, в страхе, но постепенно обычные заботы со скотиной и по подворью вернули их в привычные будни. Мать строго-настрого приказала Надьке не

высовываться из избы, а то, де, беда близко: «углядят и насильничают». И вот почти месяц высиживала она то у одного, то у другого окна в тоске и томлении, все обмышляя: «Чегой-то теперь будет? Как им-то жить?..»

Все опять свершилось нежданно-негаданно: затарахтели мотоциклы, пять штук, по двое фашистов на каждом, и остановились прямо против избы бабки Феодосьи. Солдаты соскочили, некоторые побежали вокруг избы, а трое во главе с офицером, у которого в вытянутой руке был пистолет, направились в сени. Хоть и страшно ей стало, но она не отпрянула от оконца.

А было это к вечеру, уже солнце коснулось леса, снег розовел, и такими фантастическими казались тощие длинные немцы в пилотках с наушниками, что диву дашься. И так все было неправдоподобно: у них, на Луговом краю, чужие солдаты в гладких серых шинелях, чужие непонятные крики, мотоциклы с колясками — что же такое им сделал учитель, этот тихоня-заморыш?

Нет, ничего не понимала пятнадцатилетняя Надежда Шершанова. Но не страшилась, во все глаза пялилась, ожидая: «Чегой-то теперь будет?» И силилась понять: за что учителя-то? Что ж он натворил, отлучаясь-то? Мост взорвал? Или немца убил? Но из чего? У него и ружья-то никогда не было! И требовала у матери ответов, а та, прикусив платок, расслезилась, молчала.

«Ну, за что?! За что?!»

«Коммунист он, Надька», — только и ответила.

А потом, когда уже над лесом лежала багровая полоса и за синели сумерки, из Феодосьиной избы вытолкали мелкого учителя со связанными за спиной руками, в посконной рубаше, босого, и трое с офицером погнали его по снегу через луг, к лощине. Там, за белым изгибом, они скрылись, и вскоре раздался, оглушив тишину, одиноконный выстрел, потом опять показались их маленькие головки в мышинных пилотках с наушниками и гладкие длинные шинели. Все четверо смеялись, о чем-то говоря, будто что-то пустяшное совершили, будто и не они убивали. И расселись на мотоциклы, и, не оглядываясь, не желая ничего больше, затарахтели, укатили...

А они думали, раз выстрел одиноконный, то, может, жив учитель, только раненный. Бросились его спасать сразу, как скрылись изверги, но напрасно: весь ему затылок разверзло... В ночь

обмыли страдальца, в чистое обрядили, больше всех, конечно, Феодосья Анисимовна суетилась-охала, а поплакали все, искренне и обильно, над горе-смертью его, над своей горе-жизнью, а под утро, лишь засветилось, вырыли могилу на месте казни, у двух корявых сосен, уложили еловый лапник на дно, чтобы мягко ему спалось в вечном покое, и, обшитого простой белой простынкой, опустили туда, откуда возврата нет. Закидали сухой коричневой глиной, а холмик огородили жердочками. Все совершили вовремя, боялись, что вновь нагрянут супостаты, но те больше не объявлялись.

А через неделю орудийный гул приблизился к Спас-Николину, и драпанули незваные гости без огляду, а Надька с матерью бегали по тропе на шоссе к школе, сожженной теми в злобе; и радовались, и приветствовали родненьких освободителей.

В том же сорок первом, в декабре, после освобождения, вступила Надежда Шершанова в колхозницы и протрубила в полевах да скотницах тридцать лет, пока не надоумилась пристроиться в недалекий дом отдыха, сначала уборщицей, а потом и на чистое место — дежурной. И в долгие пустые сидения на своих круглосуточных дежурствах она поняла, что жизнь пролетела, а ни любви, ни счастья так и не дождалась. Впрочем, как и многие в округе.

Была она, можно сказать, замужем, родила дочь, в бабку превратилась, а все чувствовала себя нерастраченной, вроде бы не начинала еще жить по-настоящему, по-положенному, так, как испокон веку водилось, а не так, как им всем пришлось — второпях, по-временному, без мужиков, без полного дому...

Ее замужество оказалось случайным эпизодом: летом сорок третьего провожалась с Васькой Тухтыхиным, бывшим ее одноклассником, а тогда тоже колхозником, не утерпела, поддалась на уговоры, — а что ж тут особенного? В семнадцать-то лет такое нетерпение распирало, разве сладишь с желанием? Ну, и понесла. Он, правда, честным ухажером оказался, посватался, кое-какую свадьбу сыграли, а в загсе районном их не расписали, возрастом, видите ли, не вышли, подождите, мол, годочек, до восемнадцатилетия. Но как было ждать-то? Осенью его загребли в армию, во-

енком до совершеннолетия ждать не желал и с росписью им не помог, а Васька, и она это предчувствовала, погиб сразу.

И вот осталась Надежда опять Шершановой, будто злой рок преследовал: родилась от Крученых, а нате — Шершанова, замуж вышла — Тухтыхиной стать полагалось, а оно снова — Шершанова. И как-то стыдно было: вроде бы жена погибшего воина, а как оформишь? Хоть и мало что полагалось солдатке, а все преимущества имелись, но ей и этого не досталось. Однако дочь она Тухтыхиной записала, Анной назвала в честь его матери, та, чем могла, поддерживала — продуктом, одежкой. Но разве ей такая поддержка требовалась? Ей женой, бабой быть хотелось! И-ий-ох! Хоть на осине вешайся...

А девка еще в пеленках норов проявила — крикливая, неугомонная: намучились они с матерью. Но подросла и такой независимой, своевольной оказалась, заботы о себе не требовала, все самостоятельно решала, а в общем, неласковая, отстраненная какая-то, во всем сама по себе, о себе только думает. Бабка, так та кручинилась: мол, не случилось в роду такого «чижолого» характера. С этой кручиной и померла.

Нюрка кое-как одолела семилетку и сразу без задержки, без совета пристроилась работать в дом отдыха. Сначала в судомойки, потом в подавальщицы — там и отыскала своего Ключина. Вцепилась в него, как кошка, — не оторвешь, не прогонишь, женила на себе и поселилась в Москве чин чином. Пристроилась к нему на завод работать, но — в столовку: всегда сыты и при деньгах. Ключин, тот тоже хозяйственным оказался, а может, Нюрка переломила, под себя поджала. Какая разница? В общем, не разлей вода сделались.

От Спас-Николина не отвернулись, не возгордились, а наоборот, поместье задумали отгрохать! Построили сзади обветшавшей избы кирпичный дом, прямо впритык, на месте, где всегда скотный двор жался, и такая уродина получилась, что Надежда Илларионовна теперь и в своей избе стыдится жить. Хотя перед кем ныне стыдиться: старики, истинные жители села, давно повымирани, а нынешние — наезжие да родственнички, проживающие в Москве, — такого на подворьях нагородили, что только диву дашься.

А Нюрка вроде как без совести родилась — только о своей выгоде печется, ничего другого не замечает и, бесстыжая, нахрапистая, нахальная, прямо матери заявляет: «Умрешь, и снесем твою развалину. Чего дурью маяться?..»

О всех, кто не по ней, Нюрка отзывалась недобро, и все они, включая и родную мать, — дурью маются. Вот и ораторство матери в праздники Победы на могиле учителя — д у р ь , да еще какая — п о т у с т о р о н н я я !..

А как все произошло?

Когда разрослось движение памяти о войне, пионеры-следопыты принялись обходить избы на Луговом краю, расспрашивать, кто да что помнит об учителе? А никто, кроме нее, ничего не помнил; те, которые знали его и помнили, не дожили до «всенародного движения». Она сначала нехотя кое-что вспомнила, не придавала большого значения этому пионерскому поиску, а глянь-ка, к ней учителя пожаловали, и — на тебе! — не только выспрашивают, но и записывают в тетрадку все подробности «героического подвига Птицына». И обещают еще прийти, и разъяснят, что это «исключительно важно для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения», а у них, видите ли, «под носом такая редкая возможность для наглядного примера» — могила «героически погибшего учителя их школы».

И Надежда Илларионовна взяла в толк, чего от нее добиваются, — того, что Птицын был героем. Сначала ей не по душе это пришлось; сначала она только правду рассказывала, как на самом деле все было, как сама она из окна наблюдала, как хоронили страдальца, таясь и пугаясь, но по обычаю, по чести-совести. И о том, как еще в войну пирамидку из досок соорудили со звездочкой из жести и красной краской покрасили. Как потом, уже после войны, подгнившую дощатую пирамидку кирпичной заменили, оштукатурили и стальную пластину на ней закрепили со словами: «Здесь покоится Птицын Михаил Андреевич, учитель-коммунист, зверски расстрелянный немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 года». Ту, которая и поныне сохранилась, лишь чуть по краям прижавела. Как звезду стальную на пирамидной макушке укрепили, и очень необычную, как бы перекрестили две звезды, отчего они на все четыре стороны ребрят-

ся. Как ограду железную ставили, в голубое окрасили, в небесное, чтобы она среди зеленого луга, как небесная тень, выделялась. И еще о том, что раньше, до особой военной памяти, обновляли могилку перед Седьмым ноября, нашим главным праздником, потому-де, что учитель за Советскую власть жизнь отдал.

Но всей этой правды было мало и учителям, и школьникам, а хотелось им, чтобы Птицын геройский подвиг совершил, чтобы он гневные слова бросал в лицо палачам, чтобы он богатырского роста был, чтобы партизанил, чтобы мосты взрывал и склады с боеприпасами. Чтобы в святой ненависти многих фашистов убивал и чтобы его родные отыскались.

Выяснила Надежда Илларионовна, что ничегошеньки в новой каменной школе, поставленной на месте их бывшей бревенчатой, не сохранилось об учителе Птицыне. Что ж, видно, все сгорело, а его личные документы, похоже, тот офицер с пистолетом забрал, — ни облика, ни возраста, ни происхождения: одна лишь могилка у лощины под соснами на их спас-никольском лугу. И тогда она согласилась, поддалась настойчивым расспросам, будто подсказкам, и принялась изображать Птицына таким, каким им хотелось, — героем, богатырем, мстителем. Будто крикнувшим перед смертью фашистам: «Всех не перестреляете! Все равно победа будет за нами!»

По ее воспоминаниям школьники писали сочинения, а учителя дали однажды почитать. Ох, каких только подвигов не насочинял Птицын! Больше всего потрясло то, что дети считали ее его женой! Это так поразило Надежду Илларионовну, что она даже расплакалась от недоумения и стыда, но учителя ее успокоили, мол, сущие пустяки, непосредственность детского восприятия, а главное — учащиеся вырастают патриотами, преданными Отечеству, готовыми его защищать, как Михаил Андреевич Птицын, замечательный педагог и известный краевед, опубликовавший перед войной в районной газете большую статью о местном крае, о Спас-Николине, которое, представляете, было городом-крепостью Спас-Никольском в княжение самого Ивана Калиты, собирателя русских земель...

Популярность воскресшего из небытия учителя Птицына почти на равных сделала популярной в местной округе и Надеж-

ду Илларионовну Шершанову, которую все чаще стали называть Птицыной — кто оговариваясь, а кто по неведению. Однако не только ученики ее бывшей школы, но и их родители, да и многие другие, что-то слышавшие, нераздельно связали ее с героем-мучеником, расстрелянным фашистами.

Надежда Илларионовна сначала сопротивлялась, пыталась разъяснить, но молва оказалась всесильной, и она смирилась и таким странным образом оказалась, можно сказать, с ним обвенчанной.

Теперь Шершанова постоянно ухаживает за могилой, не дожидаясь очередного сбора перед праздником Победы. Она заметно состарилась, переменилась и в мыслях и душой. Вся эта история сделала ее печальной и скорбной, но и где-то по странному счастливой, будто и в самом деле замужней, прожившей достойную жизнь, а потому уважаемой.

В шкатулку, где хранит документы и сберкнижку на полторы тысячи рублей, припрятала на самое доньшко завещание, заверенное нотариусом, — знает, куда первым делом сунется бесстыжая дочь. Так вот, в этом завещании она отписала все деньги Нюрке, но с одним непременным условием — похоронить ее рядом с учителем М. А. Птицыным.

КОЛЧИН ГОН

Иду в вечерних полях по золотящейся стерне. Медового цвета солнце, подрумяненное, как позднеосеннее яблоко, скатывается за леса, к Оке. Простор вокруг вселенский. На лесном, окском переломе, где затаилась деревенька Лиходворье, прямо-таки ощущается округлость земли. Посеревшее, грифельное небо припустилось, готовясь к ночи. Взглянешь в его холодную, океанскую необъятность и невольно думаешь о себе, как о чем-то совсем ничтожном, — да, как о потерянном крошечном зернышке.

Под ногами — ершистые колоски ржи. Тысячи! Очень небрежно жали в этом унылом, безрадостном году. Понимаю: в давние времена — из-за технического несовершенства, а ныне — из-за подавленности, отчаяния. Угасает колхозная деревня, угасает...

Подбираю несколько колосков, шелушу в ладони. Вот и горсточка зерен — овальные, маленькие. Разжевываю одно из них, обоняю тонкий ржаной запах. Тонкий, ускользящий, как летучая паутинка, блестя парившая в предвечернем солнечном воздухе.

Отчего-то становится горько, обидно — за себя, за нас всех. Догадываюсь отчего: ведь после войны свирепые объездчики безжалостно стегали кнутами за подобранные колоски. В детстве однажды видел, как нищие колхозницы безропотно отдавали мешочки конному обалдую, как их голодные детишки вытягивали из-за пазух колючих ершей и аккуратно складывали в кучку. И были рады, что отпустил, не погнал в район, где могли засудить, отправить в лагерь, — да, «за колоски».

В поселке Тульма как-то рассказывали, что из деревни, виднеющейся в конце полевого простора, из Самойлихи, двух баб все-таки загребли, засудили, и одна из них там, в исправительной зоне за колючей проволокой, умерла.

Смотрю на деревеньку, на тринадцать старых, вросших в землю, сосновых изб, пять из которых слабо курят дымком. Знаю, что в эту зиму остались доживать в Самойлихе пять старух и, наверное, одна из них, а то и две до весны не дотянут.

За деревенькой, за желто-монетным березнячком, над темным хвойным бором разгорается вогнутой линией медово-багровый закат. Картинно, космично и жутковато.

Издалека, с другого конца полей, от Тульмы, слышится легкое тархтенье. И вот из низины показывается мотороллер с почти игрушечным кузовком. За рулем в шлеме, в прямой откинутой посадке, пожалуй, как король на троне, восседает Василий Узков. Не сомневаюсь, что привычно едет в Самойлиху к матери и везет банку парного молока. Василий — плотник, работает на заводике, держит корову, овец. Мы с ним в приятелях, и нередко в свои наезды в Тульму я покупаю у его хозяйки целебное молоко.

Выхожу на проселок, накатанный в этот сухой октябрь до стеклянного блеска, по странному называемый Колчиным гоном. Поджидаю: все-таки одиноко и грустно в замолкших полях... Вот он тормозит — в кузове, в самом деле, в плетеной корзине банка с молоком, устойчиво сжатая крупными подрумяненными яблоками. В шлеме, в плотной суконной куртке, в сапогах, длинный и жилистый, Василий Узков похож на космонавта. Здороваемся по-деревенски за руку и, сняв неудобный, а главное, лишний в полевой безлюдности шлем (и здесь остается законопослушным гражданином!), Василий сразу предлагает угоститься яблочком. Откусываю: крепкое, сочное, морозяще-прохладное, как налетевший сбोक предночной ветерок. Видно, и ему, метавшемуся в полях, захотелось попристутствовать в нашей компании.

Узков крутит козью ножку, разжигает, — затянулся, выдохнул целое облако сизого дыма. Угощает и меня своим самосадом, но отказываюсь: его табачок слишком крепок. Говорим о том, о сем, о закате и погоде, но вскользь, для разгона, а главное, про политику — про расстрел Верховного Совета, про разгон колхозов-совхозов. И соглашаемся, что фермеры не спасут, не накормят Россию, а заокеанские закупки зерна, понятно, разорение... И тут вспоминаю, что давно хотел выяснить, отчего этот полевой проселок, ведущий из Тульмы через Самойлиху в Лиходворье и дальше в Погост на Оке, называется Колчиным гоном?

Узков как-то меркнет, опускается на корточки и молча, сосредоточенно начинает выковыривать корявым пальцем вдавленный в дорогу ржаной колосок. Я — в недоумении. Смотрю пристально в его узкое лицо, отмечаю, что и вытянутый нос как бы узкий, и глаза узко сжаты на переносице, да и плечи у него узкие, и вообще в своей высокой длинноте он какой-то узкий. Удивляюсь: да фамилия-то от наследственного прозвища идет — Узкие!

Эта догадка радует меня, и решаю, что и об этом расспрошу. А он все молчит с опущенной головой, — и такой тоскливый, задумавшийся: сдувает пыль с нескольких зерен, что у него в ковшике ладони.

— Так отчего все-таки Колчин гон? — повторяю.

— Долго объяснять. В другой раз, пожалуй, — говорит он, распрямляясь. И я вижу его увлажненные маленькие глазки, и даже прозрачную слезу, скатившуюся по впалой щеке и затерявшуюся в морщине у рта.

— Неужто что-то особое тронул? — спрашиваю.

— Ну... — И он смотрит на меня немигающе, чуть ли не умоляя, мол, не настаивай. Но я не могу не настаивать, зная по опыту, что «в другой раз» всей искренней правды может и не быть.

— Прошу, Василий, — говорю я.

— Ладно,— соглашается понуро.— Ты вот про колоски... Значит, рассыпаны тысячами под ногами. А знаешь, бывалыча мешок ржи семью спасал. А где его взять? За палочки-трудодни не наработаешь. Вот и приходилось...

— После войны? — уточняю.

— Ага... А объездчиков из Лиходворья нанимали, — разжигается он воспоминаниями. — Разбойная деревня! В старину купцов грабили. Ну, тех, которые в Погост на ярманку наезжали. Там овраг глубокий, у Лиходворья, и осыпь песочная. Завязнут те и к ним за подмогой. А энти только и ждут. Злодеи! Еще и убьют. В Оку спустят: мол, плыви, купчина.

— Ну; это там, в Лиходворье, а здесь? Почему Колчин-то гон?

— А потому, что там все они или Колчины, или Фимины. Тогда объездчиком Зосим Колчин был. Кривой мужик, невидный, но страшно злобный. Мстительный! Впрочем, отъявленный злодей. Затаится в низине, — и Узков показывает в сторону Тульмы, откуда приехал,— и хищно ждет, кто из Самойлихи в поля нырнул. Ну, и галопом летит по проселку, по стерне, чтобы на месте застать, с повинной. И требует, конечно, бутылку ставь — тогда прощу. Спасу от него не было, замучил.

Василий опять крутит свою козью ножку — помрачневший, суровый. Слюнявит газетку, пальцами разминает трлубочку-

кулечек, долго раскуривает, глубоко затягивается и кашляет — глухо, нутром.

— Теперь понятно, — говорю я, решив, что рассказ окончен.

— Да ничего не «понятно»! — вспыхивает, обижается Узков. — Я тебе главного не досказал. Потому что не от этого прозвище-то. Погоди, дай прокашляюсь.

Он долго, натужно кашляет. В глазах слезы. Вытирает их корявыми пальцами, — и кашляет, кашляет, как бы выворачивая из себя, из самого дальнего нутра едкий дым. Наконец успокаивается: дышит тяжело, жадно. Но козью ножку не бросает, наоборот, разжигает по-новому, только затягивается теперь осторожнее, неглубоко. И строг, недоволен сделался — рассержен! Не то на себя, не то на меня за расспросы, а может быть, на воскресшего в памяти злодея Зосима Колчина.

— Ну вот, — наконец произносит он, чуть смягчив выражение рассерженного лица. — Значит, так... Был у меня старший брат Ванечка-немой. Мать при нем забот с нами не знала. Значит, со мной и младшими сестренками. Двое их было. Ванечка, он по дому все делал: и печь растопит, и щи сварит или там картошку, даже постирушку затеет, чтобы матери угодить. В помочь, значит. Отец-то с фронта не возвратился, погиб... Ну вот, а мать в доярках. Известное дело: ни свет ни заря, животина живая, требует...

Вопчем, плохо мы жили, — говорит недовольно, осуждающе. — Можно сказать, голодали. Все детство свое вспоминаю — и только об одном: жрать хочется! Так вот, в тот год, кажется, в сорок шестой, мать отчаялась, все плакала: в доме шаром покати, а впереди зима. Пугала и себя, и нас: мол, в детдомы позабирают. И от отчаяния решила послать Ванечку за колосками. Думала, глупая, убогого Колчин не тронет. Куда там! Злодей — он на всех злодей! Да еще пьяный был.

А Ванечка уже мешочек насобирал, — говорит в унынии, — по проселку шел, как налетает Колчин. Ванечка бежать. Тот за ним, да кнутом, да норовит захлестнуть сбоку, чтобы, значит, свалить. А в кнут у него свинец вплетен. Ну и попал он энтим свинцом Ванечке по глазам. Левый, так тот сразу вытек, — Узков, не

стесняясь, плачет, — а правый сильно повредило. Старухи до сих пор помнят, как Ванечка замычал, — аж в домах поуслыхали...

Узков плачет навзрыд: достал скомканный платок из штанов, промокает глаза. И мне не по себе: в общем, стыдно, будто специально на такое воспоминание навел. Но разве представлял я, какую боль в Василии всколыхну, как страшна память этого Колчина гона? Сочувственно спрашиваю:

— Как же Ванечка-то?

Узков тяжело вздыхает, ладонями сверху вниз трет лицо, как бы сгоняя слезную, не мужскую слабость. Щеки уже сухие, в глазах мстительный блеск, но говорит извинительно:

— Старею вот, слезливым стал... — Продолжает с ласковой воспоминательностью. — Что с Ванечкой-то? А что с ним? Не слышит и почти не видит. И сказать ничего не может. Пошел в метель к колодцу по воду — и заблудился. Рядом с домом, на задах — там и замерз... Но и Колчин, гад, ту зиму не пережил, — говорит жестко, мстительно. — Нашли и его заочеченным. В ельнике, в овраге, где раньше купцов грабили.

Василий молчит, уставился на меня немигающе, как бы вопрошая: мол, догадался?

— Наверное, не простили ему?

— Ага, — подтверждает Узков, но тут же на всякий случай выражает сомнительность. — Хотя и не доказано. Судачили, вроде мужики его сначала придушили. Однако следователь особо не допытывался... Вот так и прозвали Колчиным гонимым, — заключает он, чуть погодя, и натягивает свой неуместный шлем. — Колчин гон да Колчин гон, — повторяет, криво усмехаясь. Стеснительно просит: — Поеду я. Мать, видать, заждалась.

Пожимаем руки, а он, задержав мою в своей узкой, каменно-мозолистой ладони, добавляет:

— А Колчин-то после этого злодеяния больше ни разу у нас не объявился. Нам тогда всей деревней мешков шесть колосков-то насобирали. Да и себя не забыли. Впрочем, Ванечка всех спас, — говорит в благоговении.

Долго смотрю ему вслед. Уже опустился грифельный сумрак. Узков, слившись с тьмой, удаляется белым лучом фары. В живых избах Самойлихи зажглись желтым электричеством оконца. А дальше — за лесами, за Окой — в последней багровости

догорает закат с налетом пепельной серости, — как угли в русской печке.

Иду и я в Тульму. Взошла луна, прорезались звезды. Лунный проселок — Колчин гон — стеклянно поблескивает наезженными колеями. Душу свербит одна лишь мысль: когда же на русской земле радостей будет больше, чем горя?

Господи, когда?

ВО ГЛАСЕ ТРУБНОМ
Цикл московских новелл

СОЛНЦЕВОРОТ

Позвонил неожиданно Виталий Окунев, профессор этнографии. Когда-то в романтические годы, в 60-е, случаем встретились в Африке, и он увлек меня в рискованную поездку на север Танганьики к воинственным, непокорным племенам. Тогда он написал свою первую книгу «Джамбо, уруси» — «Здравствуй, русский». Конечно, по тем временам в духе путешествий знаменитых Ганзелки и Зикмунда. И не менее чем у них увлекательную. В посвящении убежденно вывел: «С тобой не расстанемся никогда».

Все эти три десятилетия звонит обыкновенно мне он. Бывало, и я названивал, но, как правило, наткнулся на вежливо-трафаретное: «А он в экспедиции...» Объявлялся всегда неожиданно и всегда с решительным требованием: приезжай! Вот и на этот раз в завалившем нас мокрым снегом декабре вдруг утром звонок: «Это я, Окунев...»

Голос глуховатый, подавленный, а я-то привык к звонко-бодрому, да еще и с командными интонациями. И обязательно с веселым посмеиванием, с запоминающейся шуткой. А тут мрачно рассказывает, что едва выкарабкался после инфаркта, а с месяц назад в грязном снежном месиве поскользнулся на ледяной корке и сломал в двух местах ногу. Да так, что не срастается, вернее, срастается неправильно, и теперь надо ее искусственно ломать, а вот сердце может не выдержать.

И так же мрачно, без всякой радости сообщает, что все-таки вышла его главная книга — этнографическая монография «Африка». Конечно, смехотворно ничтожным тиражом, потому что в «новой, свободной» России никому стала не нужна ни сама Африка, ни ее этнография. Но мне он обязан ее подарить. Хотя, замечает, основной повод не этот, а совсем другой, — «в общем, приезжай!». И стыдливо, стеснительно просит купить по дороге бутылку водки.

Встречает в халате, на костылях, проводит в кухню. На столе кастрюля с дымящейся картошкой, деревянная расписная подставка с крупно порезанным салом, миска с капустой, поверх которой два соленых огурца. На пустых тарелках большие граненые

стаканы. Опускается на табурет, костыли меж ног, одна в белосером гипсе далеко, безвольно отставлена. Он грузен, седовлас, но лицо молодое, чистое, без всяких морщин. И с вечным румянцем на щеках — никогда не курил. Правда, румянец теперь не багряный, а как бы пожухший, как бы под коричневатой пергаментной пленкой. И прямой взгляд серых, немигающих глаз, обычно лучистый, со смешинками, устало-тоскливый, погасший.

Молча наполняет под самый урез стаканы, молча разглядываем друг друга, не начиная расспросов, подобных таким: «Эка, не виделись-то сколько! И не вспомнишь! А надо бы...» Без слов понимаем нынешнюю пустоту жизни, нашу общую униженность, всю суетливую ничтожность этого смутного времени, навалившегося на нас неведомо как и откуда. Без всяких предисловий он начинает говорить о той, об основной причине:

— Сегодня — двадцать второе декабря, день рождения мамы. Самый короткий день в году. Но с него начинается солнцеворот.

Помолчав, со всей исповедальной искренностью, со всей силой чувств продолжает:

— Чем дальше отхожу от ее смерти — достаточно ранней, безвременной, тем бесконечнее, тем преданнее ее люблю. Ту, военной поры, — юную и красивую. Тогда нераздельно и неразлучно мы принадлежали друг другу. В те трудные, опасные, голодные и холодные годы. Вернее, пожалуй, она принадлежала мне, не желая ничего ничегошеньки для себя.

— Боже мой! — восклицает без улыбки, глухо. — Как нежно, как ревниво я — трех-, четырех-, пятилетний — к ней относился! Я готов был умереть, если бы меня заставили с ней расстаться. И это — чистая правда.

Все ее подруги удивлялись этому, и она вместе с ними, — моей совершенно ненормальной привязанности к ней. Потом, в другой жизни, когда вернулся с фронта отец и я почему-то очень покорно смирился с потерей ее, она изредка вспоминала, пожимая плечами и снова удивляясь: «В войну ни на шаг не отпускал от себя. Я просто измучилась с ним...»

Когда она умирала, я был далеко, все в той же Африке, но сразу, в те же мгновения, почувствовал ее смерть. В тяжелом, кошмарном сне она повторяла мне: «Виталик, как же ты без ме-

ня?» Я примчался, прилетел и рыдал на похоронах так безутешно, так безнадежно, как не рыдал никогда в жизни. И как никогда уже не буду. И мне подтвердили, что, умирая, она только и повторяла: «Виталик... Где Виталик?»

— И это — ее последние слова, — говорит просветленно. — Не вспомнила ни о муже, ни о заласканном младшем брате. Видно, всегда помнила, что так преданно, так нераздельно, как маленький Виталик, ее никогда никто не любил.

Он произносит, опустив голову, пряча глаза, наполнившиеся прозрачной влагой:

— Сегодня она позвала меня к себе.

ПОД ПОЕЗДОМ

Завсегдатай пивной, опустившийся, живет только тем, что поднесут. В благодарность рассказывает всякие были-небылицы. Поэтому и уважают — хотят послушать.

— Раньше, — говорит, — сразу после войны, пивные были повсюду. И в самой Москве, и на любой станции. К примеру, сядишься на пригородный поезд — и, где ни вышел, пожалуйста. Скажем, по моей, по Ленинградской дороге. Еще там даже лучше было. У нас певец пел. Голос такой тонкий, задушевный, как у Козловского.

— Ну, это ты врешь, пожалуй, — сомневаются.

— Вот те крест! — божится. — Сам сколько раз слушал. До слез пробирало. Они вдвоем ездили. Тот певец до революции в Императорском театре пел. А потом что-то вышло, и жизнь его поломалась. В общем, в лагерь загремел. Надолго. Кажется, только после войны и выпустили. Но с большим минусом. Нельзя ни в Москве проживать, ни в других больших городах. Вот он и застрял в Клину. У друга своего.

— И концерты по пивным давал? — спрашивает кто-то, весело гогоча.

— Не знаю, — смиренно отвечает завсегдатай. — Я его только у себя в Жаворонках слушал.

— Ну и что, сцену устраивали? — допытывается самый любопытный и подвигает новую кружку пива, горстку черных сухариков с солью.

— На стол залезал! — опять гогочет развеселившийся.

— Не-е, — говорит завсегдатай, торопливо глотнув пивка, — совсем не так. Вот они входят. Дружок его, так тот — маленький, востроносый и в шапке с опущенными ушами. И худой, как щепка. В овчинном тулупчике. А артист, так он на голову больше и толстый. В общем, тучный и с одышкой. На сердце жаловался. А одет в черное пальто, знаете, с таким бархатным воротничком, и в шляпу. И еще с черной бабочкой на шее. А рубашка, хоть и белая, но, прямо скажу, грязная. И белый шарф так тоже серый. Понятно, без женской заботы жили.

Еще глотнув пивка, продолжает:

— Все кричат: «Козловский приехал!» И ему сразу: мол, пожалте, полстакана водки. Он чинно выпивает, хлебушком занюхивает, зажевывает и без всякой там церемонии тут же начинает петь. Тихонько так, с чувством — «Не тревожь мои печали...». Ох, как же задушевно! Потом еще эту: «Я встретил вас, и все бывшее...» До слез брал. — И замолкает задумчиво.

— А еще что пел? — настаивает тот, который особо любопытствует.

— Не помню. Да у нас он больше двух песен не исполнял. Вернее, они романсами называются. А мало пел, так, говорю же, одышкой страдал.

— Ну, и что дальше?

— А что? Откланивался на все четыре стороны, а с теми, кто угощал, бывало, и облобызается. И уезжали. Правда, рассказывали, — и вспоминатель тихо смеется, — до самого Клина чуть ли не в каждую пивную заглянут.

Замолк, сухарик в пиве размачивает, беззубо грызет.

— Ну, а все же? Какая у него дальнейшая судьба? — настаивает любопытный.

— А какая? — равнодушно отвечает. — Известно какая. Оба погибли. Под поездом.

ОРТОДОКС

Перед Новым годом получил открытку: «Пока я жив, прими мои, пожалуй, последние поздравления...» Позвонил товарищу газетной юности, — и ему совестно: забыли мы нашего Александра Васильевича. А ведь когда-то оберегал нас, радовался нашим несовершенным опусам. И если уж пишет «пожалуй, последние...», то откладывать свидание нельзя.

До сих пор удивляюсь силе духа этого человека. В войну, под Кенигсбергом, практически обезножил: левая нога — протез, правая — перебита, искромсана. А он ходил — и без палки! — почти сорок лет. Пока не настиг другой, необоримый недуг.

Не уверен, что журналистика была его призванием. Статьи, даже передовые, больше напоминали страстные монологи, точнее речи, произносимые с трибун. Его в редакции так и звали — Трибуном. И еще нас удивляло в Александре Васильевиче то, что он никогда не впадал в хандру, уныние, наоборот, всегда оставался улыбчивым, сосредоточенным, открыто-бесстрашным, упрямым в своих убеждениях. Начальство, понятно, недолюбливало его, а нам он был любезен — авторитетный старший друг, с которым на «ты». Правда, иронизировали порой, подтрунивали над его ортодоксальностью.

И вот видим в коляске, нет сил не то что ходить, а и подняться, — измученного, исхудалого, с почерневшим ликом, с покорно-усталым взором. Но все равно затеплилась слабая улыбка, в прищуре глаз вспыхнули огоньки. В кабинете — запах лекарств, сдавленный воздух, в общем, больничная палата. Но на письменном столе аккуратно, как обычно, — стопа газет, книги в закладках, исписанные листы. Он в курсе событий, не сдаётся.

Пьем чай, принесенный «верной подругой» Клавдией Анатольевной, вспоминаем о днях минувших, возмущаемся демократическим беспределом, и наш Трибун, наш Александр Васильевич, собрав остаток сил, не удержался, произнес, быть может, свой последний монолог:

— Какие были времена — советские! державные! Чего бы о них ни писали нынешние гиены пера, да и что бы мы сами в сердцах ни говорили о них гадкого, но тогда у нас была родина.

Великая Родина! А теперь мы — территория. Громадный лакомый пирог для алчного Запала, который, этот презирающий нас старец, хочет рвать на куски, жрать досыта. Может быть, сто, а может быть, и триста лет. А мы: «Нате! Кушайте-с, господа».

Он чуть ли не кричал, — да именно кричал! Его правая рука, как и положено трибуну, взлетала вверх, резко падала, и от этого в другой его руке дрожал тонкий стакан в старинном подстаканнике, а в нем тревожно металась серебряная ложка, позвякивая о края, и казалось, вот-вот на пол посыпятся осколки.

— Саша, угомонись, — очень спокойно, наставительно, будто ребенку, сказала Клавдия Анатольевна и укоризненно покачала головой.

Но он не внял ей, хотя тон сбавил:

— По-другому и думать не хочется! Особенно после той подлянки, которая разразилась среди нас, как чума. Пусть и не всех заразила, но вот верхушку бывшего развитого социализма почти поголовно. И ведь гордятся, подлецы, тем, как ловко перевернулись, перекрасились, предали и с восторгом распродают мать-Родину. Кроме того, падают ниц, особенно перед заживевшим, зазнавшимся дядей Сэмом! Умильно целуют ножки, чтоб убедить в преданности, чтоб, видите ли, допустил к цивилизованному человечеству.

Он вдруг замолчал, как-то сник, погрустнел. Ему, безусловно, надо было передохнуть. Продолжал с горечью:

— Такое уже бывало на Руси. Хотя бы в тринадцатом веке, после татаро-монгольского смерча. Когда спешили, обгоняя друг друга, в Золотую Орду, — унизиться, пасть ниц, лизнуть, но вымолить ясак на разграбление собственного дома, сородичей. Не все, конечно, но очень многие. И опять только верхушка, готовая служить хоть хану, хоть дьяволу, лишь бы властвовать, жировать... А теперь, в конце двадцатого века, с радостью, без огляду, без всяких угрызений совести ринулись на поклон... да, золотому тельцу!

Нет, не представлял я, — он тяжело вздохнул, — как, наверное, и вы, что увижу собственными глазами позор, всеобщее оглупление, паралич воли у целой нации. Но вот увидел и — ужаснулся! Прежде всего, тому, что все натворено собственными руками. Кстати, теми же деятелями, что торчали у власти, — и

ныне торчат! Что захлебывались в славословии самому демократическому и самому справедливому строю в мире — развитому социализму! А теперь они же убеждают нас в значимости рынка, в благородстве накопительства, в неизбежности обнищания, безработицы, разврата, преступности: мол, все ведь естественно при истинной демократии, индивидуальной свободе и частной собственности. И это, мол, самое человеческое, самое-ни-насамое цивилизованное, — как в Америке! И ведь опять ни у кого нет сомнения.

А знаете, кто у меня вызывает особое неприятие? Да нет — гнев! Не догадываетесь? Так вот: среднее звено бюрократии и партийные чинуши. Почему? Они — самый опасный социум. Потому что посредники, компрадоры. То есть — суки продажные! — воскликнул в сердцах. — Эти продадут все и вся. Даже себя в придачу.

И замолчал: в прищуре глаз появилась холодная сталь. Он как бы решал, что нам всем следует делать. Закончил устало, но твердо:

— Скажу так: если эта огромная продажная стая не будет уничтожена... Если не покончить с предательством, с распродажей, то национальная гибель неотвратима.

Именно эта стая, эти шакалы поддерживают враждебные верхи. Через них вживается в Россию Запад. Только через этих паразитов.

В общем, тоскливо, муторно на душе, друзья. И не хочется умирать, чтобы не подумали, что сдался. А сил уже никаких... Никаких, — повторил он, горячечно взглянув на нас.

ЯЙЦЕГОЛОВЫЙ

О, как переменился иностранец в Москве! Нет уже достойных интуристов, которые, бывало, приезжали к нам только ради того, чтобы побывать в Большом театре. Как они элегантно одевались, какую проявляли предупредительность, какое поклонение нашим талантам!

И ныне, конечно, партер заполнен валютным зрителем. Но это уже совершенно другая публика. Не те культурные господа, поклонники Мельпомены, а в основном развязно-чванливые бизнесмены. К ним принадлежит и американец Дэнни Гровс. Он явился в Большой театр, одетый не по классической традиции, а в молодежном стиле рок-концерта — в серебристо-переливчатом пиджаке, сиреневой рубашке с шелковым, витиевато расписанным галстуком и бархатных брюках свекольного цвета. Этому яркому наряду совершенно не соответствовала, даже казалась чужой, его яйцевидная голова, за ушами которой дымился последний редкий пушок. И что еще было странным: его мелкое морщинистое лицо с вислыми щечками и круглыми глазками, застывшими по-совиному, представлялось как бы наклеенным на эту голову-яйцо.

В Америке, между прочим, яйцеголовые, такие, как Дэнни Гровс, считаются самыми умными, эрудитами, можно сказать, эталоном интеллекта. Наверное, потому, что у них самые высокие лбы. Правда, там, у себя в Америке, они обычно занимаются наукой, а Дэнни Гровс в Москве — посредническим и довольно сомнительным бизнесом.

Я познакомился с ним недели за две до встречи в Большом театре, навестив своего сокурсника Анатолия Борисовича С, специалиста по международному праву. В оные застойные времена и в недавние перестроечные он нередко от своего института выезжал за рубеж на симпозиумы и конференции. И затаенно мечтал любой ценой попасть на работу в ЦК КПСС, — и осуществил-таки свою мечту! Правда, незадолго до августовского путча, а потому попал в роковую передрыгу, как кур в ошип, — пришлось отвечать за то, чего не делал, и за тех, к кому не принадлежал, —

за цековскую верхушку. На какое-то время Анатолий Борисович исчез, испарился, где-то затаился, но, когда улеглись демократические страсти-напасти, он, видно, всплакнув и покаявшись, объявился главным управляющим странного департамента по валютной приватизации недвижимости при московской мэрии.

Мне было любопытно его повидать, а он будто ждал моего появления. Прямо скажу, не обнаружил в нем никаких следов потрясения или переживания, наоборот, Анатолий Борисович выглядел довольным собой, уверенным, вальяжным. Исчезли так свойственные ему в прошлом придавленная покорность, непреходящая скука в больших карих глазах, скованность в движениях, осторожность в словах. Он попросту был непохож на себя, совершенно новый человек, даже внешне: отпустил смоляные усы и при небольшой горбинке носа, при глянцево интеллигентском высоколбии, с темным островком от когда-то буйного чуба, превратился наружностью не то в еврея, не то в кавказца. И непонятно, куда делось так настойчиво внушаемое им его московское, даже дворянское происхождение. Впрочем, в Москве большая человеческая мешанина, и Анатолий Борисович, видно, решил подчеркнуть одну из своих кровей. И когда к этому еще добавил вальяжно-циничные манеры, да золотой перстень на правой руке, да снисходительные интонации в голосе, и в самом деле его было трудно узнать — другой!., новый!., господин!

По старому приятельству он не скрывал, что занимает доходное место. Более того, что намерен, как стремился и раньше, пробиться в верхний слой общества и непременно скопить кругленькую сумму, причем держать ее в швейцарском банке.

— И все-таки, — спрашивал я, несколько ошарашенный его откровенностью, — как тебе работается в этой мафиозной атмосфере?

— Почему мафиозной? — пожал он плечами, не возмущаясь. — Любой бизнес рискован и, должен понимать, корыстен.

Вот тут-то и вторгся, перебив только начавшийся разговор, яйцеголовый мистер Гровс. Хозяин кабинета представил меня ему с какой-то ядовитой иронией — «инженером жизнеустройства». Я-то догадался, что он переиначивает знаменитую формулу апостола пролетарской литературы об «инженерах человеческих душ». Но вот мистеру из Нью-Йорка, хоть по виду он и эрудит,

откуда было знать такое? Но эрудит воспринял мое «инженерство» по-своему и определил мои занятия в рамках собственного бизнеса, то есть в том смысле, что я — инженер по сантехнике. Ну что ж, переглянувшись с Анатолием Борисовичем, я не стал его переубеждать и на полном серьезе принялся обсуждать проблемы кухонь, туалетов и ванных комнат. К этой теме мистер Гровс проявил неподдельный интерес. Это естественно: он возглавляет русский офис нью-йоркской фирмы по скупке недвижимости в России и уже приобрел немало жилых помещений в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда он ушел, Анатолий Борисович весело улыбнулся:

— А что, может быть, займешься бизнесом? Встань во главе малого предприятия с двумя-тремя сантехниками и обслуживай Гровса. За доллары! Уверяю тебя, и самая лучшая книга такого дохода не принесет.

— Пожалуй, придется серьезно подумать, — принял я его предложение-издевку. Поинтересовался: — А что из себя представляет этот Дэнни Гровс?

— С виду интеллигентен, — отвечал Анатолий Борисович, — а по сути прохвост! Да просто обыкновенный спекулянт. Но, впрочем, именно такие к нам ныне и лезут.

— С прохвостами иметь дело ненадежно, — заметил я.

— А что ты хочешь? Поверженная Россия — для них тот же Клондайк. Даже еще привлекательней. Войны не надо проигрывать, — нравоучительно, с превосходством выговорил он, будто бы я лично был в этом повинен. — Пораженцев, дорогой, никто не уважает. А в этой стране, то есть в нашей, большинство населения не понимает, что проиграли великую войну, которая длилась более сорока лет.

— Ты имеешь в виду «холодную»?

— Ну а какую же? Думаешь, только американские президенты, Буш с Клинтоном, называют себя победителями в этой войне? Нет, дорогой мой. Они все победители. И эти прохвосты — тоже победители. А потому перед ними все двери открыты. Американцы! И чувствуют они себя здесь Рокфеллерами.

— А чем все-таки спекулирует этот Дэнни Гровс?

— Да всем! Покупает, например, квартиры, а потом втридорога перепродает или сдает внаем крупным компаниям. В общем, делает деньги, что называется, из воздуха.

— Ты его осуждаешь?

— Как тебе сказать? Но почему именно он должен делать деньги из воздуха? Разве мы сами не можем? Э-э да разве тебе непонятно?

Мне было все понятно. И я бы, пожалуй, не стал писать о бывшем ученом и даже партфункционере Анатолии Борисовиче С., ни о нью-йоркском спекулянте мистере Гровсе, если бы то, что случайно подглядел в фойе Большого театра после первого акта балета «Жизель», не потрясло меня. Думаю, за полтора века, что ставится на нашей национальной сцене — здесь, в Москве — этот романтический балет, ничего подобного не бывало.

Дэнни Гровс полусидел на беломраморной балюстраде, раздвинув ноги, и меж его толстых свекольных ляжек терлось тонкое существо в юбочке до... уж и не знаю до чего! Перед спектаклем мне подумалось, что это его дочь, а может быть, и внучка, но теперь я понял, что эта наша школьница — его наложница. Это существо, похихикивая, просовывала свои тоненькие лапки ему под серебристый пиджак и щекотала. Гровс громко хохотал, но чувствовалось — нарочито. Его морщинистая личина, в самом деле будто приклеенная к голове-яйцу, сжималась в смехе, как меха гармошки, а круглые, навывкате, глазки оставались по-совиному внимательны и с холодным презрением следили за публикой. Он желал позволить себе такую забаву — и позволял! И плевать хотел на всех! Мол, смотрите на мою сожительницу. Да, несовершеннолетнюю. Но раз продается, то я покупаю.

Вся эта неприличная сцена многих шокировала. Но никто почему-то не останавливал наглеца. В том числе и я, хотя намеревался. Но, видно, долго соображал, как поступить. Лучше всего, думалось мне, вклеить ему пощечину, устроить скандал. Я ведь для него всего лишь сантехник, а сантехнику драться с руки. Но пока я соображал, он, обняв за тонкие плечи свою пассию, стал спускаться по лестнице в гардероб, и они вместе покинули Большой театр.

На следующий день я позвонил Анатолию Борисовичу и рассказал об этой омерзительной сцене.

— А знаешь, — не удивившись, не возмущаясь, заговорил он, — Гровс был у меня с утра. Кстати, интересовался тобой. Естественно, как сантехником. — Помолчал, ожидая моей реакции. Но розыгрыш кончился, и я безмолвствовал. Он продолжал с ироничным, вальяжным превосходством: — Гровс сказал, что наконец-то посетил Большой театр. Но туда, говорит, надо ходить с подушкой. Потому что ко второму акту засыпаешь. — Анатолий Борисович манерно засмеялся — сквозь нос, показывая тем самым презрение к моим эмоциям и снисходительность к похождениям яйцеголового. — Этот прохвост... хмы, хмы... все же предпочел спать в собственной постели. Так ты говоришь, со школьницей? Хм... Значит, и на ней работает.

— А ты, Анатолий, подлец, — только и сказал я ему.

РЫЖЕНЬКАЯ

Наша милая родственница Светлана Воропаева редко нас навещает. И из-за дальности проживания — в Люберцах, и из-за всецельной поглощенности космической биологией. По этой причине и замуж до сих пор не вышла, хотя и умница, и совестлива, и собой недурна — да просто хороша! Однако вот так.

Нагрянула неожиданно, и вся внутренне взъерошена — рассеянна, взвинчена. Предложил перекусить — отказалась. Ну, может быть, чаю? А Света нервно-шутливо спрашивает:

— А можно кола-као?

— Не понял. Что?

— Как, вы не пьете кола-као? — нарочито удивляется она. — Это же напиток чемпионов! У моей соседки семилетний Кузя по две чашки выдувает.

— Постой, Света, кто такой Кузя? — говорю я, настраиваясь на ее иронию. — Семилетний пес?

— Нет, Кузя — это сын прапорщика, — отвечает она наставительно, — и моей соседки, моей, можно сказать, школьной подружки Нины Новожиловой. Кузьма Владимирович Буряк. В честь деда назвали, старого Буряка из села Самчики. Вы не знаете знаменитого украинского села Самчики? Шо на Житомирщине? — В ее голосе и издевка и надрыв. — Цэ ж усе знают! Ну ладно... Так вот, наш маленький московский Кузя живет по рекламе. Он пьет кола-као, а выйдя из-за стола, широко-широко разводит ручки и восклицает: «Я чемпион! Я стал миллионером — вот повезло!» Они с мамой играют в «Спортлото» и ежедневно пьют кола-као, потому что хотят быть и миллионерами, и чемпионами.

— Постой, Света...

— Нет, нет! Надо жить по рекламе! Обязательно! Возьмите «Час фортуны»: угадай лишь три цифры, как когда-то три карты, и счастье вам на всю жизнь. Четырехкомнатная квартира с «Мерседесом»! Подумать только! Но лучше сыграть в ваучер. Какая-то там тысяча рэ, а повезет — сто миллионов! Представьте: вся ваша квартира набита деньгами.

— Постой, Света...

— Ах, вы не любите рекламу?

— Послушай, а эта Нина Новожилова, — наконец встречаю я, — та рыженькая девочка, вечно шмыгающая длинным носиком? Как хоботок у слоненка, — улыбаюсь. — Твоя вечная подшефная? Двоечница?

— Ну, во-первых, она теперь не рыжая, а огненная, — кажется, немного успокаивается Света. — А это — большая разница. Представьте: такой взбитый огненный шар на голове. Очень даже необычно и привлекательно. Особенно для мужчин. И о носатости как-то сразу забывают. А во-вторых, она давно дама. Кстати, уверенная в себе, хотя еще недавно была совсем незаметной за окошечком сберкассы. Но времена меняются. Вы же понимаете, какая нынче главная профессия? Бухгалтер! А потому такие дамы нарасхват.

Она закуривает, и видеть ее курящей, да еще, ну, что ли, профессионально, мне непривычно — нашу воспитанную милую Свету, отличницу и послушницу, и я глубже понимаю, насколько же она взвинчена и внутренне взъерошена. Пытаюсь сохранить шутливо-ироничный тон:

— А сама-то ты, Света, на свою космическую зарплату живешь по рекламе?

— Мне бы на мою космическую зарплату ноги не протянуть, — отвечает она в той усталой подавленности, за которой — душевный срыв.

— А откуда же такие возможности у Нины Новожиловой? Или, наверное, Нины Буряк?

— Ах, и так и этак, по-всякому можно. Они разводятся, — безразлично говорит она.

— С чего бы это? Из-за рекламы? — опять шучу я, и, конечно, неудачно.

— Да нет, — вздыхает Света и как-то совсем сникает. — Просто он уехал в свои Самчики. Сделался гражданином Украины. Служит в украинской армии. Все очень просто.

— Постой, Света. И не позвал ее с сыном?

— Почему же, позвал. Но не очень настойчиво. Она же москалька.

— Не понимаю. Ничего не понимаю.

— Отчего же? Время великих перемен. Впрочем, и она туда не рвется. Поймите, она же — бухгалтер! Бухгалтер. Богатая

женщина. Всюду нарасхват. — Света нервно смеется. — Недавно и меня убеждала кончить бухгалтерские курсы. Дура ты, Светка, говорит, кому сейчас нужен твой космос? Никому! Кончились ваши времена. Понимаете, кончились... наши... времена, — врас-тяжку, с остановками произносит она.

— Ну что ты в самом деле, — возражаю я.

— А кроме того, Нинка уже живет с любимым мужчиной... — Света делает паузу. Я молчу, вконец ошарашенный поворотами разговора. — Был у нас когда-то первый парень... Девчонки из всех классов были в него влюблены... Оказывается, и она тоже. Теперь он с ней.

Она продолжает в задумчивой откровенности:

— Как и многие люберецкие ребята, он поступил в военное училище. Тогда быть военным считалось почетным. Летчик. Последние годы служил в Прибалтике. Часть расформировали, а их в большинстве выгнали из армии...

— Неужели уволили? — недоуменно уточняю я.

— Не уволили, а именно выгнали! Конечно, пьет. А наша Нинка — тут как тут. Огненный шар! Хочется ей из прапорщиц да в майорши! — Света застывает в мрачной задумчивости. — Что ж... А у него и семейные дела развалились. Ничего удивительно-го: случайно женился, да и плохо жили. Жена там осталась, квартиру приватизировала, а он в Москве оказался бездомным. И, выходит, кроме Нинки, никому не нужен. Майор-изгой... Что ж... Нет великой страны, нет и великой армии. Осталась территория с народонаселением. И каждый выживает, как может. Первые стали последними, и наоборот.

— Его зовут Ростислав? — осторожно спрашиваю я.

— Вы и это помните?!

Как же мне не помнить, когда мы все втайне от нее, от нашей дорогуши Светочки, переживали первую безумную влюбленность в этого самого Ростислава. А она оказалась первой и единственной любовью. Боже, как же ей трудно теперь, нашей космической биологине, думается мне.

— Я ухожу! Не останавливайте меня! — восклицает всполошено Света. Есть в ней что-то от люберов — вызывающее, дерзкое. Она начинает нервически смеяться. Я понимаю, — чтобы не расплакаться. И все восклицает: — Пейте по утрам кола-

као! Играйте в «Спортлото»! В «Час фортуны»! Постарайтесь заработать за ваш ваучер сто миллионов! Тогда все устроится! Прощайте!

ПОЦЕЛУЙ В ПЛЕЧО

Он любитель до всего. И до всех. Всегда желает понравиться, услышать похвалу. Женственная натура! Очень обижается на тех, кто не любит его, и, особенно, если заподозрит, что еще и презирает. Тогда клеветает, жалуется и даже плачет.

Он чиновник. Особый, из свиты. Был доверенным лицом очень больших людей, допущенных к государственным тайнам. Это доверие вызывало в нем постоянный восторг. Он прямо-таки летал, парил по коридорам власти скорой семенящей походочкой, как балерина на сцене, — на носочках. Мелкие, а потому завистливые сослуживцы (по его, конечно, мнению) дали ему кличку — Балерина.

Сходство с балериной увеличивалось еще оттого, что он летал по властным коридорам с поднятыми ручками, в одной из которых двумя пальчиками держал очередную важную бумаженцию, им самим сочиненную, — пусть все, абсолютно все знают, как он усердствует.

Эта привычка осталась в нем и поныне в той общественной организации, куда он попал после падения своего последнего властного суверена. Начальник его с высот пал, можно сказать, в пропасть забвения, а он оказался удачливее — скатился вниз и по инерции взлетел на невысокую, но заметную «горку». И тут, хотя в новой среде такое не принято, остается подобострастно-восторженным, так же летает по скромным коридорам, и вид у него, в самом деле, балерунский: весь вытянут, на носочках, носик в очках задран, а белая бумаженция дрожит в пальчиках, ну, будто крылышко.

И новый начальник его ценит. Не только за аккуратность и всеготовность, но за вечную радостную улыбку, даже в самые тяжкие хмурые дни, за неизменное желание вставить приятную реплику, выразить мгновенное одобрение. И еще за искреннее умение сразу же посопереживать начальническим неудачам, притом как своим собственным. В общем, М. М. — незаменимое существо для больших людей.

Должность, понятно, холуйская. Но ведь и холуйствовать надо уметь! М. М. это виртуозно делает. И мало что больше. Но

местечко занимает хлебное, заметное, да еще и на машине возят — на службу и домой, и по всяким делам, включая, естественно, и личные.

Кроме всего прочего, он любитель выпить. Всегда любил, а сейчас, после падения с высот, особенно. Выпивает крепко, прежде всего, на различных мероприятиях. И становится неприлично навязчивым. Но не разозлишься на него: пьяненький, он обожает не только непосредственного начальника, но и всех присутствующих. И, как говорится, странной любовью: подпорхнет к тому, другому, третьему, обхватит руками — накрепко, цепко, будто спеленает. Чтобы, значит, не отодвинули, а тем более не оттолкнули, и страстно, со слезой умиления шепчет: «Не сопротивляйтесь! Я обязан это сделать». И смачно, восторженно поцелует в плечо.

Долго не мог разгадать я этой его странности, пока наконец не сообразил, что ведь все свои лучшие годы был он в помощниках у двух членов Политбюро. И вот именно так выражал свое верноподданническое чувство — не полезешь же со слюнявым лобызанием к сиятельному лику. А восторженный поцелуй в плечо разве можно не оценить? Обязательно оценят! А потому: не сопротивляйтесь! Он просто обязан это сделать.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Телефонный звонок в шестом часу вечера, в канун западного Рождества. В окнах плотный туман очередной оттепели, густые фиолетовые сумерки. Устало задумался, не зажигая свет. Нехотя снимаю трубку:

— Слушаю вас.

— Ну, скоко стоит-то в день?

— Что? — недоумеваю я.

— Ну, в сутки содержать собаку?

Голос настырный, веселый, молодой, — хамовитый!

— Какую собаку? — отвечаю глухо, мрачно.

— Ну, вот же прочел: гостиница для собак.

— Ну и звони в свою собачью гостиницу, — произношу раздраженно

— А что?! Что?! — несколько стусевался. — Ну и что?!
Ошибочка вышла. А ты, блин, чего хамишь?

Нажимаю рычажки; азбукой Морзе — ту-ту-ту... Думаю: теперь ведь и сам в гостиницу не поселишься — слишком дорого. А вот для новорусских собак, что ж, благодстная жизнь наступила. Цивилизованная. Как в самой Америке.

КОЛЯ-КОТИК

Раз в году Лина Безменова приглашает жену в гости. Обязательно со мной. Как ни стараюсь улизнуть от этого визита, — бесполезно. Он будет отложен на неделю, на месяц, но я обязан сопровождать супругу. Таков церемониал этого дома.

Муж ее, Вениамин, — блеклая тень Лины. Хотя человек он знающий, дипломат, даже кандидат наук, кажется, исторических. Но никогда от него не услышишь вольного слова, собственного мнения, осуждения власть предержащих. В то же время обходителен, внимателен. У меня аллергия к этим визитам. Но такова старая, школьно-институтская, дружба жены с Линой, и мне приходится подчиняться.

Так и на этот раз. Она, Лина Безменова, и ее Вениамин встречали нас как дражайших друзей. И, как всегда, торжественно. Она — в длинном черном платье с красивым жемчужным ожерельем на шее; он — чуть ли не в смокинге, как на дипломатических раутах, а у их ног крутился чистенький белый пудель, радостным лаем возвестивший о нашем появлении.

Пудель меня удивил. Я знал, что Лина не терпит животных, которые могут загадить ее безукоризненную квартирку. Обычно между ними, на шаг сзади, стоял сын Коля-Котик, восторженно сияющий, в накрахмаленной белой рубашечке и черной бабочке, — понятно, будущий дипломат. Как и папа. А теперь вот — пудель...

Вспомнилось, что на этот раз мы у них не были — Боже, как незаметно летит это смутное время! — года три, а то и четыре, и, значит, Коле уже девятнадцать, нет, пожалуй, двадцать, и он давно окончил школу. Жена как-то упоминала, что он учится чуть ли не в Сорбонне.

Но, как бы там ни было, нас опять встречали втроем — Лина Безменова, ее Вениамин и белый пудель по имени Пьер. Это был четвертьвековой супружеский юбилей, и мы были единственными гостями.

Вениамин выглядел все таким же, рано угасшим и поблекшим. Правда, теперь он заметнее облысел и ссутулился. А она, Лина Безменова, вечно молодящаяся брюнетка, сдала сильно,

состарилась по-женски сразу, вся поседела, но белизну волос скрывала в нежно-фиолетовой прическе, которая казалась неестественной и даже театральной. И была необычно тиха, совсем не церемониальна, не высокомерна.

Мы опять сидели за овальным столом, щедро заставленным деликатесами, водкой, коньяком, заграничными бутылками, выпивали из маленьких хрустальных рюмочек, — в основном усердствовал Вениамин, потому что у него, как я давно заметил, это был единственный оправданный случай по-настоящему напиться.

Нам явно недоставало сияющего белозубо Коли-Котика, который всегда развлекал нас разговорами, в меру серьезными, в меру шутливыми, безусловно, заранее продуманными, даже отрепетированными. Недоставало и его искреннего желания угодить старшим — умело открыть бутылку шампанского, щегольски разлить по бокалам или по-официантски вышколено пройтись вокруг стола с хрустальной салатницей, наполненной маминым коронным салатом, учтиво предлагая отведать и не забывая в дальнейшем поинтересоваться, понравился ли? И его мама цвела за столом в нескрываемой горделивости.

Да, не хватало нам Коли-Котика, а мой вопрос, как ему там во Франции, в Сорбонне, получил неожиданно торопливый ответ: «У него все хорошо». И Лина поспешила на кухню, а Вениамин подхватил бутылку коньяка и принялся наполнять рюмки, а себе круто плеснул в бокал, оправдываясь: мол, обязательно надо за него, за Колю, выпить, чтобы было ему в Париже «еще лучше».

Лина вернулась с пуделем на руках, как с ребенком, и все остальное застолье Пьер смиренно был с нами, возлежал у нее на коленях, поглядывая черными пуговками глаз осмысленно и внимательно. Правда, скучал, изредка позевывал, показывая розовый, совсем детский ротик.

Мне казалось, что он все понимает, более того, знает то, что неизвестно нам, и даже готов поведать, если мы сумеем спросить. Недаром французы говорят, что пудели уже не собаки, но пока еще и не человеки. А Пьер, похоже, очень хотел стать человеком, или, наверное, больше того хотела Лина.

Своей покорной воспитанностью, желанием угодить, понравиться пудель Пьер мне напомнил Колю-Котика. И мне поду-

малось, — прямо-таки галлюцинация! — будто какой-то злодей, как в сказке, заколдовал Колю и превратил его в этого бессловесного милого Пьера.

... Когда мы шли к метро, и с темных небес красиво и нежно падал белый пушистый снежок, и я испытывал освобождение от очередного визита в этот благополучный, церемониальный дом, где все мною воспринималось вычурным, нереальным, совсем ненашенским, не российским, жена сказала мне, что в семье Безменовых — трагедия. Вениамин по-тихому, но упорно спивается, — и все из-за Коли. Оказывается, Коля-Котик совсем не учится ни в какой Сорбонне, наоборот, бросил Московский университет, каким-то образом попал в Париж, где устроился приживалом у какой-то русской эмигрантки, девяностолетней старухи, давно неподвижной.

Днем до одури читает ей вслух сентиментальные романы ее далекой молодости и по нужде выносит известный стеклянный сосуд. А по вечерам помогает старику официанту в небольшом, но популярном ресторанчике, благо свободно владеет и французским, и английским языками. В Сорбонне, правда, попытался однажды выклянчить стипендию «на бедность», но не удалось, и он сразу успокоился. Главное, о чем он заботится в Париже, — так это о том, чтобы безукоризненно угождать немощной, но вздорной старухе, кстати, графине, — в трепетной надежде, что в своем завещании она не забудет вознаградить его усердие.

Родителям Коля-Котик пишет, что они совки и ничего не смыслят в жизни. И еще о том, что в «страну совков» он никогда не вернется.

ОГЛАШЕННАЯ

Середина сентября, бабье лето...

Утреннее солнце — застенчивое, ласковое; нетронутая тишина; ослепительная зеркальность Пестовского водохранилища...

Вдали, в стеклянной лазури, по Волго-Балту плывут караваны судов — из глухих северных лесов, из бескрайних южных степей...

Идиллическое великолепие, томительное...

Здесь, в охранной зоне, где накапливается питьевая вода для столицы, существует единственный пансионат — в бывшей барской усадьбе, конечно, модернизированной: в 70-ые годы построили новые корпуса, спортивные площадки; аккуратно выложили бетонными плитами километровую набережную. Но особенно радуют таинственные, поэтичные аллеи старинного парка, в которых постоянно мерещатся призрачные фигуры из девятнадцатого, а то и восемнадцатого веков...

Она приехала дней пять назад. И в первый утренний выход на набережную поразила всех своей аэробикой. Какие только эротические пируэты не выделявала! И при этом стонала: «ааа!..», «ооо!..». Полная несдержанность, абсолютная незаботливость: что хочу, то и творю! И было ей восторженно-радостно исполнять подобные непристойности прилюдно, на глазах у всех: ну и что? а почему нельзя-то?!

Фигурка у нее как у гимнастки, — со всеми выпуклостями и округлостями. Вся она гладкая, как статуэтка, — тщательно выбрито под мышками, выщипаны ненужные волосики в наугленых бровях, глянцево-розовые ногти покрашены кричащим суриком. Только вот маленькое личико — желтовато-пергаментное, в мелких морщинках, измученное, увядшее...

За моим столом сидел врач-психиатр, звали его Глеб Андреевич, — человек обходительный, приятный, но с виду угрюмый. Мы нашли с ним много общего: играли в шахматы, парились в бане, зачем-то собирали грибы и обязательно прогуливались вдоль набережной, беседуя у свежей, бодряще-живительной воды, — и по утрам, при ласковой застенчивости солнца, и вечерами, при фантастически затухающих лимонно-малиновых закатах. Однажды разговорились о ней.

— Эротоманка, — сказал он односложно.

Я попросил разъяснить.

— Хорошо, — согласился Глеб Андреевич. — Для начала нарисую вам темную сторону ее жизни, то есть ночную. Я ведь тоже внимательно к ней приглядываюсь, — признался он. — Но со своей, с профессиональной точки зрения.

— Это тем более интересно, — поощрил его я.

— Так вот, движения ее, безусловно, доказывают, что она давняя и болезненная эротоманка. И ночь одну не проспит, чтобы не вызвать сексуальных фантазий. Попросту — чтобы не совокупляться в своем воображении с тем, кто ей приглянулся. Скажем, с очередной знаменитостью. Ведь все можно позволить себе в тайных мечтах. Не правда ли?

— Честно говоря, — признался я, — засыпаю сразу, как в бездну проваливаюсь. А сны снятся редко, и еще реже могу их вспомнить, забываю буквально через пять минут после пробуждения.

— Это значит, — и он взглянул на меня, улыбнувшись, — что у вас здоровая психика. Что ж, прекрасно! А вот она проводит свои ночи в изощренных фантазиях. Это видно по её изобретательной аэробике. Кстати, для таких, как она, и придуманной. А в общем-то — психопатология, чистейший фрейдизм.

— И она, что, так вот всю жизнь? И, может быть, даже счастлива? — полюбопытствовал я. — У вас, похоже, есть такие пациентки?

— Конечно, есть. Но важнее вопрос о счастье. Скажите: разве можно быть счастливым в имитациях?

— Думаю, что нет.

— Безусловно. Реальность ведь у неё другая. Засыпает и спит она мучительно, постоянно не высыпается. Естественно, — раздражена, капризна, претенциозна. Ей и наяву подавай королей да принцев, только: где ж их взять? На ее долю знаменитостей не хватило, а удовлетворяться своими скромными знакомыми, сослуживцами она уже не хочет. И лечиться не хочет. По врачам-то она ходить любит. Здешний коллега, мой товарищ по институту, сказал, что она жалуется на плохой сон, прочие недомогания, но истинную причину, разумеется, не называет, можно сказать, тайно культивирует свою болезнь, которая, впрочем, для нее и не бо-

лезнь, а сладкая особинка, страсть вожденная. Комплексовать по этому поводу она уже давно перестала; у демократок, — а она, вне сомнений, ярая демократка, — комплексов ведь быть не может, они же — морально раскрепощенные люди, без всяких там нравственных заморочек и ограничений...

Конечно, она очень одинока, — продолжал он, — и живет в вечной зависти, которая мучает ее и в ночных, по сути дела, мстительных и болезненных оргиях.

— Все-таки, в ночных? — уточнил я. — Но отчего же она так открыто, так вызывающе бесстыдно ведет себя здесь и именно по утрам? Будто оглашенная?

— Все очень просто, — отвечивал доктор, — её время.

— Как это? — не понял я. — Почему «её»? Разве оно не наше с вами? Не всех вместе?

— Нет, не наше с вами. В н а ш е время, — подчеркнул он, — людей психически устойчивых, реалистичных, соблюдающих нормы поведения, нравственность, если хотите, Божьи заповеди, всё подобное было недопустимо. А ныне, когда отпустили удила, в так называемую эпоху гласности, безбрежных свобод, при безнаказанной вседозволенности, такие, как она, спешат наконец-то обнажить свою суть, законодательствовать, быть первыми.

Доктор будто бы ставил диагноз.

— Вот потому-то её время и подобных ей, — заключил он. — Действительно, оглашенных!

НАСОВСЕМ

К концу рабочего дня в подземном переходе у станции метро «Коньково», около хлебного магазинчика, ежедневно, кроме суббот и воскресений, появлялась маленькая старушка в круглых очёчках. Она скромно замирала в сторонке, сложив ковшиком сухие руки и потупив голову. Одея была с той тщательной бедностью, которая вызывает куда более щемящую жалость чем нарочито скорбные физиономии или ветхие лохмотья.

Мне она сильно напоминала мою первую учительницу — Анну Васильевну.

Анна Васильевна была такой же — сухонькая, тщательная, в неизменном темном платье с ослепительно белыми сменными воротничками, в пуховом платке, накинутом на зябкие плечи, в круглых очёчках с серебряной оправой, из-за чистейших стекол которых внимательно смотрели всегда горько-печальные глаза — ее муж, тоже учитель, погиб в народном ополчении под Москвой.

Нас у Анны Васильевны было сорок восемь мальчишек (первый класс «Д» в одной из немногих тогда десятилеток в Марьиной Роще), подросших в войну и познавших голод, нищету, смерть — только у троих из нас вернулись с войны отцы. Анна Васильевна смогла убедить нас, б е с п р и з о р н ы х , в необходимости старательно учиться. Она с неизбывным терпением заботилась буквально о каждом, зная о нас все — и хорошее, и дурное. Мы гордились нашей учительницей, любили ее и, если все-таки кто-то огорчал Анну Васильевну, а тем более грубил ей, то мы сами наказывали обидчика...

Всё сходилось во внешнем облике нищенствующей старушки с Анной Васильевной, кроме одного, — она была много моложе. И все же однажды, кладя в ковшик ее рук монетку, я не удержался:

— Простите, вас зовут не Анной Васильевной?

Она подняла ясные, пронзительно синие глаза, и взгляд ее был неожиданно обидчиво-горьким.

— Нет, Натальей Дмитриевной.

— Значит, ошибся, — смущенно сказал я. — Вы мне напомнили мою первую учительницу.

— Сынок, разве ты забыл? — вдруг в упреке всплеснулась Наталья Дмитриевна. — Ведь я всю жизнь в библиотеках проработала! — И продолжала упрекать: — Ты вот все кладешь и кладешь мне денежки, а лучше бы взял меня к себе. Насовсем! Возьми, пожалуйста!

Я опешил, еще сильнее смутился и невпопад забормотал:

— Как это? Ну, «насовсем»? Мамаша, но я... ну, я же не ваш сын.

Она тяжело, тоненько вздохнула:

— Зачем так говоришь! Я всё жду тебя, сынок, после работы. Всё жду... Каждый день!

Она беззвучно заплакала, и слезинки, одна за другой, срывались на потертый воротник выцветшего пальто.

Больше я её никогда не видел — ни у хлебного магазинчика, ни вообще в переходе метро «Коньково». Она исчезла. Насовсем. И мне порой тоскливо думается — моя ведь вина.

1992-1993

ВОЛЧЬИ СУМЕРКИ
повесть

Прозвище у Павлуши Дудахина было чудное: Мимишка. А случилось это давно — вскоре после войны, году в сорок восьмом. Цыгане из Лихоборья на Троицу устраивали по деревням представления — с гаданиями и плясками. На цепи водили ученого медведя, который мог ходить вниз головой, кувыркаться и важно восседать, изображая из себя рычащего вельможу.

Появились они и в Тульме, на Нагорной улице, и, привязав медведя к надолбу прямо против вдовьей избы Марьи Дудахиной, рассыпались по дворам сзывать на веселье-праздник, заодно и приворовывая — что ни попадя.

Четырехлетний Павлуша вослед за старшими сестрами стремглав выскочил за глухие ворота на улицу с куском мучника и тут же обомлел. «Ми... ми... — заикаясь, неверяще залепетал он, — ми-миска зывой!» И без страха, обреченным лунатиком, все повторяя «ми-миска», затопал на тоненьких, рахитичных ножках, протягивая пирог растянувшемуся в теплой пыли зверю. Сестры в предчувствии жути замерли, и только самая старшая, одиннадцатилетняя Зинка, в последнем отчаянии визжала: «Стой! Отяпышей надаю!»

Но Павлуша не послушался ее. «Н-на, н-на, ми-миска», — ласкательно произносил несмышлениш, и грозный зверь, настоженно поводя черным глазом, неспешно приподнялся на когтистые лапы, раскрыл червленую пасть с желтыми клыками и сонно зевнул. Раз, другой, а на третий зевок бесстрашный малыш — мальчик-с-пальчик рядом с грязно-лохматой горой — сунул ему в обширную пасть лакомый кусок. Медведь мгновенно сглотнул его, облизался и, помотав головой, отчего цепь зазвенела, вновь улегся додремывать, — и не возражал против того, чтобы этот неказистый человечек в черных сатиновых трусах и застиранной рубашонке гладил его по голове, сколько вздумается.

Это была первая и последняя встреча с медведями в жизни Павлуши Дудахина. Но с той поры, вторя сестрам, все в Тульме стали прозывать его Мимишкой. И до сих пор многие убеждены, что и имя у него Мишка, Михаил. Ну, а Мимишка, мол, оттого, что уж больно он щуплый, маленький, к тому же со странностями.

Он, действительно, к пятидесяти годам, когда я с ним познакомился, по фигуре и росту напоминал четырнадцатилетнего отрока. Только лицо поиссекли морщинки, да натруженные руки — темные, с задубленными ногтями — не выглядели беспечно-детскими. А так, среди мужиков казался пацаном.

Неизбывная детскость, однако, всегда светилась в удивительно синих, как апрельские небеса, глазах — чистотой и мечтательностью, звучала в его смешных речах, зачастую фантастических, нереальных.

О том, например, как рейсовый автобус перепрыгнул пьяных мужиков, загородивших дорогу. Или о старушке, которая выручила самого президента, а в награду, бесстыжая, заставила его штаны снять. Да, да! Он любил несусветное придумывать, одним словом — заливать. Но что поделаешь? Мимишка!

Странностей за ним водилось немало. Но не враждебных, а наоборот — веселых, удивляющих. Он привлекал непосредственностью, неожиданностями. Часто спрашивали: чего там еще Мимишка учудил? Или — сочинил?

Но всё это началось после того, как с ним самим случилось несчастье. А до этой трагедии, хоть и был он чрезмерно маленьким даже среди сверстников, вечно последним в школьной шеренге, однако развивался и взрослел, не отставая ни от кого, наоборот, опережая многих, так как ко всему проявлял интерес, желание понять, но что важнее — прилежание.

Ни сестрам — всем трем, ни матери он не доставлял никаких хлопот, рос, вернее, не рос, о чем, конечно, они сильно печалились, и потому лучше сказать — жил и учился, шалил и увлекался, как и все остальные тульменские пацаны. После семилетки вместе с ними отправился в Елатьму, в сельхозучилище, где его, как самого маленького и слабосильного, определили в «кнопочную группу» — операторов котельных. С таким дипломом он и поступил на Тульменский чугунно-механический заводик — допотопный, с восемнадцатого века, со времен знаменитых заводчиков Баташовых, после революции громко названный — «Коммунистические зори».

Он проработал ровно три года — аккуратно, без каких-либо замечаний, когда настал срок призываться в армию. Служить ему выпало в знойной Астрахани, и впоследствии он вспоминал, как

долюби там объедался приторными, сочными арбузами. И обязательно в восторге пояснял: «Вот вдругорядь самолично сповадуюсь. Сколочу скобами бревна и понесусь по течению — вниз по Оке-реке и по Волге-матушке. Ведь река наша, Ока-то, в Волгу впадает, а Волга-то до самой Астрахани течет. Ага! А я буду на бревнышках посиживать да большими городами любоваться. А сплот-то мой все плывет, плывет — без всякого лихого паруса. Во!»

II

Мимишка вернулся из армии возмужалым, многое познав и прочувствовав, в том числе и томительно-запретное: вольные девицы солдатиков привечали, не брезговали и Мимишкой... Кстати, только в те армейские годы, в Астрахани, именовали его Павлом, Пашкой или просто Дудахиным.

Так вот, объявившись в Тульме после армии, гордый и важный, Павлуша Дудахин буквально при первых же встречах вновь обрел свое прозвище — Мимишка. Эта уничижительность так сильно задела и обидела бравого солдата, что в торжественное застолье своей старшей сестре Зинаиде, от которой и шло обидное прозвище, он учинил громкий скандал. Однако ничего не изменилось.

Вскоре Мимишка решил жениться. Еще до армии приглядел он для себя соответствующую пичужку — из дальней, заозерной деревни Прыгово. И по судьбе-рождению, и по мечтательному характеру была она с ним схожа. Отец ее — точь-в-точь, как у него — нежданно-негаданно явился с фронта на короткую побывку после тяжелого ранения, ну, и дал ей жизнь. Зачать-то зачал, да увидеть не пришлось: похоронку еще до ее появления на свет почтальонша доставила.

Ее Александрой мать окрестила, в честь мужа незабвенного, ну, а его, долгожданного сынка, тоже по отцу мать нарекла — Павлушей — Пал Палычем Дудахиным.

У них справно все ладилось и, наверное, жили бы они, любя друг друга, если бы судьба-злодейка не переиначила. Ох, как чуяла мать недоброе, когда он в Прыгово, на ночь глядя, собрался.

В то предновогодье морозы стояли палящие. А в Прыгово

мимо Волчьего урочища надо ехать, и слух был тревожный, что клыкастые стаей бродят. Никто еще не забыл, как там перед самой войной молодую учительницу загрызли — и не в сумерки, не в ночи, а днем ясным. Ох, как отговаривала сынка Марья Андреевна — на коленях даже умоляла! Но нет, уперся — и ни в какую!

А отчего так? Да праздник был — выборный, в Советы. И снаряжался туда, в Прыгово, комсомольский вожак Василий Юсов — за урной с бюллетенями единогласными. Там и повеселиться, заночевать собрались.

Ну и покатили! Вдвоем — оно сподручней, оно и не страшно. Дорога за Волчьим урочищем — сквозь чащобы темные, по озерному крутояру. Уже и к Прыгову подъезжали, к мосту через Выгжу, как увидели — мерцают впереди алчущие зенки. Лошадь зафыркала, тормозит. Что делать-то? Назад не повернешь — еще хуже: догонят в чащобах, там их власть. И-эх, была не была, гони, Васька, напропалую! Ну и пошел Юсов стегать родимую. Та обезумела, понеслась, не чуя себя, — как вихрь! И на колдобине, или бревне поперечном, сани так взлетели, будто самолет, и легонький Павлуша Дудахин, Мимишка, не удержался, выше саней спланировал и без всякого парашюта плюхнулся на обочину и кубарем покатился по крутому озерному откосу.

Нет, не разбился, даже не ударился особо. Сразу же — солдатски! — сообразил, как ему спастись, как бежать через озеро в Прыгово, где светились огнями крайние избы. И было побежал, да снегов по пояс навалило — куда тут! А Васька уже по мосту мчится, и стая за ним. Тут он смекнул, что чадо не бежать, а красться, ползком ползти, как бы тоннель в снегу проделывая, чтобы не заметили его клыкастые. Уже до середины дополз, как почувствовал, что пора оглянуться, и обомлел: по откосу, по следам его, к тоннелю скатывался огромный волчище. В стылое полнолуние на озерном просторе все, как днем, различимо было. Как уж дальше бежал — не помнит, только волк его быстро настиг. Когда же зверюга сиганул, чтобы в шею ему вцепиться, он сообразил упасть, и тот лохматым снарядом пролетел мимо, мордой в снег зарылся. Павлуша было обратно побежал, да толку-то, толку?! Ни топора, ни палки, даже ножичка перочинного — ничего! Обернулся: волчище выкарабкивался из снежного обвала, отряхивался, взъерошив шерсть, — и все неторопливо, уверенно. Усев-

шись на пышный хвост, вытянул морду к ледяной, в дымно-порошистом обводе, луне и трубно призывно завыл: «ууу... ууу...»

Стаю сзывает, понял Мимишка и окончательно пал духом. Он уже воображал, как летят-мчатся, опережая друг друга, волки, как разорвут в клочья его тулупчик, а затем и его самого сожрут — все мясо его живое и даже косточки перемелят. Ничего не останется от него, ничего... Совсем нечего будет и в гроб положить...

«Ах, как права была маманя! Зачем отпустила меня. Зачем сам-то ее не послушался? Ах, дурак, дурак!..» — и заплакал горько-пригорько, без всякой надежды на спасение.

Чуть опомнившись, сердито выругался: «Ух, гад поганый! Погодь, отмстят тебе!» И удивился, почувствовав, что матерый волчище все понимает: и то, что творится у него на душе, и то, чем грозит он ему. От этого еще страшнее Мимишке сделалось.

Волк сидел застыло, скалил фарфоровые зубы и наслаждался трусостью человеческой — и никакого шанса не давал этому ничтожному существу! Размером хоть и с него, но по силе несравнимого — с ним, клыкастым и быстрым.

Мимишка тоже понимал, о чем думает волк: мол, подрожи от страха. Мол, никуда не денешься. Мол, ты — моя законная добыча. И тогда, разозлившись до безрассудного гнева, когда ничто ни почем, он вскочил и ринулся на хищника — со сжатыми кулаками, грозно командуя: «Пшёл! Пшёл!» Удивленный волк предупреждающе зарычал, нехотя поднимаясь, — и мгновенным рывком поймал в пасть Мимишкин кулачок в варежке и так сдавил, что хрустнули пальцы, а клыки насквозь пронзили ладонь. Боль была нестерпимой, от головы до пят, и Мимишка потерял сознание. Потерял, наверное, не сознание, а память. Потому что и в беспамятстве сознавал, что вот оно и началось — поедание его... Еще долго потом, придя именно в память, никак не мог избавиться от сознания, что он не съеден. Что он — не призрак, присутствующий среди людей, а живой, во плоти... Но почему же, думал он, вот ведь и видит, и слышит, а сказать ничего не может. Значит, теперь он и есть призрак. То есть никто.

Да, страшное с ним случилось: от испуга исказилось, перевернулось, сломалось сознание, и он потерял дар речи. Тут и на-

чались его странности, от которых он никогда уже не избавился.

Впрочем, странности ли?.. Но нет, не стану размышлять обо всем этом — ирреальном, запредельном, лучше поведаю, как все же спасли несчастного Мимишку.

Первенство тут принадлежит его другу — приятелю Василию Юсову. В те времена, между прочим, чувство товарищества было в великой чести. По крайней мере, комсомольские вожаки, такие как Юсов, не только произносили пылкие речи, но часто и соответствовали своим убеждениям.

В общем, Юсов сообразил заманить волчью стаю в Прыгово, — чтобы лай собачий поднялся, чтобы мужики, которые потрезвее да посмекалистее, с ружьями повыскакивали. Так и вышло: разгоряченная погоней стая, окружив со всех сторон и лошадь, и сани, не заметила, как влетела в деревню. Опомнились волки только тогда, когда пальба началась, и пару из них, из тех, которые забежали вперед, чтобы лошади в горло вцепиться, так этих тут же и уложили. А Василий орет: «Дудахин свалился! Спасайте!» Ну мужики и побежали к озеру, паля по стае из ружей. Осмелели и собаки: исходя злобой, всю гнались за своими извечными обидчиками.

Юсов опять же сообразил: конягу из саней выпряг, да кто-то успел смоляной факел запалить, так с этим факелом он и помчался вдогонку за стаей, всех опережая. Тут уже и вся деревня, и стар и мал, бежали к озеру, чтобы оберечь человека от волчьей напасти. И конечно, среди них была Шурочка Мокшина, невеста Мимишкина.

Вот так его и спасли. Тот одинокий волчище, что хотел загрызть Павлушу Дудахина вслед за стаей утек. От трусости смертельной оставил в снежной траншее жижицу пометную, но беспамятного Мимишку не тронул.

Самое печальное произошло позже: Мимишка не только дара речи лишился, но перестал многих узнавать, среди них свою возлюбленную пичужку, свою дролю — Александру, Шурочку Мокшину. Будто и не знал ее никогда, не женился. Будто и свадьбу не намечали. А она готова была держать свое слово, обихаживать его, потому что верила — выздоровеет он, войдет в память, еще лучше прежнего все у них сложится.

Но смеялись над ней, а мать родная настаивала: забудь! Не

переменишь его, внушала, а обрекать себя на всю жизнь в заботницы, без счастья бабьего — не дам согласия, а без благословения материнского ничего не склеится. И такая назола, такая тоска полонила душу неудачливой Мимишкиной дроли, что в одночасье решила она бежать подальше от дома родного. Завербовалась на Камчатку — рыбу разделявать, там и погибла — «при невыясненных обстоятельствах». Родная мать о ее смерти узнала лишь год спустя.

III

Однажды на первое зазимье, на Покров, отправилась Марья Андреевна Дудахина в Городец Мещерский на ярмарку. Взяла, конечно, с собой и сына своего безъязыкого, Мимишку.

Давно уже они неразлучны стали: дочери, одна за другой, замуж повыходили — две младшие, как уехали в Рязань учиться, так там и остались, а старшая Зинаида собственным домом обосновалась. Они с ней редко общались: уж очень властная, зазнаистая выросла. К тому же стеснялась придурковатого братца, как теперь обзывала Мимишку. Ну, Бог с ней, родительский крест ей, Марье Андреевне, нести. Он, хоть и печалил, но не тяжелил ее жизнь.

Но как ни попрывыкла она к его немоте, однако мучила вина: не всё она для него сделала... От этого застыло на ее морщинистом личике выражение неотступной кручины. Да и мысли больше тоскливые: вот умрет она, а что же с ним? Но главное — и это тайное беспокойство ее особо изводило, как же она отчитается перед своим строгим мужем там, у престола Господнего?

В загробную небесную встречу с ним Марья Дудахина верила безсомнительно. Грехов непрощаемых за собой не чувствовала, а все мелкие в церкви отмаливала. Ну а им, святым воинам, также безсомнительно верила она, Господь сразу всё отпустил. Значит, встреча неминуема. Да вот только одного не представляла, как объяснить сумеет: отчего же не уберегла радость-то их последнюю, сына единственного?..

Городецкий рынок возвышается на соборном крутояре прямо перед тусклым серебром Оки — залюбуешься! Будто полземли с высоты этой открывается! Вон луга заречные в росе изумрудной,

с древними дубами, с дымчатыми, кудрявыми ветлами; с вольными полуденными ветрами, щедро разносящими во все поднебесье дурманящие запахи разнотравья... Вон мост высоченный, бетонно-стальной — на тонких сваях, и видится он исполинским журавлем, взмахнувшим гигантскими крылами во всю ширину величавой Оки... А там, по течению, на далеком повороте в синей дымке сказочный остров, вокруг которого точечками рыбацкие суденышки... Не захочешь, а остановишься, ополонишь свои заботы. Ведь красота, восхищение!

Любила Марья Андреевна задерживаться на спуске, чуть в стороне от шумливой рыночной суеты, у церкви Успения Божией Матери, молитву пошептать, украдно перекреститься с поклоном. Знала, хоть и порушена, заколочена церковь, однако Ангел Господен не покидает ее. Значит, увидит, услышит и, коли заслужила, подействует ей.

На этот раз просьба у нее, как сама, каюсь, считала, кощунственной была: просила она, если можно, свести ее с Ромэлой, гадалкой и целительницей цыганской. Марья знала, что строгий тульменский батюшка отец Александр, если прознает про это, то непременно отчитает ее, да, поди, и из церкви прогонит. Но тут она хитрила перед ангелом, заступничества искала у самой Пресвятой Богородицы. Впрочем, какая это хитрость? Забота у нее одна лишь была — о сыне единокровном, который от немоты да одиночества с ума сдвигается. Разве это не великий грех? Еще и какой!

«В прошлом годе, — жаловалась она Царице Небесной, — как морозцы ударили, по хрупкому льду, который, прозрачным стеклом озеро стянул, ползал аж до середины. Не понимал про гибель свою. Боюсь, что и ноне поползет, ага... А народу-то, народу-то тогда собралось на плотине, чуть ли не весь поселок, — шептала Марья. — Наблюдали, как тонуть и гибнуть сын-то мой будет. Правдять, и лодку приготовили, и досок на спасение, но кому заранее рисковать-то охотца? Значит, меня скликали. Потому что только мне подчиняется, а так злится на толпу, которая над ним надсмехается. Не видит, не слышит ее — такой вот упрямец поделался.

Так, зачем же ты энто? — дома спрашивала. А он: «По окошку-стеклышку лазил, — написал на бумажке, — в подводное цар-

ство заглядывал». Ну, чаво с него взять? Хуже дитя, а ему ужеть тридцать один годок миновал. Хучь тридцать отымай и один оставляй. Всё, как годовалый, мычит да ползает. Тут мне в ночесь, Матерь Божья, — докладывала старуха, — Ромэла-цыганка привиделась. «Чего, говорит, забыла меня, Марья?» Знаю, что сила в ней есть, да боюсь её. Боюсь, что плохое предскажет, как тогда, с мужем моим.

Так чаво ж мне исделать? Ведь за сына страшусь: в дурочка полного обратится, в юродивого. Так, как быть мне, Царица Небесная, искать ли на ярманке Ромэлу?»

А чего ее искать? Она тут как тут, будто по заказу, или по направлению ангела, или по повелению Царицы Небесной на телеге подъехала — в окружении цветастых цыганочек. Те — веселились, смеялись. А впереди уродец устроился — в бараньей шубке шерстью вверх, в лисьей шапке с хвостом на спине. Словно собственной персоной леший пожаловал. Сама же Ромэла в середине восседала, по-индусски скрестив ноги и трубочку посасывала, а дымок змейкой вился.

Лицо у Ромэлы пухлое, неподвижное и такое смуглое, будто шоколадное. Глаза навывкат, круглые — как у жабы. Она — в платке траурном с желтыми розами, в темно-зеленом бархатном салопе: ну, в самом деле жаба!

Марья, так та со страху замерла, а Мимишка с превеликим любопытством на цыганочек уставился. И стояли они, мать с сыном, как сестра с братцем, одинаково щуплые, маленькие, только она празднично принаряженная — в плисовый жакет да пуховой платок, да блёсткие резиновые сапожки. А он небрежительно: как был на улице, так и на ярмарку отправился — упрямый стал, не слушается мать, — в замызганной телогрейке, подпоясанной веревкой, в грязных кирзачах, да в старой армейской ушанке с вислыми отворотами, как уши заичьи. Но лица у них, у матери с сыном, непорочно-чистые, ну, одно к одному, а во взоре такая синева, словно небо весеннее или вода родниковая.

«Тпр-рру!» — скомандовала Ромэла. Цыганочки удивленные тут же оборвали смех-веселье и жадненько принялись приглядываться. Ромэла долго молчала, оперев черные сливы на Марью с Мимишкой, и на опухлых шоколадных щеках усмешка блуждала. Наконец произнесла, попыхивая трубочкой:

— Ну, чего ж не идешь ко мне, Марья? Я твою беду знаю.

— Ага, Ромэла, значит, все ведаешь?

— Ромэла о всех все ведает. Этот, что ли, молчун? — кивнула на Мимишку.

— Ага, он самый, — подтвердила растерянная Марья. — А надясь ты мне во сне привиделась...

— Знаю, Марья, все знаю. Потом расскажешь,— повелительно оборвала та. — Завтра приходи одна. Захвати гребень костяной. Ну, банку козьего молока. И денег десять рублей. Не пожалей! Научу, что делать. Еще на свадьбу пригласишь. Вон у меня невест сколько! — И в смехе тяжело заколыхалось ее большое, жабье тело. — Еще породнимся с тобой!

— Обязательно приду, Ромэла, обязательно, — пообещала Марья Андреевна и, забывшись, крест на себя наложила.

А Ромэла ткнула трубочкой в спину лохматого уродца, и тот вскочил на кривые, короткие ножки, вожжами над лисьей головой закрутил, тоненько взвизгнул: «Нн-ноо! Пащцла!»

IV

Марья Дудахина шла в Лихоборье, которое в войну наполовину оцыганилось. Из Молдавии прискакал-притащился большой цыганский табор — спастись в лесах мещерских. Бароном был муж Ромэлы. Ох, какая неукротимая, какая знойная была она в ту пору! К тому же красавица, вещунья. Но старость никого не щадит. Ее барон, как жизнь наладилась, взял себе молодую жену и увел табор обратно в Молдавию. Но гордая Ромэла отказалась быть при нем прислугой и осталась на новой родине.

Шла Марья полями, по Колчину гону, и вспоминала, как в войну, вослед за другими -многими, бегала к ней, к Ромэле, на мужа своего гадать: живой аль убиенный! По фотокарточке гадала Ромэла, по руке, карты раскладывала, и ей, будто в кино, всё открывалось — в точности предсказывала!

Вот и ей напорочествовала: «Жди, скоро заявится — из дома больничного, в страданиях и ранах. Сынка тебе оставит. Долгожданного. Да только лучше, тебе не рожать его». — «Отчего же так-то?» — заволновалась Марья. «А оттого, — пояснила вещунья и на карты указала, — что исчезает король твой». —

«Как же быть-то? Пособи!» — «Сама думай, если вдовой не желаешь остаться», — вздохнула все ведающая Ромэла.

«В точности предсказала», — подумала и теперь Марья, вышагивая в нелюбезное ей Лихоборье. Больше чем полжизни туда не навевывалась. А тогда, в сорок третьем, ей ведь, как и сынку нынче, тридцать миновало. В самом соку была...

Ну вот, вернулась от Ромэлы, а три ее девки гвалт несусветный устроили: «Пляши, маманя! Пляши! Треугольник от папани доставили!» Ну, сплясала, принялась по слогам читать — и в точности: в госпитале он, поправляется, скоро на побывку прибьет. «Ай да цыганка! Ай да Ромэла!»

Павлу Аристарховичу она тогда всё словечко в словечко выложила, что Ромэла нарекла. А он, нехристь большевицкий, только посмеялся: «Врет твоя цыганка!» Марья заупрямилась, подбивала его: «Ты, Павлуша, дрова вроде с пьяну поколи, да и жикни себе пару пальцев...» Потому, мол, что хватит, навоевал, другие пушай повоюют... А он на нее матом да с кулаками: «Под трибунал подвести хочешь?!» Так и расстались в сердитости, а ведь всегда ласковые друг к дружке были.

«Ну и чаво ж? — думала теперь Марья Андреевна. — В январе свиделись, а в мае похоронку приволокли. Но от греха великого Господь отвел».

Старуха остановилась и покрестилась с поклоном низкому, блестя-яркому солнцу. «Хоть оно и холодное, — подумала оправдательно, — пушай не греет, пушай все силы поистратило, как и я сама, а все-таки солнышко...»

Как раз огибала она Раменье, глухую рощу вдоль длиннющего оврага, где на лысой окраине таилось заброшенное Холерное кладбище. Там лет пятнадцать назад старичка-монаха и шесть монахинь схоронили, будто и они зачумленными были. Перекрестилась и в ту сторону Марья и решила на березовой опушке передохнуть.

Тут, можно сказать, с первобытных времен лежала дубовая колода. Кто только не подпаливал ее, ан нет, как каменная, — не горит! Правда, поверье есть: леший, который в Раменье живет, огонь гасит. А сама опушка зовется Седалищем лешего. Многие утверждают, что не раз самого видывали — особенно по глухой осенней поре, как нынешняя. Только не испугалась Марья Дуда-

хина встречи с лохматым бесенком, не подумала даже об этом, занятая своей неотвязной кручиной...

Ромэла встретила ее насупленно, в баню повела, чтобы не мешал никто. «Гребень давай», — приказала строго, свечку зажгла, поводила зубцы над пламенем: они принялись корежиться в разные стороны, сцепляться. Долго разглядывала Ромэла уродливый гребень, будто разгадывала головоломку. Не скрывала: не нравится ей, как гребень изуродовался. Достала из железной коробки волчий клык, наказала: дашь ему, когда пойдет туда, куда пошлю. Понедовольничала на Марью:

— Что ж, девка, у тебя все мысли враскоряку, да еще и змейками сплетаются?

— Дак откель мне знать, Ромэла?

— Откель, откель? — передразнила та. — Оттуль и знай. Опричь неоткуда. Поняла?

— Так откель усе же? — спрашивала растерянная, поглупевшая Марья.

— Ну так вот и слушай внимательно, запоминай...

Что же наказала Ромэла?

Через день, на Ерофея, отправятся они на закате с сыном как бы в Лихоборье. Но на Росстани, где Городецкий большак с Колчиным гоном пересекаются, у покляпой березы разойдутся. Его, сынка своего, она, Марья, пошлет к Седалищу лешего, чтобы сел и дожидался первой звезды, которая над луной четвертью зажжется. И внушить должна ему, чтобы не отвлекался, потому что излечение оттого и зависит, увидит ли он, как звезда возгорится.

Потом же, говорила, должен он сосчитать до тысячи и трижды дубовую колоду обежать, после чего вырыть ямку и закопать туда волчий зуб и гребень юродливый, и уж только тогда на встречу к ней устремиться.

— Запомнила? — строго спрашивала.

— Как же, как же, Ромэла, — волнуясь, отвечала Марья. — Значица, семнадцатого иттить?

— Именно семнадцатого, на Ерофея. — И добавила раздумчиво-строго: — Ежели преуспеете с ним, с молчуном твоим, заговорит он, то проживешь еще семнадцать лет. Ну, а ежели нет, то с мужем в сам-деле скоро свидишься.

Мимишка сидел на дубовой колоде, на Седалище лешего, — на корточках, как птица, и несмотря на такое положение, сквозь порты проникал ледящий холод. Морозно сделалось на багряном закате.

Ему не нравилась маманина затея. Не верил он — ни во что! Но уж раз пообещался, то по часам докажет, что углядел, когда первая звезда возгорелась.

Удивительно ему было, как это можно в такой чуши увериться. «Звезда зажжется, и он, нате, заговорит. Фиг вам!» — разговаривал сам с собой.

Страху не испытывал: знал, что по этой поре волки не людоедствуют: вообще, в логовах пока отлеживаются. Ну а мелкого беса, этого самого лешего, он ни во что не ставил. Слышал, конечно, что может защекотать. Да только кто ему дастся? А ежели что, так, вона, меньше километра до Росстани, где мать у покляпой березы схоронилась, — добежит!

Была невероятная тишина. Мимишке чудилось, что он даже слышит, как запоздалый лист с вершины к земле кружит, а уж как шуркает, соприкоснувшись с себе подобными, так он это место в точности определит. Когда же запоздало пролетела одинокая ворона, надрывно каркая и тяжело, ломко взмахивая крылами, будто деревянными, или — будто перья у нее оледенели, то он зябко пожегил, даже поморщился: так неприятно громко, враждебно прошумела она.

Он, вообще, как лишился речи, очень болезненно воспринимал резкие, скрипучие звуки. Совсем, например, не переносил, когда в избе начинали содомко говорить, — особенно когда мать с Зинкой лаялись. Он тогда уходил в поветку, или на улицу, или совсем на волю вольную — к озеру, в поля. Тишина ему в радость была. Тишину любил, слушал ее.

Вот и сейчас каждый звук ловил. Чутье его беспокоило пошуркивание в овражье низине, там, где рядом кладбище холерное, вроде кто-то сторожко крался. Может, монах с монахинями из могил повыходили? А может, крот или крыса? Ну и, может быть, сам господин леший? Так думал Мимишка, не пугаясь, а веселясь. Назад не оглядывался. Ему поскорее хотелось звезду

углядеть, да до тыщи сосчитать, да три раза обежать эту горелую колоду, да клык волчий с жженой гребенкой закопать — и уж тогда к матери заторопиться, посмеяться над ней.

«Вишь ты, в Ромэлины бредни уверовала, — сердился он. — Вон знаменитый светила из Рязани профессор Фитерман, как объяснял? Долго, мол, надо лечить, не меньше года. Потому-де, что сознание поломано, мозг изуродован. В голову придется залезть, шарики-винтики вправить — и никакой гарантии! Так-то.»

Мимишка увидел рядом с собой, будто въяве, профессора Фитермана, такого же маленького, как и он сам, но ожиревшего, тучного, можно сказать, круглого — настоящий колобок!

«И голова у него круглая, большущая с вислыми щеками, а лысина — до самых ушей! — улыбался Мимишка. — Умственный, конечно, хоть и смешон. Обещал, однако, вылечить. Правда, намекал — за деньги. Так сеструхи, как только услышали, что придется раскошелиться, тут же загалдели: мол, сами едва управляемся, да и жилплощадь не позволяет... В общем, отказали нам с маманей. Та на них смертельно обиделась».

«Ну ладно, — убеждал себя Мимишка, — еврей-профессор, научный светила, хоть честно признался: не меньше года потребуются, чтобы вылечиться, а тут нате — звездочку угляди, как зажжется, и готово, заговорил! Ладноть, дождуся», — посмеивался, веселился сам с собой.

Самый момент наступал: совсем истончился багряно-лимонный закат. Сизость небесного купола торопливо заливало ночной чернотой. Льдисто тяжелела лунная четверть, наполняясь белым внутренним светом, и вот — вот должна была вспыхнуть мерцающим серебром яркая звезда, — как та, что у матери на картинках божественных.

«Вот счас, счас...» — повторял Мимишка и даже спрыгнул с дубовой колоды, чтобы удобнее голову задрать. Только миг — секунду, не больше — не смотрел он в потемневшее небо, а глянул и взрогнул: вифлеемская звезда уже сияла!

Эта неожиданность обескуражила Мимишку, и он, непонятно с чего, забеспокоился: принялся торопливо до тысячи считать, а сам настороженно прислушивался к тому, что там творится за непроницаемой стеной лесных дебрей. Вдруг пугающе выстрелил хруст сломанного сушняка где-то в черном провале оврага, и этот

стреляющий звук бросил его в дрожь, но он поборол испуг. И хотя опять наступила тишина, но ему все равно чудилось чье-то присутствие рядом, а потому он бросил считать, не стал обегать дубовую колоду и принялся за главное действие — закапывать волчий клык с жженным гребнем, чтобы затем побыстрее убежать от этого проклятого Седалища лешего, от могильного лесного мрака — на Колчин гон, на блёский лунный большак, в простор полей, где и небо просторное, — вызвездившееся!

И только Мимишка присел ямку копать, как вновь и совсем рядом раздался стреляющий хруст сушняка, и он услышал как бы даже не произнесенное, а выдохнутое — «ууу...» От жути Мимишка хотел закричать, но вспомнил, что не может, а значит, леший его не услышит. Ему стало горько-обидно. В том же, что это леший крался, он уже не сомневался.

Он все же поборол страх: сумел внушить себе, что не боится этого мелкого беса. Вспомнил, как мать умоляла, чтобы поглубже закопал эти вот причиндалы — клык с гребнем. пожалел, что не захватил лопату, — и для защиты пригодилась бы! А то с детским совочком явился — разве спасешься? Главное же — долго проковыряешься в этом неподатливом лесном дерне...

Ему уже не казалось, что он не боится лешего. Страх все рос и проникал в каждую клеточку мозга, цеплял каждое нервное окончание. Он бросил совок и, злясь, торопливо принялся наощупь руками обдирать дёрн, корневища, пока наконец не ощутил мягкую и сухую, как мука, россыпь.

«Ну вот, достану сейчас желтый клык с гребнем, суну в ямку, засыплю — и побегу отсюда подальше!» — думалось облегченно. И в этот миг сверху ему на руки упала большая дохлая птица. «Ворона! — панически сообразил он. — Неужто та, которая содомко каркала?» В ужасе он взглянул вверх, и тут же с корточек завалился на спину. На фоне ясно вызвезденного неба, как раз там, где сиял ледяной фонарь и мерцала вифлеемская звезда, нависал над ним не то зверь, не то человек. Он был шерстяной с головы до пят и вперед вытягивал не то руки, не то лапы с когтями, но лицо у него было гладкое, человеческое. Однако на макушке торчали уши, — как у волка!

Мимишка на заднице отполз от этого страшного существа. Да, от лешего, который к тому же принялся гаденько хохотать. Он

не помнил, как вскочил, как побежал, как кричал матери: «Л-леший! Л-л-леший!» Мать схватила его, прижала к себе, а он мелко дрожал и, заикаясь, все повторял: «Т-там л-леший! Л-ле—ший!» А она в голос всхлипывала, радостно подвывала, не в силах и словцо вымолвить. Он-то еще не понимал, что заговорил, что слышат его.

VI

Следующие семнадцать лет Павлуша Дудахин, которого в Тульме, кроме матери, никто так не звал, а для всех остальных он оставался Мимишкой, так вот, следующие семнадцать лет Мимишка, можно сказать, прожил беззаботно и даже счастливо. Конечно, заботы были, и постоянные, в каждый сезон и в межсезонья, но память их избирательно метила.

Теплую половину года, в отличие от всех, Мимишка как бы не замечал. То есть летняя пора сливалась у него в одно понятие: не покладая рук, трудиться — выращивать овощи, запастись варенья-соленья, колоть дрова, чтобы долгую зиму встретить с наполненными сусеками и при жаркой печи.

Суметные зимы он любил: прежде всего потому, что мог сколько угодно, предаваться безделью и своим фантазиям. Но больше, пожалуй, любил межсезонья — быстрые природные перемены его восхищали. И весеннее, апрельское, — от холода к теплу: таяли снега, буйствовали ручьи, катило морем окское половодье, сверкало и грело солнышко... И осеннее, октябрьское, — от тепла к морозцам, когда за ночь возникал хрустящий ледок, когда удлинялись голые дали, а вся природа как бы сжималась, затаивалась перед неизбежностью белого безмолвия. Далее наступали крохотные, незаметные денечки, сонные зимы, которые он помнил наперечет и мог, не задумываясь, описать, какая в какой год случилась.

Помнил он во всей картинности и ту первую зиму, когда заговорил, вернее, выучился снова произносить вслух слова, прислушиваясь к их звучанию, к своему непривычному после немоты тоненькому голоску. Тогда, между прочим, по первой пороше наведальась к ним в Тульму Ромэла. Прикатила на санях, в которые был впряжен каурый жеребчик, а кучером на передке восседал ее

большеголовый уродец в овчинной шубейке и лисьей шапке.

— Ромэла с лешим пожаловала, — буркнула недовольно мать, выглянув в окно, и наказала: — Не поддавайся на ее уговоры.

— А я что? — отвечал он в недоумении. — Ты почему уродца лешим обозвала?

— А потому, что не поддавайся на уговоры, понял? — рассердилась мать.

— Угу, — промычал он, а самому любопытно: в санях-то три цыганочки, внучки Ромэлы, — свеженькие, остроглазые и темные ликом, как она, словно шоколадные!

— Ну что, Мимишка, — крикнула старая цыганка, примагнитив его своим тяжелым, агатовым взглядом, — жениться не надумал? Вот тебе невест привезла! Одна другой краше! Выбирай!

— Да чаво ж ты надумала, Ромэла? — запричитала, закончила мать. — Ему ишшо лечиться надоть.

— За любовью быстро вылечится! — веселилась, настаивала Ромэла. — Ну, Мимишка, какая тебе по сердцу, говори!

Он насупился, будто маленький, не отвечал. Мать вместо него закудаhtала:

— Не, не, Ромэла, апосля женихаться приезжай. Нельзя ему.

— Эх ты, Марья! Не мешай! Дело-то не наше. Молодое!

А он испугался, что Ромэла прямо тут же и женит его на какой не той из цыганочек, и утёк в избу, на печь залез, в самый угол схоронился. Ни с чем и уехала старая цыганка, а вскоре, на Святки, занемогла и умерла. Никто с тех пор не предлагал больше Мимишке невест.

«Уж грешно, — повторяла не раз его мать, — а лучше, что Бог ее прибрал. Ведь не отчепилась бы от нас. А женись на цыганке — люди заклюют. Хочь бежи отсюда...»

Так и остался Мимишка на всю жизнь бобылем.

В тот год по осени сняли с него инвалидность и приказали на работу устраиваться. Директор, Демьян Лукич, почесал в задумчивости затылок да и махнул рукой: ладно, возвращайся на прежнее место — к котлам, в операторы.

Так и вернулось всё в норму. Упомянутые семнадцать лет Мимишка проработал на одном месте — дежурным оператором, правда, в отличие от других, предпочитал ночные смены: тишина,

на заводе почти никого, спи, сколько вздумается! А потом — целый день твой, в полном распоряжении...

Странности продолжали за ним водиться, но одна была особой. Заключалась она вот в чем: Мимишка научился заводскую женскую половину вгонять в стыд. Да так, что ни товаркам, ни хахалю, а тем более мужу законному никогда не признавались.

Что же это такое? А то, что подходил Мимишка к той или иной крале и, в землю глядучи, говорил: «Ну ты, того, ночью-то мне голой привиделась». — «Ах ты, охальник, недоросток окаянный!» — возмущалась привидевшаяся. А он, головы не поднимая, сам вроде стесняясь, продолжал: «А ты, Клавка (или там Зойка, Глафира, Елена), — сладкая баба. И так мы с тобой крутились, аж умопомрачился». — «Да ты чего ж это? — возмущалась, в беспокойстве оглядываясь — не слышит ли кто, Клавка, Глафира или Елена с Зойкой, переходя на шепот, зардевшись. — Ты это чего же? Вот всем расскажу!» — «А я и сам расскажу, коли ты хочешь», — предлагал Мимишка. «Дурак стоеросовый! — вспыхивала бабенка. — Помалкивай лучше!» — «Я чаво? Я тебе только сказал, что голой привиделась. — Но настаивал: — А ты охочая, сла-аа-дкая в энтот деле...»

Конечно — такое в тайне не оставалось, и уже вскоре, как обнаружилась эта Мимишкина особенность, всех стало занимать, кто же в очередной раз побывал в его объятиях. Мужики привязывались к нему неотступно: мол, опиши, как и что во сне происходило? И как ни ругала его мать, как ни стыдила, как ни страшила, а все-таки кое о ком удавалось им выведать, и поражались, насколько все в точности совпадало, хотя все знали, что Мимишка лишь нафантазировал...

Но бабенки все-таки чьи-то жены или дочери, а потому заступники у них находились, и они готовы были так проучить Мимишку, чтобы он опять надолго замолк. Только вмешательство директора, Демьяна Лукича, — а и к нему некоторые дурёхи жаловаться приходили! — спасло Мимишку от расправы. Кроме того, Демьян Лукич пригрозил ему, что с работы выгонит, если не перестанет болтать о запретном.

Наверное, именно тогда принялся Мимишка сочинять другие байки. Например, о прыгающем автобусе, или о путешествии на облачке, или об ожившем монахе, или политические даже: о

матери своей, о бабке Марье, которая будто бы в Москву съездила и повстречала там на Красной площади всенародно избранного президента с турецким султаном. Да, да, именно с султаном! Не мог, ну, никак не мог Мимишка не сочинить несусветное!

Турецкий же султан, как можно догадаться, допытывался у президента: мол, хорошо ли, счастливо ли живут россияне при его правлении? Вот тут-то пригодилась президенту старуха Марья. Потому-де, говорил Мимишка, что только ей поверил старый султан, которому, оказывается, сто десять лет. Да, именно сто десять! Ну, опять же не мог он без немыслимого...

Так вот дальше: президент, обрадованный, что сообразительная бабка ему замечательно услужила, готов был любое ее веление исполнить. И что же попросила старуха? Хотите верьте, хотите нет, а заставила его штаны снять! Да, прямо на Красной площади. А для чего?

Нет, не думайте, что это срамная история. Мимишка точно определил — политический анекдот, только сочиненный в сказочной манере.

Так вот: для чего все же бабка Марья потребовала оголить срамное место? Оказывается, для того только, чтобы президентские шары прощупать. Даже не глядя на них, отворотясь, чтобы в стыд не вгонять.

Вернувшись же в Тульму, старуха Марья во всеуслышание объявила: «Наш всенародно избранный опечалил меня. Шары-то у него тугие, крепкие. Значит, люди, долго, ой, как долго будет на всех насакивать. Никуда от него не подеваешься!»

Конечно, мне Мимишка вежливо свой анекдот рассказывал, а другим, не сомневаюсь, грубее, доходчивее. Но в любом случае, как ни крути, — опять сты-до-ба... Впрочем, тогда мне подумалось о другом, о том, что не обманешь, не задуришь русского человека, который всегда все нутром чует и безошибочно понимает.

В общем, в сочинителях ходил Мимишка, и эта его слава волей-неволей свела меня с ним. Правда, в новейшие уже времена после развала Советской державы и после смерти его матери. Да, ровно через семнадцать лет, как и предсказывала цыганская вещунья Ромэла.

VII

Невероятно солнечными выдались апрельские деньки 1994 года, когда я вновь навестил свой угрюмый от зимнего одиночества деревенский дом. Несмотря на теплынь в комнатах хоронился сырой холод и никак не исчезал, хотя я дважды протопил обе печки. Из стылой угрюмости тянуло на яркий свет, к праздничному стаккато капели и мелодичному журчанию ручьев; они сверкали по ледяным желобам, устремляясь к набухшей под серым, крупчатым настом Тульмени.

Рискуя, я прошел по истончившейся, но еще крепкой тропе, залитой талой водой, на противоположный берег. Оттуда начался подъем на Байковую гору. По ее склону — и тут, и там устроили языческий хоровод бело-ситцевые березки в розовой дымке тонких, как нити, кудрей.

У Росстани на самой макушке горы, где скрещивались полевые дороги, на кривой, пригнутой книзу, поклопяй березе сидел — да нет же! — ловко разлегся Пал Палыч Дудахин, Мимишка. Он замороженно глазел в круглую, объемную лужу, чешуйчато-выложенную, притопленной, палево-черной листвой. Водная поверхность, как зеркало, отражала и небо, и облака, и стволы берез, и самого Мимишку.

Я задержался на покато бруствере. Когда-то здесь была дудка, то есть глубокая яма, откуда бадьями вытаскивали железозем, или болотную руду, для переплавки на заводе, но уже почти полвека, с конца войны, как прекратили эту кустарную добычу. И вот теперь повсюду эти копань-воронки заливало зеркальной водой, а вокруг них хороводились повыраставшие березы, отражаясь резко, цветасто и будто радостно, — особенно по сиятельному апрелю, по таянию снегов, по необыкновенной голубизне неба с дымно тающими кипенными облаками.

Я так же, как и Мимишка, замороженно глазел в черную прозрачную воду, в которую перевернуто вросли деревья и особенно натурально поклопяя береза. Странно все-таки было видеть наш сияющий, перевернутый мир, уходящий далеко вниз, в глубь земли.

А Мимишка, обрадовавшись моему появлению, смеялся в своей сияющей вышине, журчал, подобно ручьям, в безудержном, шаловливом восторге:

«В подземное небо залез. Облачко щупаю. Вот взять и нырнуть! Нырну — и шею сломаю, кхи-кхи... Полез на березу, а в небо попал! А оно подземное, кхи... Давай и ты сюда лезь! Вместе и прыгнем на облачко. Оно мягкое, пуховое. По небу поплывем!»

В глубине зеркальной воды между облаками на самом дне серебряной монетой застыло солнце. Но это лишь при затишье, а когда набегал летучий ветерок, так сияющая монетка вмиг из глубин подпрыгивала на поверхность и ломко, весело рябила, поблескивая на все четыре стороны. Успей-ка схватить!

«Давай поймаем солнышко! — восторженно предложил Мимишка. — Как кузнечика. Вот слезу, накрою ладошкой — и схвачу! — и опять заливался переборчивым смешком: кхи-кхи... — Высунется — и не упрыгнет! Накрою — раз, два. Солнышко поймаю!»

Долго мы веселились над чудесами апреля, а Мимишка потом историю сочинил, как плавал под землей на облачке. И меня в свидетели пристроил, больше того, в соучастники, будто и я с ним на березе сидел, а потом в глубь земли спускался и там солнышко, как кузнечика, ловил. Поймали-таки! Ну и фантазер...

В тот апрель однажды ранним утром мы с ним столкнулись у водонапорной колонки. Сияло серебристое солнце, но еще не грело, а ночью случился морозец, и обнажившаяся земля хрустко пружинила под ногами. Мимишка счастливо улыбался:

— Чайку похлебаю и побегу на Байкову гору по медвежьей шкуре топтаться. Похрустеть! Ага. А то к полудню каша будет; на пахоте так по колено усасывает. Но тепло, солнышко светит. Пойдем со мной. Вдвоем веселее.

Я согласился. С моей открытой веранды виделась вся Байковая гора. Собственно, подъем к Росстани и считается горой, потому что дальше, за горизонтом, начинались пологие увалы полей.

В мае этот приречный луговой подъем между двумя рощами, Раменьем, где таятся Седалище лешего и Холерное кладбище, и Чельшным березняком, самым грибным местом, бывает нежно-зеленым, прямо-таки байковым — отсюда и название! А по ию-

ню-июлю да и в августе — цветастым, как ситцы, потом жухло-сухим, невзрачным, будто покрытым мешковиной, а с ноября по апрель, всю долгую зиму, — в суметно-снежном, белом атласе. Но вот апрель распеленовывает снега, топит их, и обнажившаяся земля после долгой упрятости представляется свалывшейся медвежьей шкурой — так выглядит, особенно издали, бурый, полёглый травостой.

В самом деле, было радостно по-мальчишески потоптаться-похрустеть на обледенелой, ломкой «шкуре», а потом беззаботно посидеть на припёке, неторопоко беседуя. Тогда-то Мимишка и объяснил мне, с чего это вдруг он политический анекдот сочинил.

Ждали-то, рассказывал, что при господине Президенте справедливость восторжествует, что заживет народ свободно и лучше — без коммунистического-то диктата! Так многие думали, особенно тогда, когда всенародно за него проголосовали. Это потом почуяли, что очередной обман вышел. Что Президент не о народе сокрушается, а о том заботится, как Америке понравиться, как в угоду ей капитализм в Россию вернуть. Это потом начали недовольничать — после кровавого побоища в Москве, да поздно уже было: Советскую власть не вернешь.

В общем, говорил он, не оправдались надежды на господина Президента, как и на нового директора, которого они сами на собственную шею посадили. Старый, хоть и грубый, и требовательный был, но справедливый: рабочего человека не обижал, заботился о нем. Конечно, с годами накопилось на него недовольств, да только вот зря не понимали, что по-другому он не мог. Думали: мол, пришлый, министерством поставленный, потому и все не так, как хотелось бы. А теперь избрали местного, из мастеров: мол, заживем! Однако хуже стало, — совсем плохо! Начали поговаривать: надо бы Демьяна Лукича возвернуть, да только он кровно обиделся, уехал на родину — в Череповец. Вообще, на пенсию ушел. А новый, Иван Ужищев, хоть и свой, а ворюга и лиходея, каких и свет не видывал. Кто бы мог подумать!

Толково рассуждал Мимишка. А ведь до сих пор его считали блажным, полуюродивым. Ан нет, не таков!..

Так беседовали мы в апреле на солнечном припёке, а в начале лета, накануне Троицы, завод остановился.

Не было ни кокса, ни болванок чугунных, разрушилась сис-

тема поставок, никто не хотел ни в долг давать, ни в долговую кабалу лезть. Прямо-таки круговое недоверие утвердилось, к тому же враждебное. От всеобщего безденежья, из-за отсутствия купюр, а не платежных бумажек, затоварился и заводской склад готовой продукции. А ведь еще недавно очереди выстраивались за чугунными печками, за печными плитами, заслонками, дверцами, радиаторами. Без них в сельской местности никак не обойтись! Со всех концов России наезжали, повсюду Тульма известна была. Хоть и малый, хоть и ветхозаветный, а почти три века Тульменский чугунно-механический завод снабжал соотечественников изделиями первой необходимости.

Заводским трудом и весь поселок кормился, однако никогда не забывал о своей крестьянской сущности. Между прочим, ни в войны царские, ни в смуты, ни в холерные эпидемии, ни в революции, ни в войну гражданскую и последнюю Отечественную никогда не останавливался тульменский завод. А когда все же замер, то такая непривычная, пугающая тишина опустилась на Тульму, будто из нее сердце бьющееся вынули...

Но удивителен все же русский человек! Думаете, тульменцы опечалились, что их на все лето в принудительный отпуск отправили? Без зарплаты оставили? Нет, нисколько. Наоборот, обрадовались. Надо же, такое в стране происходит: и в Москве, и в Рязани и где-то там еще — на Севере, на Дальнем Востоке, — в общем, всюду заводы останавливаются! Обрадовались, ну прямо, как дети, у которых целое лето впереди...

Единственное, что смутило и ропот вызвало, — контора-то работала, и конторские вместе с новым директором, с Ужищевым, ничего не делая, зарплату гребли. Да разве только зарплату, еще и премии себе начисляли! А кроме того, вон всюду, с утра до вечера, пилорама жужжала, отовсюду лес везли, а с завода — доски да тес. А денежки кому? Ну, погодите, грозились, осенью разберемся...

Но не разобрались — ни осенью, ни зимой, ни весной следующей, потому что Ужищев, их же местный, ими же самими в директорское кресло посаженный, круто дела повел, — и все против них, все оглоблей по затылку. Во-первых, только поздней осенью на полмощности завод пустил, на трехдневку: мол, все равно ни кокса не накопилось, ни болванок чугунных. Потому-де,

что ни денег нет, ни спроса на продукцию. А во-вторых, сократил молодежь неженатую и всех бобылей, а это, посчитай, пятая часть, — и всех пенсионеров! В общем, почти наполовину урезал заводской люд. Да еще обещал любого-каждого за пьяный прогул тут же увольнять.

Загудели, задумались тульменцы, но смирились, даже оправдание отыскивали: мол, куда денешься, раз такие обстоятельства теперешней жизни. Мол, все же по справедливости решил: бобыли, так они чего? — где угодно могут устроиться! Им, кроме как о себе, не о ком беспокоиться. И опять же удивлялись, головами покачивали: «Надоть, а? В безработные оформляются! А платят им, грят, столько, сколько и нам, работающим, и калымь — хучь без спанья! Ну и времечко! Во, житуха-то пошла — не соскучишься!»

Правда, кто поумнее, не соглашался с этими легкомысленными завистниками. Вразумляли: ну, в безработных с год хорошо, пока платят, — а дальше что? Но кто ж на Руси дальше-то года заглядывает? Мало таких, а бывает, что и совсем нет. Простенько рассуждают: мол, сегодня поживем, а что завтра — Господь ведает. Мол, будет день — будет и пища. А ежели Бог не выдаст, то свинья не съест... Вот так-то!

И Мимишка, конечно, очень обрадовался своей неожиданной свободе: надо же, в безработных оказался — как в самой Америке! Не сомневался, что через год все наладится, и завод вновь во всю мощь заработает, и Ужищев, а он даже ему дальним родственником доводится, восстановит его на привычное место, как когда-то Демьян Лукич, в операторах котельной, и уж оттуда он законно выйдет на пенсию, — не из безработных же! И все повторял при встречах, веселясь: «Выжили при грозном Сталине, а при этом, при господине-товарище, обязательно выживем».

Какое-то умопомрачительство происходило на Руси: дела шли всё хуже и хуже, народ нищал, нация вырождалась, а ни серьезного протеста, ни гневного возмущения нигде не вспыхивало. Наоборот, повсюду звучало обывательски-наплевательское: «А-а, выживем, перетерпим!»

В ту осень я, пожалуй, впервые остро ощутил, что кончилась не только советская эпоха, не только оборвалась жизнь нескольких поколений, а кончалось нечто большее — н е в о з в р а т н о е . Да, кончался не только век, не только тысячелетие,

но и мы сами — как народ, как государство.

Да, кончаемся... Нет уже ни сил душевных, ни пассионарного желания взорваться, остановить катастрофу, падение в черную невозвратную дыру — в вечность! Впрочем, бывало уже такое в человеческой истории — с другими народами и государствами, бывало...

VIII

По зиме после Нового года, на Святки, я по привычке наведался в Тульму. Постоянно тянет меня в деревенскую тишину из взбаламученной Москвы. Только там удастся на целебном воздухе поврачевать душу; спокойно, несуетно поразмышлять. Только там щедро плодоносят одинокие занятия — и в ясные, и в сумеречные дни, и в первобытно-черные, беззвучные ночи.

Отгороженная от суеты больших городов деревенская, скитская жизнь естественна для писателей. Неслучайно такой невероятный творческий взлет случился у Пушкина в болдинской осенней глуши. Неслучайно и Лев Толстой предпочитал в Ясной Поляне писать в подвальной «комнате под сводами» — за глухими, более чем крепостными, стенами. Да разве только они искали сосредоточенной тишины? И Чехов в Мелихове в «чайном домике», и Бунин в Васильевском, а потом в Грассе; и многие, многие другие.

Помню, как меня поразил в великолепном усадебном дворце князей Вяземских в подмосковном Остафьеве кабинет Карамзина, где он духоподъемно работал над «Историей государства Российского»: удаленная угловая комната на втором этаже, выходящая в парк; голые побеленные стены; простой сосновый стол и такой же стул; и козлы, на которых струганные доски, а на них — стопы книг и рукописные, писанные-переписанные, листы. Монашеская строгость!

Вот и сейчас по всей России сидят в небогатых деревенских домах, в своих писательских скитах, мои коллеги по перу, мучаясь все теми же вечными вопросами: что такое русский человек?.., что же все-таки произошло с Россией?.. Зачем нам, россиянам, лезть в западную цивилизацию, когда мы сами всегда были цивилизацией, всегда были с а м о д о с т а т о ч н ы — и в смысле ду-

ховном, и по сути физического пространства, природных ресурсов. И эта самодостаточность привлекала к нам, к России, славянам, соседние народы — без гордыни шли они под мощный размах нашего двуглавого орла. А когда нам, русским в России, с л а в я - н а м , сделалось плохо, то тут же разбежались, замкнулись в своих «суверенитетах», и никто не воскликнул: «Братья славяне! Вы нас столько веков пестовали, спасали, выручали, наверное, пришли сроки и нам порадеть о великой России...»

Что ж, я верую, как только русские в России вновь проявят мудрость и государственную волю, расправят крылья-плечи, задышат полной грудью (государство — тот же живой организм!), то снова к нам потянутся ближние и дальние соседи, да вот — только захочет ли униженная и оскорбленная, преданная на поругание современная Россия всех их принять? И это тоже судьбоносный вопрос, — и над ним мучаются в деревенских скитах...

Увы, сегодняшние правители, которые прихватили, приватизировали государственную собственность и власть в Российской державе, не способны дать ответа. Просто не могут! А потому опять на русских писателей возлагается духовная миссия будоражить общественное сознание, на тех, кто не сломился, выжил в эпоху развала и нестроения, превозмог сладкозвучный зов сирен к златолюбию, устоял перед соблазнами потребительского благоденствия, — да, именно тем, кто не сдавался в эти погубительные времена, будет дано доказать вечную истину: *не в силе Бог, а в правде!*

Вот такая несуетность рождается в мыслях, когда возвращаясь в деревенское уединение, откуда хочется докричаться до современников, встряхнуть за плечи, ибо и правда, как поется в песне, *хватит спать, православные*, — ведь уже и обедню проспали, и бездумно промотали наследие предков... Про правителей не говорю — их будоражить бесполезно, они временщики, особая порода: без ума большого, без знаний, но тщеславные, властолюбивые, порой до безумия, до извращения... Наш «всенародно избранный» тому ярчайший пример.

Да именно докричаться до соотчичей, памятуя о собственном предназначении в Отечестве. Так было исстари, от века к веку, так и поныне, потому что маховик Истории неустанно громоздит вопросы и кто-то должен добровольно, не по заказу или уста-

новлению трудиться в поисках правильных ответов. Иногда находить!

... В те святочные дни были морозы, повсюду, под низким стылым небом, перламутром, до рези в глазах блистало великолепие снегов, ложились синие тени от насквозь прозрачных лесов. Три дня я оттапливал промерзлую избу со слепыми, в замёрзловатых куржавинах окнами, пока не установился духовитый жар — будто лето вернулось! Ожили сухие мухи, зажужжали ошалело, в бешеной бестолковости. Царственны русские печи!

Теперь можно было вспомнить и о соседях. Зимой, кстати, не менее сонных, чем те же мухи, — уж лишний раз и на улице не покажутся! Прежде всего подумал о Мимишке, тот не раз похвалялся, что очень уважает морозную, метельную холодрыгу.

IX

Мимишка в этот мой святочный наезд избегал встреч. Мелькнул пару раз мимо оттаявших окон, а не заглянул. Да и вообще, не мог же не видеть, что задымила пароходом моя ожившая пятистенка: чего ж сразу-то не явиться, не навестить? Не оттого что стесняется, догадывался я, поговорить-побеседовать ему всегда хочется, но, судя по всему, неотданный осенний должок тревожил: вдруг возьму да и потребую? А значит, по деревенской логике, лучше не объявляться, избегнуть встречи, смотришь, и до весны-лета отложится. Улыбнулся про себя и, не сомневаясь, что именно в этом причина, в лилово-чернильные сумерки направился к нему в гости.

У нас на Нагорной улице, как и всюду в Тульме, ни ворота, ни избыные двери не запираются, пока не догорит до чадающей тусклости короткий день, пока не навалится ночь. Ну вот, и Мимишкино подворье не на засовах. Да только странно — тишина в избе, правда, сонно мяукнул бело-палевый кот, возлежащий на диванчике. Но где же хозяин? Заглянул на обширную лежанку русской печи: Мимишка спал поверх ватного одеяла в исподнем белье, а в откинутой правой руке крепко сжимал журнальный портрет кукольной красоти. На челе его застыло выражение сладостной истомы.

— Пал Палыч! Гость в доме! — выкрикнул я.

— А? Что? — вскочил, всполошился он в теплыни и темноте печной лежанки; выглянул из-за трубы. — А, это ты, суседушка наезжий. Счас слезу, погодь. — И тут же затараторил известную отговорку о долге: — Должен — не спорю, отдам не скоро. Первый срок — Илья-пророк, второй срок — Георгий на коне, а третий — не ходи ко мне! — и залиvisto рассмеялся.

— Ладно, ухожу, раз гонишь, — изобразил шутивную обиду я.

— Да нет же, погодь! Вот что: отгадай загадку! Отгадаешь, в доску расшибусь, а должок верну. Ну так как?

— Но я же не за этим пришел, Мимишка ты этакий! Проведать тебя.

— Нет, ты все же отгадай! Рында роет, Скинда скачет, Турман едет — съест тебя! Ну, кто это?

— Откуда же мне знать?

— Кхи... Да очень просто: свинья, зайка и волк. — И, спустившись по лесенке с печи, повторил пугающе: — Турман едет, едет, едет — съест тебя?

— Постой, какой еще турман? И почему это он волком отгадывается? — выразил недоумение я. — Насколько мне известно, а в детстве мы все увлекались голубями, турман — это голубь-вертун. Он чудеса в воздухе творит, и те, кто имел турманов, были самыми уважаемыми голубятниками.

— Ага! Верно, суседушка, рассуждаешь, — обрадованно воскликнул Мимишка. — Да только невдомек тебе, что при царской жизни суеверие в народе было, вернее страх: ежели волка волком обзовешь, то он обязательно учует, на подворье явится, овец там или коз потаскает. Потому про волков недогадливо выражались, можно сказать, заискивали. Вот, к примеру, матерого волчищу, ага, — и он тоненько, не то в испуге, не то в удивлении, похихикал, — голубком обзывали. Выходит, самым уважаемым: турманом!

— Очень любопытно. Не предполагал, и намеком не догадался бы.

— То-то. Старикам нашим, которые при царях жили, — пояснял Мимишка, — это сразу было понятно. Мне еще дедушка Аристарх Семенович рассказывал: мол, Рында, знай, — свинья; Скиндой зайку зовут, а к волку, как главному разбойнику, с ува-

жительным испугом относятся: мол, голубок! Чтобы задобрить и спастись, понял? Турман, нет, не роет и не скачет, а важно, как барин, едет. А для чего? Ну, для чего?

— Обожди, Пал Палыч. Выходит, по-другому эта загадка звучала бы так: Рында роет — и пускай! скинда скачет — и пускай! а вот Голубок едет, так берегись, потому что сей непростой голубок возьмет да съест тебя! Так, что ли?

— Ага, так. Потому берегись Турмана-голубка: съест тебя! — грозно-весело рассмеялся Мимишка, и мне показалось, что он до сих пор подавляет в себе страх к волкам, что та страшная история все-таки не выветрилась из него, и, может быть, именно в зимнюю холодрыгу, когда клыкастые особенно опасны, он настоженно памятлив, а потому и помнит все зимы наперечет — с той, переломной.

Я тоже посмеялся, но — небрежно, спокойно, пошутил даже:

— Ну, мной Турман подавится. Вот ты для него в самый раз.

— Не-е, я уже не боюсь волков, — серьезно отвечал он.

И стоял, как Махатма Ганди, в белой исподней одежде, щуплый и низенький, сияя радостной синевою глаз.

— Ты, Пал Палыч, как настоящий индус. Как Махатма Ганди. Знаешь такого?

— А чего ж? Слышал вроде. Знаешь, я люблю, чтобы жарко протоплено. Ага, как в Индии!

В руке, уже и слезши с печи, продолжал держать портрет кукольной красотки.

— Кто же это? Твоя возлюбленная? — весело кивнул я на размалеванную блондинку.

— Ага, возлюбленная! — восторженно согласился он и опять захихикал: — Кхи-кхи... У меня их цельный гарем! Хочешь, покажу. — Он открыл нижний ящик комода и достал оттуда школьный портфель. — На, смотри! И все — артистки!

— Что ж ты с ними делаешь?

— А так, гляжу, — потупился он, застенявшись.

— Понятно, — буркнул я, прекращая тему: — Что ж, угощай чаем. А то лучше пошли ко мне, вместе поужинаем, а?

Эта идея Мимишку мгновенно вдохновила, повторять приглашение не требовалось.

— Счас быстренько оденусь. А ты глянь, глянь на гарем. На возлюбленных, — опять похихикал он. Неожиданно предложил: — А то стакашку опрокинь. У меня полбутылки осталось.

— Ты же единственный, кто не пьет в Тульме, — удивился я.

— Почему же? Я опрокидываю. Ну там на праздники или на похороны, — не согласился, даже обиделся он: мол, разве не мужик? — Только не нравится мне — голова потом болит. Вот если бы не ломало, то, чаво ж, оно хорошо. Для развеселья. А так, понимаешь, страдаю, — признался он.

— Так зачем же взялся пить? — упрекнул я. — Ради того, чтобы — как все?

— Не-е, совсем нет. Это не я. Это — Коль Колич, сеструхин сын. Повадился ко мне ходить, ну и того, бутылку тащит. Но я не поддаюсь. А тебе чего ж? Ты на свободе. Развлекайся!

— А он-то, Коль Колич, чего повадился к тебе?

— Э-э, господин хороший, тут такое теперь происходит — на удивленье! Разбогател несусветно наш Колька. Всю жисть с матерью об этом мечтали. Раньше он тоже приворовывал, так в тюрьму сподобился, четыре годочка отневолил — на химии. Но шоферил, прав его не лишали, он все же первый класс у нас.

— Ну, и как же разбогател?

— Э-э, тут долго рассказывать. И не знаю, можно ли? Раньше тех, кто воровал, арестовывали, а теперь они — главные козыри. Господа жизни. — Он в раздумчивости присел на сундук-укладку, сжав ладони меж колен. — Вроде тебе и можно поведать. Ты же в милицию не побежишь, так?

— В общем-то, так. Но не обязательно мне и рассказывать. Одевайся лучше.

— Не-е, погодь маленечко. Мне посоветоваться с тобой надо. Может, что дельное подскажешь.

И выяснилось, что племянник Коль Колич, Николай Тюкаркин, сын старшей сестры Зинаиды Павловны, в створе с новым директором, с Ужищевым, который им сродник. Лес, что на заводской пилораме обрабатывают в доски и тёс, они по липовым документам гонят в Подмосковье, где развернулось сооружение чудо-городков «новых русских». Колька, по наущению матери, решил и себе чудо-дом отгрохать: каменные хоромы! Такой, что-

бы лучше чем у кого бы то ни было в Тульме. И обязательно на Нагорной улице, на родовом месте.

Этого особенно хочется, говорил Мимишка, его матери, Зинаиде Павловне. Она доказывает, что в уличной спорядности чудо-дом надежно укоренится. Потому что у озера, где новые богатеи принялись домищи возводить, троих уже спалили. А на родительском месте, в старинном ряду, полная гарантия, никто на завистливое супостатство не отчаётся, потому-де, что для всех общая опасность.

В общем, Зинаида Павловна, ныне старшая по дудахинскому корню, решила, что пора их ветхую, еще довоенную избенку сносить, а на ее месте поставить домину всем на удивление. Хвалится, говорил Мимишка, теперь, мол, сын мой верх держать будет на Нагорной улице, а, может быть, и во всей Тульме.

А как же с ним, с Мимишкой? Ведь он оставался главным наследником родительской избенки. Но Зинаида Павловна на то и старшая сестра, командирша: они с сыном двум сестрам-теткам в Рязани приличные деньги отвалили — за отказ от наследственной доли, а Мимишке решили приобрести завалюху бабки Дуни. Но это на время строительства, а потом, мол, вместе с Коль Количем жить будет — в хоромах!

Однако сидел Мимишка на сундуке-укладке в белом исподнем белье, будто щуплый индус, в самом деле Махатма, омраченный, задумчивый, с глазами уже не сияющими синим весельем, а потускневшими, сизыми, как ненастная туча, и вопрошал:

— А ежели обманут, что тогда? В развалюхе бабки Дуни мне не перезимовать. Присоветуй, как быть?

Но что я мог ему присоветовать? Ничего не мог.

Х

Страна рушилась, вползала в первобытный мрак, а нувориши торопливо сооружали хоромы. Повсюду, как эпидемия, распространилась невиданная личная стройка — и какая!

Строительство Колькиных хором затеяли по весне и в мае уже снесли, разобрали на бревна дудахинскую избенку, тут же бензопилой попилили на чурки, и Мимишка самозабвенно принялся их колоть.

Сам Колька в основном мотался в Подмоскowie, а командовала стройкой его громоругательная мать. Мимишка был у нее на побегушках, как когда-то в малолетстве и, как в те приснопамятные годы, этим гордился. Да что там гордился! Он важничал, подобно командирше, своей непререкаемой старшей сестре, будто не Колька, а они с ней не то чтобы обновляли, а возвеличивали дудахинское гнездо.

Колька, конечно, по тульменским понятиям несусветно разбогател. Но разве не с подсказки, не с одобрения алчной матери? Разве он самостоятельно втянулся в рискованные авантюры? В строительство хором? Для него лично всегда хватало и тещиной избы, и прежних немалых заработков, хвастался постоянно, что в кармане обязательно на десяток бутылок наберется. С тещей скандалил лишь по пьянке, а так был покладистым, домовитым.

Ругалась с ней, с тещей, больше его крикливая мать, обвиняя ту в собственных грехах — в жмотстве и властности, а заодно и дочь её — в нерадивости и бездельности, кстати, такую же покладистую, незлобивую, но порой вспыльчивую, как и Колька.

Властная Зинаида Павловна, по тульменскому прозвищу Зинка-пистолет, всегда и всем недовольничала, а зло срывала на близких людях — на третьем муже, на сыне Кольке, на мечтательном Мимишке, на подчинительных сестрах, но особенно на супостатке Клавке Котовой с ее дебелой Маняшкой, которые, оказывается, ведьмачески околдовали ее единственного сыночка. И невдомек было командирше Зинаиде Павловне, что у сына с Маняшкой, можно сказать, любовь, — еще со школы, с отрочества. Она, Маняша, верно ждала его все армейские годы, а потом, уже женой, оставалась неприступной, когда загремел он в тюрьму. Но ничего не желала знать Зинаида Павловна, раз не по ее воле они сошлись, раз не по ее разумению поступали. Теперь же, поддавшись на ее провокацию заделаться миллионщиком — на зависть всем, и возвести хоромы — тоже всем на удивление, он вынужден был, натужась, гнать деньгу, да и многое другое делать, на что по собственной воле никогда бы не решился.

Внешне Николай Тюкаркин выглядел увальнем, таким медведем. Он взял костистую квадратность матери, вернее, своего деда, Павла Аристарховича Дудахина. Но так как отец его, тоже Николай Тюкаркин, был высок, тощ и длиннорук, он на голову

перерос бочкастую мать, вытянув пропорции мощного туловища в разумную форму, а потому смотрелся по-борцовски, спортивно. Один лишь вид его внушал угрожавшую силу, держался он всегда самоуверенно и заносчиво, и очень независимо.

Своим поведением Тюкаркин многих раздражал, особенно по пьяному делу, а запивал он наследственно — и по отцовской, и по дедовской генетике, хотя и не часто, но круто и минимум на неделю. В такие душевные срывы и случались с ним всяческие беды.

Любопытно: спасать от запоев неистового, по-медвежьки взъярившегося племянника мог только его щупленький дядя — Пал Палыч, то есть Мимишка. К нему медведь-громила даже в пьяном виде относился нежно и бережно, потому что любил и оберегал. Мог часами слушать Мимишкино веселое воркование, его невероятные истории. И Мимишка любил Коль Колича, верил ему, чувствовал себя с ним, как за каменной стеной, правда, если рядом не оказывалось властной и крикливой сестры, которая и сына умела укротить, унижить, подавить своей непререкаемой волей, и Мимишку заткнуть, прищучить...

Конечно, вся Нагорная улица понимала, что это совсем и не Колькина стройка, а Пистолетихи. Как бы реванш она брала за свою долгую, тайную зависть. Ведь Нагорная улица обновилась крепкими пятистенками еще в конце пятидесятых, в шестидесятые годы, когда у вдовы Марьи Дудахиной таких возможностей не было. Дай-то Бог, рассуждала она, девок замуж повыдавать, да кой-как подсобить им попервоначалу, и этим была счастлива.

Впрочем, не она их в жизни определила. Куда ей? Прокормить бы на малую зарплату да скромное хозяйство. Все выпало на долю старшей дочери, Зинки, а она была кремень — как отец. Ох, властна и горласта — никому спуску не давала, такой и осталась на всю жизнь. От этой властности и собственная бабья доля не складывалась, биография постоянно надламывалась.

На черную работу, как мать, формовщицей — в земляную пыль да жаркое удушие, не пошла, зато втерлась в доверие к председателю поселкового совета, закадычному дружку отца, заделалась у него секретарем. Вот уж покомандовала девка, поизгалялась над малограмотными и несведущими, ругалась на тугодумных упрямец: мол, таких, как вы, я бы собственноручно рас-

стреливала. А те чертыхались да Господа поминали: мол, Слава Богу, что у тебя печать, а не пистолет. Так и приклеилось к ней: Зинка-пистолет!

Всех воспитывала-ругала, а сама, бывало, и приворует, и смухлюет, и припишет-сотрет, но, главное, подношения любила: тут уж печатка молча ставилась. Понятно, такого человека долго не терпят, и друг отца, инвалид-председатель, отправил ее от греха подальше в Рязань на двухгодичные курсы повышения квалификации — да, партийно-советских работников. Тогда-то она туда и сестер перетащила, те там и остались.

Сама она вернулась в Тульму с повышением, определили ее в начальницы — заведующей клубом. Тут она законно раскомандовалась, но и работу развернула: по прокрутке кинофильмов, по танцам и самодеятельности. Тут и мужа себе определила: баяниста и певуна Николая Тюкаркина, парня на зависть видного, ухарского. Правда, не только баритонисто певшего, но и запойно запивавшего. Однако любила его, многое прощала, даже измены. А куда денешься? Колька уже родился.

Крутила она здесь свою бухгалтерию: киноборы половинила, с буфета мзду брала, с комсомольских свадеб, с юбилеев-событий — да мало ли поводов для наживы и взяточничества? Незаметного, казалось бы, однако только ей, а народ, так он все видел и запоминал, и наступил тот момент, когда ее с поличным накрыли.

Правда, за шесть лет, что она в клубе властвовала, успела приличное состояние составить, коммунальный, бывшего купца, кирпичный дом занять, да сберкнижку завести. Все у нее удачно получалось, неудачно только собственный брак складывался, но опять же — по ее вине. А когда зажучили, отвезли в районную каталажку, то принялась она все на муженька непутевого валить — на алкоголика, развратника и бандита, который ее до смерти избивал. Врала натурально, со слезой.

Что ж, по понятиям советского правосудия она представлялась жертвой, а злодеем-ворюгой ее безалаберный, ухарский муженек. Да и вообще по советской шкале добродетелей не пристало мать с малолетним сыном разлучать, а уж без драчливого кобеля-пропойцы (так только его именовала на суде Зина-пистолет), н-да, без такого папочки сынишка вырастет честным,

работящим, преданным Советской власти, истинным строителем коммунизма, что и подытожила старуха-судья, из выдвигенки 30-х годов, никогда не бывшая замужем и не имевшая своих детей. Дали ошарашенному Тюкаркину пятерик исправительно-трудовых лагерей и отправили на котласский лесоповал. Больше в Тульме он не объявлялся, ни причин, ни повода не было, потому что тут же в районе, сразу после суда Зинаида Павловна подала на развод, и благоволившая к ней старуха-судья в нарушение всяких норм и сроков без промедленья проштамповала расторжение брака.

XI

В Тульму Зина-пистолет вернулась победительницей и на удивление всем ни в чем неповинной. Но завклубом заводское начальство ее не оставило, прежде всего, конечно, директор Демьян Лукич. Тут-то, в поселке, все знали, кто воровал и взяточничал. Тюкаркину сочувствовали, а ее многие стали презирать: надо же, собственного мужа, невинного, за колючку упрягала. От такой вредоносной бабенки что угодно жди, в самом деле расстреляет эта Зинка-пистолет!

В общем, руководящая карьера Зинаиды Павловны на этом завершилась. Ничего подходящего ей не предлагали и пришлось устраиваться на самую незавидную, на черную работу — в формовщицы, к матери, туда, где густо-пыльный туман и дышать нечем. И не сопротивлялась, не рыпалась, наоборот, покорно смирилась, потому что поняла, таков ей общепоселковый приговор — за гордыню да былую властную дурь. Подумывала бежать из Тульмы — в Рязань к сестрам или даже в саму Москву, но не решилась: Колька, сынишка, удерживал.

Но главное в другом: в это время она сошлась с литейщиком Михаилом Бурьгиным, он им на формовку возил вагонетки с огнедышащим чугуном и длиннющим черпаком земляные формы заливал. Сильный, двужильный был мужик. А посочувствовал, так тут же приворожила, и ополоумел он в ее жарких объятиях, из семьи ушел, бросил верную супругу, дочь и сына.

Теперь Зинка-пистолет в Тульме месть творила: над теми, кто радовался ее унижениям и злосчастьям. Одна из них и была

бурыгинская хозяйка, такая же, как и она, формовщица. В общем, отняла у той мужа и прожила с ним семь лет, и все старалась подчинить его себе, переломить, но не податливым оказался — как чугунок затвердевший. Призывала зыбкую мечту осуществить — в большой город перебраться, по-новому зажить, собственного ребенка завести, но и тут не поддавался Бурыгин, не рассусолился. Когда же страсти поостыли, тоска-кручина взяла его, тяжело, неотступно задумался, и в один черный, мокрый и холодный ноябрьский вечер хлопнул дверью после очередного скандала, и со слезой покаяния прибрел в родной дом — к поседевшей, состарившейся жене, к повзрослевшим, суровым сыну и дочери. И все же простили его...

Вот тогда-то Зинка-пистолет (а она, конечно, давно уже вырвалась из формовочного ада на чистую работенку — в контролеры ОТК) отчетливо поняла, какой именно муженек ей нужен. Ефим Зубов был не ухарь-баянист, как Тюкаркин, и не двуличный силач, как Бурыгин, а именно мужик — Кирзач! Такова у него была кличка, по той причине, что во все сезоны он носил кирзовые сапоги.

Был он не поселковый, а из залесной муругонькой деревеньки Агапово, и ходил на завод туда-обратно по четырнадцать километров — в любую погоду. Как же тут без кирзачей? Смеялись, что у него в сарае сотня пар припасена — на всю жизнь!

Жил он со старухой-матерью, как последыш, и к сорока годам оставался неженатым; оттого, что был букой — угрюмым, неговорливым: одно междометие в час выдавит; и оттого еще, что молва пугала страстных бабенок его увесистым бобком. Дважды сходились с ним, вдовушка и разведенка, и... отдышавшись, гнали прочь.

Ну как могла тщеславная Зинаида Павловна не проверить натурально такое наваждение? Особенно, когда оказалась позорно брошенной Бурыгиным. И что ж? Попробовала — как хмельной стала, привязалась, понравилось. Отмыла, отскоблила, экипировала и с вызовом, в открытую, вновь стала сожительствовать с незарегистрированным муженьком.

Между прочим, Ефим-кирзач приосанился, как бы другим сделался. Уже не бубукал в час по чайной ложке на неизвестно каком языке, а начал вразумительные фразы произносить, даже

пускался иногда в мыслительные рассуждения. От неожиданного поворота в своей судьбе был он счастлив, да и Зинаида Дудахина, хотя вровень с собой не ставила, но и не унижала прилюдно. Совпали они не только физиологически, но и по-житейски: она властью командовала им, а он, как прирожденный работяга, безропотно подчинялся — все ей в угоду! Где такого раба сыщешь? О таком только мечтать можно. Вон даже Мимишка в малолетстве, или сын Колька до армии, никогда так покорно ей не подчинялись. Прямо-таки находка — золотой Кирзач!

Однако, несмотря на то, что уже пятнадцать лет прожили в неустанных утехах, единым домом и довольно обширным хозяйством, которое полностью на Ефиме держалось, так вот, несмотря на все это, и еще на то, что пенсионерами стали (по горячему цеху — в пятьдесят лет!), Зинаида Павловна стеснялась расписаться с ним, хотя и называла «муженьком» — все равно неровня, деревня муругая, не дорос еще до ее царственного величия. Она в поселковом масштабе только так о себе мыслила и, бывало, горделиво-заносчиво шутила: «А чем я-то не королева?»

Ох, и тщеславная была бабенка, эта самая Зинка-пистолет! Сама, как кубышка, а голову несет, задрав, отчего выпячивались обширные груди и тугой шарообразный живот, а спина прогибалась, круто обозначая неохватный зад. Встреть такую, незнакомую, погляди в ее белобровое, с круглыми рыбьими глазами лицо, с приплюснутым носом-пуговкой, и даже посочувствуешь: надо же как некрасива, да еще и в ширь разнесло несчастную... И невольно подумаешь: а ведь, поди, тоже всего по-человечески хочется, вон как шныряет жадно глазищами... И невдомек, и не поверишь, что перед тобой местная королева, у которой — именно по королевскому о себе представлению — нет никаких комплексов. Где еще такую сыщешь? Единственная — Зина-пистолет!

Ни Нагорная улица, да, пожалуй, и вся Тульма, не сомневались, что для себя Пистолетиха строительство хором затеяла. Вот только никак не могли в толк взять, как же она с сыном обойдется. И странное дело, даже у меня, жителя в Тульме сезонного, были дурные предчувствия.

В общем, все приглядчиво наблюдали, а домина рос — и быстро! Колька появлялся хоть и часто, но накоротке, будто не хозяин, а подрядчик. Только и уточнял у матери, что еще нужно

достать.

Мимишку Зинаида Павловна на все лето превратила в пастуха своих четырех коз — уж очень любила жирное духовитое молоко. Две из них, правда, были Мимишкины, вернее, их с матерью.

Своим пастушьим оброком Мимишка был доволен. Раза два за лето я с ним встречался. В первый раз он мне притчу поведал о воскресшем монахе-праведнике, который из Раменья лешего прогнал, и волка с руки кормит, а в другой, можно сказать, целую поэму исполнил — о дятле-генерале.

«Т-ту-та-та... И весь день — без перерыву! — весело смеялся Мимишка. — А я ляжу на муравушке и гляжу вверх. А он: т-ту-та-та, да и посмотрит на меня строго золотистым своим глазком. «Ах ты. — думает обо мне, — вот стукнуть бы тебя в лоб!»

Сам красивенький: грудка белая, брюшко красное — генерал! Спинка же, ну, как у энтых аристократов. Ага, фрак! Значит, граф, ваше сиятельство. А сам: т-ту-та-та, т-ту-та-та.

А в вышине — сине-сине, и прозрачные облачка тают. Ну, вроде кто-то невидимый сигаретку закурил, и поплыл, поплыл струйкой дымок. И раз — нету, растаял.

Граф-генерал опять на меня сверху этак строго глянет, и свое: т-ту-та-та, т-ту-та-та. Работник! Вот такого бы Зинке дом строить, ага!»

Ну, что с него взять, с Мимишки? Спросил: «Готовишься жить-то в хоромах?» — «Как же? Обязательно! Коль Колич мне обещал». — «А Зинаида Павловна?» — «Зинка-то? А она не хозяйка, Коль Колич всему голова».

Ну, в самом деле, что поделаешь с наивной человеческой верой? Ничего. Ох уж этот русский человек! Этот Павлуша Дудухин, фантазер-сочинитель, — Мимишка!

ХП

В ту осень — ни в благостный сентябрь: золотолистый, грибной; ни в сухой, задумчивый октябрь — я никак не мог навеститься в Тульму, закрутили неотложные московские дела. Собрался в свой скит только по холодному ненастью — на ноябрьские праздники.

Впрочем, праздники ли они теперь? Хотя новые власти и не решаются их отменить, однако старшие поколения, для которых они всегда были главными, настолько унижены и оболганы, что лишнее напоминание об их незабвенном прошлом вызывает лишь горечь да душевную боль, а новые алчущие поколения презирают их, как и все, связанное с великим советским прошлым.

Самое страшное, сотворенное последними коммунистическими правителями, заключается в том, что они разъединили, рассорили поколения. Там же, где поругана старость, наступает, как известно, надлом нации, а в дальнейшем и государственная гибель.

Такое подкатывало к России в нынешнем веке трижды. Мы были на грани катастрофы, а, пожалуй, небытия, и в мистический цикл трех русских революций — 1905 и 1917 годов; и в смертельно опасном, военном 1941-м. Вот и в четвертый раз подкатило — саморазрушительный 1991-й...

Эх, несчастна ты, наша родина... Россия! Даже праздники теперь — не праздники, а обломки истории. Для одних — все еще святы, для других — анафемские. А на «обломках», на развалинах растут лишь крапива да лебеда — трава забвения. О нет, не розы величия...

Такие вот мысли наплывали, когда я рулил в Тульму, и полностью соответствовали сумеречным волнам промозглого утреннего тумана, не тумана даже, а уныло-серой, ледяной мороси. Чудилось, что эта морось, эта унылая мокреть является как бы самой последней, завершающей — будто перед ковчеговскими, ноевскими временами. Дорога была обреченно пуста, а вокруг — жухло, голо. Вроде бы это уже не нынешняя Россия, а какая-то иная планета — проклятая и второпях покинутая.

Да, таким казался тот скверный, ненастный денек, бывший еще не столь давно самым главным в году — величественным, краснознаменным праздником...

В Тульме, как и в селениях по дороге, — понурая заторможенность, затаенность, лишь редкая фигурка силуэтом мелькнет в мешковатом тумане. На Низу, в центре поселка, на мосту через Тульмень неожиданно повстречался Мимишка. Он стоял, облокотившись на перила, и окаменело смотрел в вялотекущую, черную воду. Я затормозил, воскликнул на радостях:

— Привет Пал Палычу! Как живем-можем?

Он вздрогнул, неторопко обернулся. В ясной синеве глаз — испуг, недоумение.

— А-а, это ты, — произнес разочарованно, как бы даже осуждающе, и так, будто расстались лишь вчера. Равнодушно добавил: — Значит, прикатил? Ну-ну. — И пошел от меня прочь.

Я опешил: что случилось? Включил скорость, нагнал:

— Что это ты, Пал Палыч, так неприветлив? Что-нибудь случилось?

— А-а, ничего, — махнул он рукой, словно я навязчиво — и в который раз! — спрашивал об одном и том же. Но пояснил: — Размечтался маленько. Вот речка наша в Оку-матушку течет, а та в саму Волгу-владычицу, а тамо перед морем стоит город Астрахань. Он задумался, мечтательно произнес: — В Астрахани тепло, солнышко. И арбузы есть. Их мой дружок с Кубани кавунами звал, — улыбнулся в воспоминательной грусти. — Вот бы туда доплыть-долететь, и зимушку перезимовать. С женщиной, с той, которую любил, когда солдатом служил. Ужо, поди, старуха? Да-ить разве сам-то молодой? А она у меня единственной была, по-настоящему-то. Вот бы с ней сойтись. Пожалуй, приняла бы, как думаешь?

Я не знал, что ответить.

— А-а, незачем тебе всё это знать! Жаль, сладкое воспомина- нье порушил. Даже не услышал, как ты подкатил. Ну, прощевай, — и он опять пошел прочь.

Что-то непривычное было в Мимишкином поведении. Тос- ка, что ли, листогнойная? Или спазмы души, как и у меня самого?

— Постой! — крикнул я. — Может быть, зайдешь, погово- рим?

— Не-е, не могу. Зинка расчёт даёт.

— Значит, построились?

— Ага, построились: одни померли, другие поссорились.

— А ты, выходит, в путешествие собрался? В Астрахань?

— Не-е, не решил пока.

— Что-то с тобой не так...

— Так — не так, мое дело, — оборвал он сердито. — Вот Зинка рассчитает и уплыву в Астрахань! Понял? И не вернусь сюда! Понял? А-а, чего ты из своей Москвы понять можешь, — и

махнул рукой. — Прощевай, господин хороший!

— И все-таки: заглянул бы!

— Не-е, незачем, — отрезал он. — У Мимишки только шишки, а на Казанскую, бывалыча, и у воробья пиво водилось. Ладно, прощай!

И не то что пошел, а побежал во весь дух по приречной склизкой тропе, рискуя сорваться с крутого откоса.

ХIII

Мокрая, почерневшая изба, хотя и выглядела отчужденно угрюмой, однако встретила меня радостно. Радость конечно, в нас самих рождается, но, признаюсь, не раз замечал, как светлеет и сам дом, когда в него возвращаешься. Не любят наши бревенчатые пристанища томиться в опустелом одиночестве! Им хозяйева нужны, чтобы человеческие флюиды, биоэнергетика оживляли пространство.

В самом деле, радость светится, когда встречаются после затянувшейся разлуки человек и дом — давно прижившиеся, привыкшие один к другому...

В общем, хорошо у меня сделалось на душе — и мысли тоскливые развеялись, и неотложные московские дела отодвинулись, и неразрешимые проблемы забылись. Так лечит-врачует русская изба!

Я протопил обе печи, натаскал воды, приготовил поесть. Было тепло и уютно, и — абсолютно тихо! Особенно это ощущалось, когда пришлось зажечь свет. Ноябрьские сумерки опускаются незаметно, тем более в туманную непроглядь. Впрочем, в народе давно замечено, что в ноябре рассвет и сумерки не то что среди дня встречаются, а вроде бы и не расстаются. Я было уже размечтался, с каким удовольствием почитаю прихваченную книгу, как незаметно засну праведным, легким сном, и тут вдруг звякнул засов на воротах.

«Неужели все-таки Мимишка явился?» — подумалось мне. Но нет, пожаловал кто-то другой — шумливый, с простуженным смехом, с матерком. Догадался: старики-плотники Александр Иванович Родин и Андрей Николаевич Половинкин. Два года назад они калымили у меня, а весь нынешний сезон вкалывали на

Зинаиду Павловну: сарайце ей соорудили с хлевом, баню величественную. Вспомнил, сказанное Мимишкой: расчет у них сегодня был.

— Ну что, хозяин, не ждал гостей? — вскричал весело неумный Александр Иванович Родин.

— Ждал — не ждал, а вам всегда рад.

— А мы должок тебе отдать пришли, — поторопился объяснить вежливый и обходительный Андрей Николаевич Половинкин. — Расчёт у Пистолетихи получили.

— Деньги-то отдала, а с кончиной зажала... — И опять выматерился весело-сердито Александр Иванович, главный в Тульме плотницкий умелец. — Пришлось обмывать на Понизовке у Мимишки-светлячка. Знаешь такого?

— Еще бы! Кто ж его не знает?

— Хоть немного успокоили, — вставил, вздохнув, сострадательный Андрей Николаевич — невысокий и коренастый.

— А что случилось?

— Да отказалась ему платить... — И опять зло выругался в адрес Зинаиды Павловны сухой и жилистый Родин. — Угробит она его... как пить дать. Так же, как и Кольку.

— Постойте, а что с Колькой? — забеспокоился я. Вспомнил свои летние дурные предчувствия.

— Э-э, брат, да ты, чаво, в сам-деле не знаешь?

— Откуда же мне знать? Ведь больше двух месяцев отсутствовал! Ну заходите, заходите, — принялся настойчиво их приглашать.

Становилось понятным поведение Мимишки, его нежелание пообщаться и, вообще, его отчаянная мечта об Астрахани, о далеком, но счастливом солдатском прошлом, где встретилась первая женщина, возможно, и единственная по-настоящему любимая.

— Да мы поприветствовать, — несколько смутился Родин, — и, значит, того... посчитаться. Стыдно от долгов-то зенки прятать.

— Ладно, Александр Иванович, будем живы — не помрем.

— Это точно. Ну, нам тоже приятно тебя повидать. Тогда — принимай гостей.

— Так что же с Колькой? — торопился узнать я.

— А-а, погиб он, — вздохнул Родин. — Но ты погоди, потом доложим.

Они выставили на стол две бутылки водки, вытащив каждый свою из-за пояса штанов.

— Вот наш должок. А больше, стало быть, нету, — говорил Родин. — Угостишь — не откажемся. И Кольку помянем. А то, в сам-деле, выпить хотца. — И неожиданно загоготал — простужено, прокурено, скрипуче, посверкивая в прищуре синевой глаз. Мне показалось, что нет у него никакого сожаления по поводу Колькиной смерти.

— Ну ты даешь, Санька! — засмутился Половинкин.

— Молчи, Скрыпка! Хозяин сам решит: угостить нас или на дверь указать.

— Ну ты хитёр! Сам же сказал: надо долг вернуть, чтобы зенки не прятать. Вот и выставляй тогда свою.

— И выставлю! Но ты, Скрыпка, перестань мне на нервах играть!

— Любишь ты, Санька, дурачком прикидываться. На дармовщину — всегда горазд.

— Ну и что? Я выпить завсегда люблю. Это правда. А раз так, то деньгами счас отсчитаю.

— Ну давай, давай! Мы посмотрим, — подначивал, тоненько засмеявшись, Половинкин.

— Ох, Скрыпка! Лучше бы ты балалайкой был, туда тебя в задницу, — разозлился Родин. — Разве не ты ныл: еще бы добавить? А? Ну говори!

— Так не за чужой же счет!

— Ага! А я, что, за чужой собираюсь? — и он полез в штанину за деньгами.

— Да успокойтесь вы! — повелительно вмешался я. Меня поражало их равнодушие к смерти Кольки, будто эта трагедия и внимания особого не стоит. — Раз уж бутылки мои, — сказал твердо, — то сам и распоряджусь. Тем более, надо помянуть Николая. Кроме того, как никак праздник сегодня — красное знаменное Октябрь. Садитесь!

— Однако как-то неудобно, — вякнул стеснительный Половинкин.

— Неудобно, — опять неуместно загоготал главный плотницкий умелец Родин, — знаешь, где? На потолке! А почему? Догадываешься?

— Знаю, знаю.

— То-то. Г... в рот попадает!

— Кончай, Санька! Нехорошо, — возмутился брезгливо Половинкин.

— Ну ладно, ладно, кончаю, — наконец унялся тот.

Я не останавливал их, потому что давно знаю — будет еще хуже, если я, как арбитр, вмешаюсь в их перепалку. Они-то разомнутся, уличая и оскорбляя друг друга, казалось бы, «в усмерть», и вдруг успокоятся — как ни в чем ни бывало! А если я встряну, то тут уж они разойдутся, начнут поливать друг дружку чуть ли не до седьмого колена. В то же время — не разлей вода! Дня порознь не могут — еще с детства, даже в армии умудрились служить в одной роте, а вернувшись, женились на сестрах, ну и, ясное дело, навсегда породнились. Однако бесконечно не то ссорятся, не то ругаются, не то считаются — никто ничего не поймет! Особенно когда крепко выпьют. Были случаи — за топоры хватались!

Случилось такое и однажды при мне, меня прямо-таки в ледяной пот бросило. Заводить, как обычно, начинает Родин, а вот за топор хватается Половинкин, он чувствителен, натура у него ранимая, не только стеснителен по-девичьи, но по-девичьи и обидчив, а потому теряет голову. Родин же — этот груб, нахрапист, всё ему ни по чем, — и ничто не останавливает!

Вот и тогда, уж не помню и причину смертельной обиды Половинкина, но он надрывно взвизгнул, лысина побагровела и — топор занесен над головой. Наточен — как бритва! «Голову снесу!» — визжит. Сухожилый Родин еще и поддразнивает — корявые руки за спину, и шею струной вытянул: «Ну, на! На! Вдарь!» — «И вдарю! Под корень!» — «Врешь! Кишка тонка! — «Замолкни, Санька! Сорвусь!» А тот гоготать ему в лицо: «Ага, струсил! Ну, вдарь, вдарь! Боишься?..»

Тут я вырвал топор у Половинкина, а он и не сопротивлялся... Уже через минуту они вполне мирно обсуждали, почему Половинкин струсил вдарить, то есть отсечь Родину его дурную башку. Мол, буду я из-за тебя, подлеца, говорил остывший Анд-

рей Николаевич, по тюрьмам мыкаться — с урками да всякой шпаной. Однако бесстрашный Родин не унимался, бесшабашно досаждал того: мол, трус ты, Скрыпка. Мол, ты бы и смычком не ударил, потому что знаешь мой кулак. «Ты вдарь, вдарь! — дразнил, — тогда и докажешь, что смелый...» И так — до бесконечности!

Но в делах плотницких они не то что бы дополняли друг друга, а были как бы единое, нераздельное целое. Если грубый «Санька» любил грубую работу — тесать бревна, вырубать чашки, складывать сруб, таскать лесины наверх, более того, любил вертеться на верхотуре, повиснув, как скалолаз, упорядочивая, подгоняя стропила, а потом и на крыше гордым кочетом высиживать, каждый миг рискуя соскользнуть, свалиться, переломать руки-ноги — и такое с ним случалось, так «Андрей-скрыпка» уважал тонкую, безопасную работу: связать оконные рамы — тщательно выстругать, отшлифовать; сотворить филеночные двери или там еще что-то искусное — наличники, замысловатую резьбу, — рамочки, шкафчики, столы, стулья, в общем, любил столярную работу. И если один был истинным плотником, строителем, работал прежде всего топором — даже разметочный карандаш им же зачищал, да так, что никаким другим инструментом лучше не сделаешь, то другой прежде всего работал стамеской, рубанком, фигурными инструментами: что ж, оно тонкое, столярное-то ремесло! В этом и была их нераздельность — и мастеровая, и человеческая, хотя и ссорились, ругались бесконечно (выходит, по-семейному — как муж с женой или наоборот), хотя и оскорбляли друг друга, нанося, казалось бы, смертельные обиды, хотя и личные интересы и вкусы диаметрально разнились, а, надо же, по жизни — не разлей вода!

Ну и понятно, что чувствительно-обидчивого Андрея Николаевича Половинкина прозвал Скрыпкой грубый и нарочито бестактный Санька Родин, Александр Иванович. Тут целая история: подростком в военную пору Андрейка Половинкин был единственным из беспризорной пацанвы, которого взяли в инвалидную артель и почти на равных оплачивали. Занималась артель скрупулезной работой — изготовлением балалаек. Ну, естественно, дружок атаманистый Санька Родин иззавидовался в усмерть и, чтобы унижить приятеля, стал дразнить его Скрипкой (да не Скрыпкой, а

с «ы» — Скрыпкой) — самым обидным, городским прозвищем: мол, пай-мальчик, подлизунчик. До горчайших слез доводил впечатлительного Андрейку, и, надо же, на всю жизнь прилепилось.

Вот такие они были главные тульменские строители, плотник и столяр, возведшие в сравнительно короткий срок хозяйственные постройки и крепостной забор вокруг каменного особняка новой богатейки — Зинаиды Павловны Дудахиной.

XIV

Мы осушили по поминальному граненому стаканчику. Старики с удовольствием откусывали на поднятых вилках кружочки вареной колбасы.

— Неужто не в курсе? — вновь удивился Александр Иванович Родин, увлеченно шамкая полубеззубым ртом. — Счас, погоди, дай разжувать — и расскажем.

Гожу: что ж, по нынешним временам ненужных смертей случается слишком много. Однако не предполагал я, что «стройка века», как окрестили ее на улице, закончится Колькиной трагедией. Прошлые мои дурные предчувствия были все-таки связаны с тем, что Тюкаркин попадет на левых рейсах с пиломатериалами. Вероятно, думал я, его осудят и опять отправят «за колючку», а царствовать в хоромах будет мать...

— Так ты, чаво ж, не знаешь, что Кольку убили? — произнес небрежно Родин, дошамкивая колбасу.

— Еще в сентябре, — вздохнул Половинкин.

— Как же так? Погиб или убили? — вырвалось у меня.

— А-а, эта курва во всем виновата... — ругнулся старый плотник.

— Это она надоумила его не делиться с этими... Ну как их? А, с рэкетирами! — вставил Половинкин.

— Два раза удалось, а на третий они его пришили, — вздохнул Родин. — Видно, сопротивлялся, и они взъярились... Тридцать восемь ножевых ран, представляешь? И в грудь, и в спину, а он еще живой был... Так живым и закопали.

— Только через неделю нашли. Грибники, случайно. Он, как живой, в гробе лежал, — вздыхал и Андрей Николаевич.

— А машину в овраг сбросили. Так местные гады всю по

частям растащили. Один остов остался.

— Даже Ужищев плакал на поминках, — заметил Половинкин. — «Зачем он так? Зачем? Я же говорил: отдавай!» А Пистолетиха сначала порыдала, но никто ей не посочувствовал, а потом...

— Ага, потом даже слезинки не проронила, — вставил Родин.

— Чаво ж ей плакать? Хоромы теперь ее!

— Ужасная история, — произнес я.

— Куда хуже! — в один голос воскликнули оба, и Родин продолжал — сердито, непрощающе: — От жадности всё! Надясь, после Казанской, на Дмитровскую поминальную субботу, на кладбище, значит... Так вот... Теперь сызнова по-церковному живем, коммунизм похерили, а ты — ноябрьские, краснознаменные... Как же, праздники они теперь! — И зло проклокотал хриплым смешком. — Так вот, орала на рыдающего Мимишку, на этого светлячка блажного: «Заткнись! В дурдом засажу!» И засадит, как пить дать. Мне один сказывал, он по белой горячке сподобился, так вот: она уже туда наведалась, к самому главврачу. С заявлением: мол, с ума братец спятил. От переживу. Забирайте его! Понял?

— А семью Колькину, — поддакивал Половинкин, — близко к дому не подпускает. Во всем обвиняет: мол, это они его надумили.

— Врет, курва! — вспыхнул Родин.

— Обожди, Санька, не перебивай...

— Чаво это мне тебя ждать? Не велика честь...

— Да погоди, я объясню...

Но нет, Санька Родин завсегда должен был над Андреем-скрыпкой верх держать!

— Чё, я сам не могу? — и посмотрел на того злобно, как на врага. — Так вот, значит, поясню... Мимишку, светлячка блажного, она точно изничтожит. Принес он ей Колькины деньги. Тот у него на Понизовке, ну, в монастырской избенке, где он теперь живет, втихаря держал. На выпивку в основном. Так, понимаешь ли ты, в воровстве обвинила! Он, значит, принес — и вор! Участковому Гульбину заявление настрочила. Понял? На брата-то родного!

— Это точно! — взволнованно подтвердил и Половинкин, не обидевшись на этот раз нисколько на злобный выпад друга. — А в Дуниной избенке, или там монастырской, ему не перезимовать. Никак нельзя! Там отовсюду дует, и печь развалилась. Мы прикинули...

— Мы, мы! — опять грубо перебил Родин. — Мы пахали... Я говорю ему: езжай в Рязань, к сестрам. Не прогонят! Они другие, не то что Пистолетиха.

— Это точно! — тут же согласился Андрей Николаевич. — Мы ему деньжатами сбросились. На билет и там чего еще. Надо же, за пастьбу ни копейки не заплатила! А ведь он ей целый сезон коз пас. Нету, говорит, у меня. Мол, по-родственному не положено. Уезжать ему надо. Злая нынче Зинка, ох, злая! И мстительная! На всех, как стерва, кидается.

— Ага, волчица! — мрачно подтвердил Александр Иванович. — Давайте Кольку еще разок помянем. Хоть и с дурью в башке был, но порядочный. Чего не попросишь, никогда не откажет! Так и говорил: «Тебе, дядь Сань, завсегда дам». И вот убили... — Грубый Родин навзрыд всхлипнул, смахнул слезы. — Ох, жизнь пошла, едрена феня! По волчьим законам. Разве можно было в такое поверить? Я спрашиваю... — всхлипывал. — Я спрашиваю, ё... те-те-та?

— Успокойся, Саня, не надрывай сердце, — жалостливо попросил Андрей Николаевич.

Мы еще раз выпили, не чокаясь, опустошив граненные поминальные стаканчики до дна.

XV

На утро куда только и подевалась суконная хмарь! Ночью выпал снег, и кипенная пороша, словно скатерть бела, весь свет одела. Небо поднялось, и серебряный диск солнца весело и упорно плавил истончившуюся облачную пелену.

Захотелось прогуляться. По легкому морозцу отправился к озеру. Оно застыло гляцевитой чернью в крахмальных берегах. Мои шаги мягко вдавливались в сыроватый снежок, оставляя идеальные отпечатки.

Кто-то уже прошествовал по дороге в Прыгово — не то торо-

пливый подросток, не то молодайка. Странно, на половине прыговского пути у овражного разлома, называемого Волчьим урочищем, узкого и глубокого, как горное ущелье, скоро бегущие отпечатки резиновых сапожек удалялись в лесную чащобу по обрывистому краю. Любое преследование завораживает, и я подсознательно направился по пунктиру подошв, давя их своей больше-размерной, тяжелой поступью.

Прошел с полтора километра — до самого конца урочища, где оно резко поднималось и выравнивалось с плоским редколесьем, известным как Гнилое болото. Болото это славилось длинноногими подосиновиками, хоронящимися в высокой осоке, и черными груздями на мшистых плешинах. Однако мало кто отчаялся сюда забредать, особенно в одиночку. Причем в любое время года! Потому что все знали: за Гнилым болотом хоронятся волки. Там их норы и лежбища. Чащобы там первобытно глухие, почти нехоженые, и тянутся не менее чем на двадцать километров до лесоповала на речушке Глушица.

Кто же так смело, так беззаботно, думалось мне, отчаялся отправиться в самую что ни на есть волчью пору в эти всегда пугающие места? Вдруг я остолбенел: квадратики человеческих отпечатков пересекал разлапистый волчий след, — меж мягких ямочек с острыми царапинами когтей тянулась легкая полоса от пушистого хвоста.

Я замер, испуганно оглядывался. Меня потрясло, что человеческий след без каких-либо колебаний тут же приравнялся к волчьему. Аккуратные квадратики тянулись параллельно звериным стопам.

Стыдно, конечно, признаваться в безволии, в душевном параличе, в том, что называется животный страх. Но, переведя дух, я беспamięтно побежал. Оглядывался назад то и дело — нет ли погони, и в этом безумии страха, можно сказать, долетел до прыговской дороги, и летел дальше, вдоль равнодушно застывшего чернильного озера, пока наконец не выскочил к крайним избам Тульмы.

Там я, казалось бы, взял себя в руки, сумел подавить, нет, не страх, а панический ужас, но вот с нервической дрожью ничего поделать не мог. И хотя опасность миновала, меня тряс ледяной колотун, я не в силах был двигаться дальше, а потому присел на

оказавшуюся рядом скамеечку под пляжным грибок.

Сушая несуразица лезла в голову. Например, о Василисе-премудрой, мчащейся быстрее ветра на сером волке... Эта сказочная молодайка, теперь я в этом не сомневался, непременно была ведьмой, но крайней мере, колдуньей. Вспомнилось и об упырях, вурдалаках, сосущих человечесью кровь. Они, по преданиям, объявлялись в деревнях в облике парней-женишков и творили свое жуткое дело...

Эдакая чертовщина вылезала из глубин подсознания, и что странно — не вызывала сомнений. Конечно, я сердился на себя: ведь по собственной же воле отправился в Волчье урочище. Туда, где теперь, в наступившие сумерки года, сбиваются волчьи стаи.

Никак не мог понять своего умопомешательства, однако завораживающая тайна все-таки влекла: ведь кто-то все-таки без малейших колебаний прошествовал в волчье логово!

Опять в подсознании всполыхивали неведомые раньше знания, например, о волчьих оборотнях, или о том, что волки отлично понимают человеческий язык... Вообще, о тотемическом прошлом человечества, связанным с волчьим культом, ведь неслучайно до сих пор у малых северных народов шаманы являются на круг обязательно в волчьих шкурах... И еще о чем-то совершенно немислимом, пугающем... О той притягательно-враждебной неразделимости человека именно с этим зверем. Как в жизни, так и в мифологии — за всю памятную историю.

XVI

В тот день к вечеру, уже успокоившись, придя в себя, я решил навестить Мимишку. Пожалуй, теперь, как никогда раньше, понимал, что с ним произошло в ту далекую пору. Безусловно, мне хотелось всколыхнуть его память — поговорить о волках, но я не был уверен, что следует это делать. Во-первых, зная о его нынешних печальных обстоятельствах, а во-вторых, — и это, пожалуй, главное, — страшась, что, воскресив стертую память, могу вновь, ну что ли, сломать его сознание.

В сомнении остановился на Понизовской улице, или на Понизовской дороге, падающей с Поповой горы к Колотовке и бегущей дальше, по речной луговине, к мосту через Тульмень в

центре поселка. Тульменская луговина когда-то была знаменита молодежными игрищами. Но времена те давно канули в Лету, разбежались-разлетелись девки с парнями по городам и весям, и ныне тут разве коз пасут да иногда мелкота футбольный мяч погоняет.

На заливной луговине в старину никогда не селились,— в весеннее половодье дома, подобно лодкам, могло унести в Оку. Но в годы сталинского разгрома русского крестьянства первыми кулаками, как известно, объявлялись мельники, и они тут же попадали в гонимую категорию «врагов народа», без долгих разборок отправлялись мыкать горе-злосчастье на необжитые российские окраины.

Мельницу на Колотовке еще тогда, в 1929-м, растащили: до завалившегося гнилого бревна, до последней железки; запруду спустили, обнажившиеся родники, а их тут бурлило десятка два, отчего вода на Колотовке была хрустально прозрачной, и многие ее даже для питья брали, так вот, родники иссякли, а сама Тульмень как-то сникла, уменьшилась — и сузилась, и обмелела — и при таянии даже больших снегов уже не выплескивалась из берегов, а по жаркому лету, вообще, превращалась в ручей.

Первая крошечная избушка в два окошка появилась на Понизовской улице в ту пылающую классово-ненавистью эпоху: ее с Божьей помощью соорудил бесприютный, гонимый монах. Власти, рьяно враждебные к религии, однако, выделили белобородому страннику две сотки на сырой луговине у подножия крутояра, на котором нарядно красовалась наша Нагорная улица, да и только потому, что у божьего странника имелось предписание свыше. Выделили с издевкой, на потеху: мол, по весне уплывет старичок в своей избенке далеко-далеко, *где кочуют туманы*, и все в Тульме быстро забудут о его нежелательном явлении. Но! Как рассказывают, именно с того года и перестала половодить Тульмень.

После войны к древнему старичку-монаху прибыли восемь монахинь-переселенок из бывшего Свято-Дивеевского женского монастыря, основанного проникновенным молитвенником о Земле Русской преподобным Серафимом Саровским. Тогда вокруг славного города Арзамаса происходила большая зачистка, — создавался ядерный центр, и всех неугодных людишек, социально-

вредных, рассылали куда попадя. Так вот и оказались в тульменской глухомани восемь божьих угодниц. Хотя и давно был закрыт монастырь — еще в жесточайшие ленинские гонения, но Саровские монашки не разъезжались, ютились рядом с поруганными стенами, надеясь, верно, на чудо. Но при Сталине чудес не бывало.

Утверждают, что одна из них была фрейлиной — при царском дворе, в Петербурге. Но многие в этом сомневаются, доказывают, что, если бы так, то еще в 1917-м её прихлопнули бы. Однако достоверно известно, что была среди них сравнительно не старая, лет пятидесяти, монашка, причем на редкость красивая. О ней говорили: «Красивая — как лотос!» — с лицом классически правильным, бледным, будто беломраморным, и стройная, словно тростиночка. Когда в лагерь на Светлом озере привезли пленных итальянцев, то выяснилось, что она свободно владеет несколькими иностранными языками, в частности — итальянским. Лагерное начальство присылало за ней пролетные дрожки с офицером и конвойным, и она в лагере переводила — не то на допросах, не то для разъяснений.

Так или иначе, но после этого местные держиморды присмилели, перестали на блаженных угодниц срамные гонения устраивать, выпендриваясь своей неограниченной властью. Начальники-то лагерные, они ведь птицы поважнее, другого полета — орлиного! Тут уж лучше в сторонке держаться.

На плане поселка три монашеских избышки хоть и назывались Понизовской улицей, а так, по-простому, именовались — Монашье подворье, или Понизовские выселки. В конце 1950-х умер первый поселенец, благообразный старичок-монах, а вскоре шесть Саровских угодниц, и как-то они все вместе, чуть ли не в один год преставились. Остались только две: светлоликая фрейлина и горбатая старуха, бывшая всегда при ней.

В хрущевскую оттепель, как известно, повсюду лагеря ликвидировали, но вот на церковь по второму, а то и третьему кругу начались особо лютые гонения. Хрущев с трибун партийных съездов внушал, что мы вплотную к коммунизму приблизились, а там религии ни-ни — молись Марксу да Партии. Кстати, он обещал самолично последнего русского попа всему свету представить.

Даже в Тульме попытались храм Божий прикрыть. Но начался, можно сказать, бунт верующих — толпами в Крестовоздвиженской церкви собирались! Местных выпендрешников уняли, так в отместку они заставили хоронить опочившего старичка-монаха на заброшенном Холерном кладбище. Туда же и шестерых монахинь снесли. Утверждают, их мышьяком отравили — тогдашние начальники люто мстили, но в точности никто не знает, зато твердо помнят, отчего они свирепствовали: оказывается, отсталый тульменский народец помешал им победно отрапортовать, и, может быть, самому Хрущеву, мол, в мещерской глуши с религией покончено.

Фрейлина же с горбуньей вскоре куда-то исчезли. Говорят, уехали во Францию, где обосновался единокровный брат фрейлины, бывший белогвардейский полковник, и вот в либеральную хрущевскую оттепель наконец-то сумел туда вытянуть сестру вместе с верной горбуньей...

Заброшенное же с царских времен Холерное кладбище после того, как там похоронили благообразного монаха с божьими страданиями, прямо-таки воскресло: среди едва заметных холмиков с замшелыми надгробными камнями столетней данности, будто живыми распятиями, возвысились семь деревянных крестов, и на каждую Пасху заботами отца Серафима и всего церковного прихода молитвенно подновляются...

Удивительно все это! Большевицкие вожди и их сатрапы пытались с религией покончить навсегда, да так, чтобы и одиного попа не осталось, а получилось наоборот: обвалью рухнула безбожная коммунистическая система, и Россия в одночасье вернулась к тысячелетней вере, к Православию. Нет, не случайно в веках звалась Святой Русью!

Три ветхих избенки после исчезновения праведника и праведниц обрели совсем другую судьбу. Селились в них, перешедших к поссовету, возвращавшиеся из заключения урки — из самых отпетых, долгосрочных. Но и они с приходом перестроенного окаянства поисчезали из развалюх. По новым грабительским временам в люди повыходили — заважничали!

Пожалуй, года три Понизовские выселки, — а теперь уже никто их не поминал как Монашьи дворы, — стояли с заколоченными окнами пока в одну из изб не сунули спятившую с ума,

всеми брошенную бабку Дуню. Ту в Тульме дразнили: «Дуня-продуня, покажи срам!» Ну и сумасшедшая старуха давай махать юбкой: «А смотрите, голубки, приходите, голубки!» — и далее с похабными прибаутками. Вскоре пьяные потешники жениха ей привели, старого дурачка Ильюшу. Тут уж пришлось посовету вмешаться, участковому Гульбину, и определять бабку Дуню в сумасшедший дом, а заодно и Ильюшу.

Однако до этого все-таки отремонтировали избушку монаха, обустроили. Все-таки бабка Дуня, Евдокия Васильевна Кротова, была известным в Тульме человеком — сорок лет на почте отработала, а спятила после того, как мужа похоронила, а вскоре и непутевого пьянчужку-сына, который умер, опившись самогону, ею же и приготовленного. Уж никто и не знает, каким образом потерявшая разум старуха подпалила собственную избу... И вот так погорелица оказалась на Понизовских выселках...

Вообще, Понизовские выселки в Тульме — понятие отчаянного падения, крайнего неблагополучия. Тут, например, так говорят: «До чего же нас Ельцин довел? Хоть в Понизовские выселки переселяйся!» Или: «На Понизовской дороге останутся наши ноги». Или вот так еще: «На Монашьи дворы в Понизовские выселки мы всегда успеем». То есть в отверженное одиночество, в беспросветную бедность.

Теперь, думаю, понятно, в каком трагическом положении оказался Мимишка, Пал Палыч Дудахин, по недоброй воле своей старшей сестры Зинаиды Павловны — в монашеской, в Дуниной избушке, опять пришедшей в негодность. Потому-то и возмечтал убежать в Астрахань, в свое прошлое, где когда-то служилось ему счастливо во солдатах. Нет у него больше медведя-заступника Коль Колича, нет и незабвенной мамани, а осталась злая, жадная Пистолетика, которая замыслила его пустить по проторенной Дуниной тропке — заточить в дурдом, избавиться навсегда.

... Я стоял на валу Колотовки в раздумьях и сомнениях. Отсюда открывался распахнутый вид на всю округу, — на крутояре дымили трубами крепкие избы вполне благополучной Нагорной улицы, по крайней мере, так воспринималось со стороны. Среди этой бревенчатой тверди казался заезжим пижоном, стилигой-фраером каменный двухэтажный, особняк, построенный на неправедные деньги Николая Тюкаркина, — в вычурном домо-

рощенном стиле с венецианскими арками и пилястрами, с островерхой, гофрированной крышей. Рядом за высоким забором крепостной неприступностью вытянулось подворье с громадной баней, над коей потрудились Саня-плотник и Андрей-скрипка. Богатство!.. достаток!.. торжество житейских утех! Все удалось Пистолетихе, Зинаиде Павловне Дудахиной, — живи и радуйся!

А вокруг умиротворенно дремала зимняя сказка: червлёный закат на разведлившемся небе, бледные, зеленоватые снега с калино-рдянными отсветами и серовато-белые, кудельные столбы дыма. И даже три понизовские развалюхи, в одной из которых от отчаяния сходил с ума блажной человек, сверчок-сочинитель Мимишка, воспринимались своей угольной чернью не менее поэтично, чем богато-крепостные, краснокирпичные хоромы.

Наконец-то и для меня все прояснилось: должен я посочувствовать Мимишке, дать ему денег, как сделали старые плотники, и посоветовать не в Астрахань стремиться, а сесть на рейсовый автобус и отправиться в Рязань, где живут его две неразлучные сестрицы — разве не дрогнут их сердца?.. разве не захотят спасти брата, попавшего в невыносимое положение?

XVII

Первое, что я увидел за глухим покосившимся забором на крошечном Монашьем подворье, это отпечатки резиновых сапог на крахмальном снегу — те же самые! Обалдело, неверяще вглядывался — да, те же самые... Именно эти квадратики пунктиром тянулись вдоль озера, по обрыву Волчьего урочища, а потом сопровождали мягкий, круглястый след.

Исподволь меня охватывал нутряной, холодящий ужас: войду в избенку, а там... Кто там в гостях? Турман-голубок?!

«Ох, не накликать бы беду! — суеверно убеждал себя. — Но нет же, — говорил, успокаиваясь, — нет же волчьих-то следов! Только Мимишкины... Значит, один он, один!»

Скошенная входная дверь скрипнула, обнажив кромешную тьму сеней, но тут же матово, туманно посерело, и обозначилась обитая войлоком дверь. Я потянул ее, и она легко поддалась. Шагнул вовнутрь: там было сумеречно и мёрзло, холоднее, чем на улице; подумав, зажег свет.

Всего несколько вещей размещалось в малом пространстве: стол, кровать да сундук. Если, конечно, не считать двух табуреток, полку с посудой и резной киот, на котором стояла в застекленной темной рамке типографская бумажная икона Серафима Саровского, кормящего с руки медведя. Между прочим, эту святую картинку здесь, на сотни лесных верст вокруг, встретишь в любой деревне, — почти в каждой русской избе!

Печь-голландка до самого потолка неровно делила комнату. Выглядела она удручающе: с отлетевшей штукатуркой, со щелями меж обнажившихся кирпичей.

«Как же так? — подумал осуждающе. — Отчего же ленится хотя бы обмазать ее глиной? Впрочем, где же сам-то?..»

— Кто-нибудь есть? — на всякий случай громко спросил я. Ответа не последовало. Решил, было, уходить, но привлек ералаш на столе: две консервные банки из-под «кильки в томате», яичная скорлупа, увядшие доли репчатого лука, зачерствелые куски черного хлеба и три горочки сухой картофельной шелухи вокруг закопченной, помятой алюминиевой кастрюли, — и две пустые бутылки. Догадался: остатки вчерашнего пиршества, устроенного стариками-плотниками. Резануло сознание: неужели Мимишка самоубийственно направился в волчье логово?! Неужели его уже нет в живых?..

Я перекрестился на икону, и попросил чудотворца Серафима Саровского дать ответ: или спасительный, или ужасный... То есть: жив или мертв Мимишка? Приблизился к киоту, вплотную к самой иконе; принялся шептать «Отче наш», другие молитвы и неотрывно вглядывался в святую картинку.

Преподобный сидел на поваленном бревне на поляне с тремя березами — в светлом армяке, подпоясанным кушаком, в лаптях, в круглой шапке, над которой сиял нимб, и протягивал огромному когтистому медведю кусок аппетитного житника. Лицо Преподобного было по-крестьянски простым — в седых космах и с аккуратно подстриженной бородой; в его взоре ощущалось столько спокойствия и мудрости, столько проникновенной убежденности, — и такая была благодарная покорность в громадном звере, что — диво дивное!

На заднем плане картинке-иконки возвышались вековые ели, голубело чистое небо в золотистом сиянии солнца и видне-

лась скромная избушка точь-в-точь, как та, в которой я теперь находился. А сам Преподобный воспринимался настолько понятным — доступным! близким! — настолько р о д н ы м , словно он — и мой далекий предок!

Да разве только мой? Всех нас, русских людей, думал я. И неведомого монаха, поселившегося здесь, на тульменской луговине, самолично построившего эту избушку наподобие Серафимовой; и блажного светлячка-сочинителя Мимишки; и угрюмых, разбойных урок; и выжившей из ума бабки Дуни... Всех! Достойных и недостойных, грешных и праведных, умных и глупых, — всех р у с с к и х людей.

Вот она, говорил я себе, извечная Русь, соединившаяся в этой малой избушке, — и языческая, природная; и воспарившая в небеса, к тайнам божественной сути. И там, в недоступных высях, в запредельных далях именно этот святой, как никто другой, предстоит пред Престолом Божьим, молитвенно испрашивая прощения и покаяния для всех нас, неразумных отступников с праведного пути — пред самим Господом!

Я взял икону и прикоснулся к ней в том месте, где изображена рука дающая, и, кажется, вслух спросил: жив ли Мимишка? И сразу как бы почувствовал облегчение: жив! Правда, что-то печальное почудилось мне во взоре Преподобного, но — мельком, летуче. Я все же повторил вопрос: жив ли? И убедительнее ощутил, что жив, жив Павлуша Дудахин!

Я достал носовой платок, протер иконное стекло и обнаружил на типографских закраинах: «Дозв. дух. ценз. Москва. Апр. 1907 г. Цензоръ Протоірей А. Смирновъ». И сбоку, наполовину стертые: «... Ильинского скита...»

Видимо, эта скромная икона — наследие старика-монаха, другие, более ценные — на досках, в окладах — забрали в Крестовоздвиженскую церковь, а эту печатную картинку оставили на месте. Меня удивила сохранившаяся свежесть красок, хотя... сколько же лет прошло? О, Господи, почти целый век... Сколько же событий, войн и революций, отгремело, а истина жизни человеческой неизменна: с п а с и и с о х р а н и — себя, родину, природу... Не допусти поругания — ни рода своего, ни земли своей, ни братьев меньших. Такое возможно только в любви... Только в любви! Как сыном Божьим заповедано.

Подумалось, сколько же разных людей — и по возрасту и по положению — молитвенно умилялись столь простому, но неизбывному сюжету: связи человека с природой — с растениями, животными... А что же духовный цензор, протоиерей А. Смирнов, давший жизнь этой иконе? Его судьба, наверное, была трагической после того, как восторжествовали безбожные большевики, — или расстреляли, или в ГУЛАГе сгноили... Иконописный портрет святого Серафима с медведем обрел с тех давних пор вечное существование — и в огне не сгорел, и водами не унесен, и бесовской силе не подвластным оказался... Вот оно как — со святостью, с истинной верой Христовой!

Я еще раз взглянул на образ преподобного Серафима Саровского и невольно коснулся иконы губами. И вдруг почувствовал, что мне стыдно, что я не один, а кто-то со стороны, будто насмешливо за мной наблюдает. Я оглянулся и замер. В углу за печкой притаился на корточках Мимишка — в засаленной стеганке, подпоясанной солдатским ремнем, в шерстяной шапочке с белой полоской и в тех самых резиновых сапожках кофейного цвета... Да, тех самых!

XVIII

Мимишка недружелюбно выпалил:

— Зачем пришел? Кто тебя звал? Езжай в свою Москву!

— Ты это с чего на меня озлобился? — недоуменно спросил я.

— А того... Все вы убивцы! Там, в вашей Москве!

— Ты что, с ума спятил?!

— Во, во! — мрачно подхватил он. — И Зинка мне талдычит: с ума спятил!

И вдруг заплакал. Вытирал тыльной стороной ладони слезы, размазывая; всхлипывал — совсем по-детски. Но так же сразу и успокоился: отщипнул мякиш от полубуханки черного хлеба, которую держал в руках, сунул в рот и, отвернувшись обидчиво в сторону, принялся жевать.

Я присел на табурет, не зная, как с ним разговаривать. Осторожно, с мягкой настойчивостью начал:

— Мой совет тебе, Пал Палыч, поезжай-ка ты к сестрам.

Завтра и поезжай.

— Не, я им не нужен, — отрезал сразу. Добавил неуверенно, в какой-то тоскливой мечтательности: — В Астрахань я поплыву.

— Зачем? Кому ты там нужен?

— А вот поплыву! На пароходе, — заупрямился он. — Там тепло. Город большущий, работать устроюсь.

— Разве Рязань маленькая? Однако у тебя там две заступницы.

— Какие они заступницы?! Тогда-сегды писал, а они мне: не имеем возможностей. — И опять синева глаз заблестела слезами. — Ну, скажи ты мне, в чем я виноватый? В чем?! Разве и мне туда же? Петлю на шею и на релью?

— Зачем ты об этом думаешь?

— А отчего не думать-то? Занурило меня так, что ты и не представляешь. Такая назола на душе. Никогда я Зинке не прощу. Никогда! Повсюду оскорбляет, грозитя в дурдом засадить. А за что? Скажи мне: за что?!

И вновь горькие слезы побежали по его маленькому личику.

Я не знал ни что сказать, ни что предпринять. Только и настаивал:

— Ты все-таки в Рязань поезжай. Сестры ведь не представляют твоих обстоятельств.

Он насупился, как-то сразу оборвав слезную горечь.

— Сам решу, понял? Не лезь в мою жизнь. Я такое надумал, та-коо-е, что все они перепугаются.

— Ну, скажи — что?

— В Астрахань подамся — вот! — И он показал мне язык, как делают обиженные, рассерженные дети.

— Глупо это, Пал Палыч, глупо, — уговаривал я. — Пойдем-ка ко мне, чайку попьем, поговорим, а?

— Не, не могу. Потому что жду.

— Кого же ты ждешь?

— А этого тебе знать не надобно. Я такое, та-коо-е им устрою, что на всю жисть запомнят, — опять пригрозил неопределенно.

Невероятная догадка, как иголкой, кольнула сознание и ледяным холодком пробежала от затылка до пяток.

— Ты зачем, скажи мне, в Волчье урочище ходил?

— Ага! — встрепенулся он и даже приподнялся. — Это, значит, ты преследовал меня? А я-то думал!

— Да, понимаешь, пошел побродить по первому снежку, ну и увлекся твоим следом. Честное слово, без всякого умысла, — сказал я оправдательно.

Язвительная усмешечка исказила его личико:

— Однако, чаво ж испужался-то?

— Как не испугаться, когда наткнулся на волчий след?! А ты, — и я запнулся, — ты-то с волком повстречался?.. Или все-таки опомнился? Вернулся?

— А зачем тебе знать?

— Да любопытно.

Он опустил голову и вновь принялся сосредоточенно выковыривать мякиш из полубуханки.

— Неужели сам в пасть полез? — нервически посмеялся я. Он не отвечал. — Послушай, Пал Палыч, что с тобой происходит? Ты, что, смерти ищешь?

— Может быть, и ищу, — жуя мякиш, прошамкал он. — Тебе-то что?

— Однако послушай...

— Уходи, господин хороший, — проглотив мякиш, повелительно проговорил он. — Потому что сумеречно. Ко мне гости вскорости. — И усмехнулся с превосходством, язвительно — совершенно ему несвойственно. Будто бесенок в него вселился.

— Неужели волков в гости ждешь? — вырвалось у меня, и я вновь ощутил леденящий холодок.

— Может и волков, кхи, кхи... — похихикал Мимишка. — Боишься? Рында роет, Скинда скачет, Турман едет — съест тебя! Отгадай загадку, ну?

— Ты же мне ее загадывал. Я ведь знаю ответ.

— Ага, Турмана жду, — веселился Мимишка. — Испужался?

— Этого быть не может! Ты что, с ним встречался? Это он к тебе катит? — нарочито развеселился и я, как бы включаясь в Мимишкин розыгрыш, хотя и подчеркивая свое убежденное неверие.

Однако, говоря честно, испытывал совершенно противоположные чувства: а ведь, в самом деле, матерый Турман едет! И,

пожалуй, не один, а всей стаей... Мне хотелось побыстрее исчезнуть из этой ледяной избушки, чтобы не неволить судьбу. Насильственно посмеиваясь, сказал:

— Нет, не верю. Если бы ты с Турманом встречался, он бы тебя съел.

Мимишка неожиданно обиделся.

— Ты не знаешь, какие волки умные. Они все понимают. Особливо старые, как Турман. Он так на тебя посмотрит, что тут же поймешь, хоть и не умеет сказать по-человечески. Он, того, мысль внушает. Ага. Вот увидел бы ты Турмана, сразу бы согласился.

— Никакого желания, Пал Палыч. А ты действительно его видел?

— Дважды. Первый раз еще в августе, — разоткровенничался Мимишка. Видно, давно ему хотелось кому-то поведать об этой своей тайне. — А как было? В урочище-то орешник, а я там недалеко коз пас. Ну вот, гну лозины, хрустаю. Представляешь, там ложбина, как туннель, а напротив — крутое взгорье, и сосны по склону, как свечи торчат, а корневища у них наполовину вспучены. Я глядь, а под одним из них волчище дремлет. Старый, с седой мордой. Пасть от жары разворотил, язык длиннющий набок, как полотенце на руке. «Ты, че, — говорю ему, — съесть меня хочешь?» А сам, скрывать не стану, испужался и обомлел, как когда-то. А он этак мирно поклацал клыками и морду опустил: мол, не тебя. Ну, я осмелел: «Так кого же?» Он язык туды-сюды, и я догадался, будто он мне мысль в голову вставил: мол, твоих козочек.

Продолжал с охотцей, как в прежние лучшие времена:

— Но не в энтот дело, а в том, что он как бы намекал мне: мол, тебя когда-то пощадили, а, значит, за тобой должок. Ага, перед нами волками. Соображаешь? Выходит, следил за мною, когда коз у озера пас.

— Послушай, Мимишка, мне кажется, ты фантазируешь.

— Падлой буду! — и он чиркнул ногтем по верхним зубам, как делают урки, и в дополнение резко прочертил под подбородком.

— Ну, и что дальше?

— Я ничего ему не пообещал. А почему? Коль Колич на мо-

тоцикле подкатил. Турман и утек, а я орешки пощелкиваю, ну а Коль Колич, значит, бутылку достал. Это как раз перед самой его смертью было. Мы с ним больше уже не виделись.

Он надолго, тоскливо замолчал.

— Ну, и что дальше? — повторил я вопрос.

— А что? Коль Колич мне не поверил. «Молчи, Мимишка, — приказал, — а то засмеют». Вот зачем-то тебе рассказываю...

— И ты молчал?

— А то! Кто ж в сам-деле поверит? Засмеют, — вздохнул он, но не перестал откровенничать. — Турман, представь себе, сюда повадился являться. Сядет вон там, у кровати, — и он указал на изголовье с подушками, — язык высунет и ждет, мол, должок отдавай. Вроде я ему, как и тебе, должен. Совсем извел меня.

— Неужто в натуре является?

— Не, видением. Призраком, то есть, — нехотя признался Мимишка. — Как монах воскресший. Но вот вижу его, как тебя сейчас. А потому страшно мне здесь... Привидения всюду. А Зинка в новый дом не пускает... Говорит, что я — сумасшедший.

«Понятно, галлюцинации, а с такими признаками, естественно куда определяют... Однако бессердечна старшая сестра...»

И все-таки я уточнил:

— Значит, с сумерками Турман привидением явится? Ты его ждешь?

— Турмана-то? — переспросил Мимишка, не улавливая печали в моем вопросе. Я утвердительно кивнул. — Не, сегодня по натуре явится. Мы же с ним договорились.

— Договорились?! С Турманом? О чем?!

— Э-э, я же в Астрахань уплываю, — досадливо напомнил он. — А должок должен возвратить. Пусть берет наших с маманей двух козочек. И Зинку напужает. Чтобы помнила! Я такое, та-коо-е устрою...

— А нужно ли?

— Не, тебе не понять, — оборвал Мимишка и потребовал: — Уходи! Они уже здесь, я чувствую. Только не болтай, а то волки отомстят. Знаешь, какие они памятьливые? Почище собак. Волк, он человека наизусть выучил, и никогда не прощает. Понял? То-то.

Признаюсь, уходил я, хоть и с облегчением, но с большой тревогой — да, за Мимишку.

XIX

В моем доме, жарко натопленном, было уютно и благостно. Однако я испытывал непонятную двойственность. Во-первых, оттого, что, очутившись в темноте Понизовки, сам почувствовал чье-то враждебное присутствие. Мне даже померещились огоньки волчьих глаз. Правда, я тут же отогнал это наваждение. Не может такого быть, убеждал себя, чтобы волчья стая пожаловала в поселок, когда оранжево светятся окна, горят фонари, да и всюду прохожие, пусть и редкие. Во-вторых, отвергнув Мимишкины болезненные галлюцинации, не поверив в реальность им сказанного, безусловно, в силу нормальной логики, я в то же время каким-то нутряным чутьем догадывался, что говорил он правду.

«Значит, следует предупредить эту сварливую толстуху, — думал я. — Но ведь она, Зина-пистолет, наверняка меня высмеет. Кроме того, обрушится с очередными проклятиями на несчастного братца. И во всех случаях мы оба окажемся в дураках...»

Этого мне не хотелось, и спасительный выход из тупиковой ситуации виделся в том, чтобы переключить себя на что-то иное. Тогда с громадным интересом я читал том Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» и, хотя не соглашался с его евразийской концепцией русской истории, мощь мысли возбуждала к размышлению, к прояснению собственных представлений о Руси XII-XIII веков, о той «великой замятне», нескончаемой смуте, которую создавала княжеская междоусобица, приведшая в конечном итоге к национальной катастрофе, к кровавой трагедии, к исчезновению Руси под пятой, под игмом татаро-монголов, — и казалось, что навсегда. Как ни трактовать победу «Великой Степи» над Древней Русью, но ведь нет сомнения, что все-таки это было чудо — да, воскресение Руси спустя более чем два столетия, а затем превращение ее в независимое самодержавное царство, в величайшую империю. Такие книги, как гумилевский том, требуют напряженной сосредоточенности, в то же время приносят истинное наслаждение — в думах о русской истории, о русском народе, о его чудодейственной судьбе.

Подобным занятием мне хотелось напрочь отринуть, хотя бы на этот вечер, Мимишкины горести, его волчьи мистификации, вообще, забыть о всех заботах, страстях, печалях Тульмы, в которых не было моего участия, следовательно, и вины; а потом, утомившись, сразу заснуть — без сновидений. Но книга не читалась, будто в голову набилась вата, или она одеревенела, и в нее ничего не втискивалось. Я вынужденно бросил чтение до иного состояния души, когда смогу памятно вникать в события далеких эпох, проводить аналогии минувшего с настоящим. Пока же ни Мимишка, ни его волки не уходили из головы, и я понял, что изгнать их можно только самым радикальным способом — выпить пару лафитников водки и, захмелев, с легкостью забыться-заснуть.

Свершив сие действие, я улегся, и вскорости мне показалось, что засыпаю. Однако сон был зыбким: тревога не улечивалась, сознание не выключалось. Более того, как в кинематографе, перед внутренним взором раскручивался пугающий сюжет о волчьем семействе, о шести волках — да, именно о шести! Два из них были матерые: вероятно, старый Турман с супругою. Но не они, а четыре молодых волка на своих лохматых горбинах уносили вверх по Байковой горе четырех задушенных коз. Да, именно четырех, — и это меня поразило. Как, впрочем, и то, что была не ночь, а ослепительный день: на небе сияло солнце, плыли молочные облака, пушистый снег выглядел скатерно чистым. И на этой белоснежной скатерти пунктиром дымились алые капли козьей крови...

Потом в ту же самую гору, к горизонту, где снежное покрытие переходило в пену облаков, по кровавому следу устало брел несчастный Мимишка. На линии горизонта он вдруг магниево вспыхнул — и испарился, будто его никогда не бывало! С магниево вспышки картина, как старая кинолента, оборвалась, и я погрузился в кромешную тьму...

Утром за окнами, как бы завешенными извне плотной серой мешковиной, я услышал взволнованные, испуганные крики. Тревожно подумалось: пожар! Мгновенно оделся — и на улицу.

Всюду кричали: «Волки! Стая! У Зинки всех коз зарезали...» И пострашнее: «Мимишка исчез! Неужто и его?..»

Слухи, как волны накатывали на поселок. Вскоре вся Туль-

ма сбежалась на Нагорную улицу. Прибыло и заводское начальство — но без Ужищева, тот не прощал Зинаиде Павловне смерть Кольки. Когда еще удастся сыскать такого оборотистого дальнотбойщика? Из-за ее властной жадности их прибыльные дела застопорились. Ужищев слышать не желал о Пистолетихе. Он воспринимал случившееся как справедливое возмездие. Рассказывали, что даже зло пошутил: «И зачем волкам козы? Толстуху бы уволокли!»

Участковый Гульбин затеял расследование. С группой понятых отправился по кровавому волчьему следу, который привел с Зинкиного подворья на вершину Байковой горы, на Росстань, к покляпой березе, где в яме, в бывшей рудной дудке, они обнаружили обглоданные кости да череп с рогами. Зарезали-то всех коз, а уволокли одну.

Мимишкиного присутствия нигде не угадывалось...

А на Нагорной улице шумело вече. Гадали: кто же все-таки хлев отворил? Зинаида Павловна — перепуганная, раскрасневшаяся — божилась, что самолично запирала. То же подтверждал Ефим-кирзач: мол, вместе замок вешали. Так, кто же?.. Все оборачивалось против Мимишки.

Что ж, я помнил, о чем он мне говорил: «я такое устрою, такоо-е...» Но разве стану я об этом упоминать? Выдавать его? Нет, конечно... Меня беспокоило странное сновидение: ведь привиделось все почти так, как в реальности происходило... Ну ладно, волки и козы — это понятно, но ведь приснившееся «кино» заканчивалось магниевой вспышкой и исчезновением Мимишки... Куда он исчез, куда?..

А вече продолжалось. Старухи, так те сразу в корень глянули: раз волки к Зинке наведались, то, по старинной примете, житья ей в хоромаш не предвидится... А мужики, те попроще рассуждали: раз стая страх преодолела, то жди сызнава — и овец береги, и коров. Ружья нужны! А кто ныне охотники? Перевелись, вот в чем беда...

Грустно мне сделалось, и понял я, от греха подальше лучше бы уехать. Объяснять правду — бессмысленно: не поверят, не поймут, да еще и самого заподозрят... Но как я мог уехать, не выяснив жив или мертв Пал Палыч Дудахин, мой закадычный деревенский дружок? Никак не мог.

Вялый, серый рассвет, не проясняясь, переходил в сумеречный закат: было так тускло, что даже в полдень пришлось зажечь свет, а к четырем часам навалилась прямо-таки свинцовая непроглядь. Я томился непонятным ожиданием. Мне мерещилось, будто Мимишка присутствует в моем доме. Вот он, как обычно, присел на табурет у печи и терпеливо ждет приглашения к столу. Ему очень хочется московской колбаски, сейчас подцепит кружок вилкой, с наслаждением начнет обкусывать со всех сторон. Потом второй, третий, пока не насытится, а уж тогда разговорится, примется сочинять потешки, звонко смеяться.

— Ты чего это вернулся? — мысленно говорю ему я. — Передумал, что ли, плыть в Астрахань?

«Но откуда мне известно, что он плывет в Астрахань?» — недоуменно спрашиваю самого себя и продолжаю:

— Знаешь ли ты, что действительно всех напугал?

— А пущай верют! Я никогда не вру, — улыбается он.

— Может, и не врешь, но присочинить любишь.

— Энто бывает. Но шелом тебе привиделся во сне, так?

— Что это такое — шелом?

— Ну, холм, гора. Наша вот, Байковая.

— А-а, привиделся. Только ты исчез. Вспыхнул, как магниевая вспышка, — и нет тебя.

— А меня и нету.

— Как же так? Вот же ты!

«В самом деле, привидением, — соображаю я. — Но отчего же, как наяву, с ним разговариваю?..»

— А оттого, что покидаю навсегда, — отвечает он, и мне чудится, что ему ведомы все тайные движения моей мысли.

— Как это? Что случилось?

— А ничего! Плыву вот в Астрахань...

В это время я услышал громкие мужские голоса у ворот. Выглянул в окно: старики-плотники, Родин с Половинкиным, а с ними молодой Корсаков, следователь уголовного розыска из Городца Мещерского. Он — племянник Родина, в Тульме человек известный.

«Значит, что-то действительно случилось, — подумалось мне, — И именно с Мимишкой...»

Мы расселись за круглым кухонным столом, тягостно молчали. Даже взрывной Александр Иванович, шумливый во всем, включая и несчастья, сидел понуро-задумчивый, с опущенной головой.

Следователь Сергей Корсаков был крепким малым, с лицом простоватым, но правильным, а взглядом сосредоточенным, упрямым. С такими всегда все по-серьезному, без отклонений. Как демобилизованный сержант-сверхсрочник, без затей окончил милицейские курсы в Рязани; назначение получил в родной район — Городецкий. Был старательным, обходительным и по-военному прямоугольным. С такими, между прочим, всегда непросто: под себя выстраивают!

Корсаков достал из черной папочки с молнией большеформатный лист в блеклую линейку, сложенный вдвое и полностью исписанный.

— Прочтите, чтобы, так сказать, вам была ясна цель моего прихода, — вежливо, но настойчиво предложил он, — а потом, с вашего согласия, я задам несколько вопросов.

— Что-нибудь с Мимишкой? — вырвалось у меня.

— Да, с ним. Но вы все же сначала прочтите.

Свидетельский рапорт

Я, Гушин Юрий Евдокимович, капитан буксира № 7054, сегодня утром проводил из Лашмы большегрузную баржу с технической солью для автодорог.

Происшествие произошло в десять часов двадцать минут у городецкого моста. Видимость была достаточной, хотя с неба свисала серая наволочь, а кроме того, чемирило.

(Чужой твердой рукой, видимо, следователя Корсакова, местное словечко «чемирить» было зачеркнуто и сверху печатными буквами выведено: м о р о с и л о .)

Еще на подходе к бетонно-стальным конструкциям дорожно-пешеходного моста обратил внимание на маленькую фигурку человека с рюкзаком на спине, который подавал непонятные знаки — махал кругообразно рукой. Я не придавал этому никакого зна-

чения. Мы с вахтенным матросом, находившимся рядом в рубке, Гушиным Анатолием, моим сродником, сыном двоюродного брата, еще насмеялись, пошутили даже: мол, что этот чудик, тормозит, что ли, нас? Мол, что, прыгать надумал, парашютист этакий? Нам и в голову не пришло, что у того человека были самые серьезные намерения. А то бы я его так матюгнул в рупор, что у него сразу бы отпало желание подводить нас под следствие.

(И опять «матюгнул» было печатно исправлено: п у г а - н у л).

Когда баржа вошла под мост, я заметил, как этот человек метнулся на другую сторону. Между прочим, до этого он что-то кричал нам, но за стеклами рубки и из-за шума двигателя ничего не было слышно. А по фарватеру я не видел никаких препятствий и потому продолжал движение.

Когда уже мой «толкач» оказался меж пролетов, я увидел, как на гору песка с солью, между первой и второй кучами, упал рюкзакишко, а потом увидел, как летит вниз и сам этот человек. Он падал с растопыренными руками, будто тормозил движение. Однако бедолага попал на склон кучи, четвертой по счету, а она, куча, за холодную ночь обледенела, и он, как с ледяной горки, соскользнул в Оку.

Я, понятно, рванул «полный стоп», а Толька бросился на борт, чтобы кидать спасательный круг. Но тяжелогруженная баржа продолжала движение по инерции, да и течение по фарватеру, как известно, сильное. Я успел крикнуть ему, то есть вахтенному матросу, чтобы бросал еще пару кругов — ведь неизвестно, где этот отчаянный «парашютист» (зачеркнуто и надписано: п р ы - г у н) вынырнет. Сам же срочно связался по радиотелефону с городским портом и сообщил о неожиданном и неприятном происшествии. К сожалению, этот человек, похоже, разбился при падении, потому что он так и не вынырнул.

Он был маленького роста, тощей (и опять исправлено: т о - щ и й), в общем, похожий на подростка лет пятнадцати. Одет в длинную стеганку, перепоясанную солдатским ремнем, вязанную шерстяную шапочку с белой полосой, кажется, свекольного цвета и коричневые резиновые сапоги.

Один из них при падении слетел и теперь предъявлен для следствия. Как и рюкзак. В нем обнаружено: пять буханок чер-

ного хлеба, десяток луковиц и две банки консервов «Килька в томате». Тоже предъявлены следствию.

Никогда раньше этого самоубийственно погибшего человека ни я, ни мой сродник, матрос А. Гуцин, не встречали. Моторист В.Б. Котов, находившийся в машинном отделении, ни о чем не ведал и не подозревал. Пока не всполошился, когда я дал команду «полный стоп».

Повторяю: для спасения человека за бортом мною, как и подчиненными мне матросом и мотористом, были в дальнейшем предприняты все необходимые действия.

*Капитан буксира № 7054
Ю.Е. Гуцин*

XXI

Следователь Корсаков спросил:

— В человеке, описанном капитаном буксира Гуциным, вы узнаете Дудахина Павла Павловича, по тульменскому прозвищу — Мимишку?

— Да, это он.

— Был ли, по вашему мнению, его поступок актом отчаяния, или это, так сказать, болезненное состояние души, попросту сумасшествие, которое привело к трагедии?

— Думаю, акт отчаяния.

— Что толкнуло Дудахина на этот поступок? Или — кто?

— Трагические обстоятельства его жизни. Он ведь всегда нуждался в защите и был совсем не готов к ударам судьбы, — пояснил я. — А постоянные унижения, которые в последнее время на него сыпались, безусловно, измучили его впечатлительную душу. Кроме того, несправедливые обвинения, судя по всему, помutilи сознание.

— А конкретнее можно?

— Вы сами, Сергей, всё знаете, — сказал я твердо, не желая ни называть имён, ни воскрешать события. Заметил только: — Поймите, обидное слово иную душу ранит сильнее ножа, а душевные страдания, как известно, намного мучительнее телесных. Вот Мимишка и спасался от этой невыносимости бегством. В город своей мечты. Своей солдатской юности. Где, похоже, был

счастлив, но, прежде всего — равным среди равных. Конечно, это заблуждение стремиться в прошлое. Туда возвращаться не следует. Просто нельзя вернуться! Но переубедить его оказалось невозможным.

— Он вам называл этот город? Так сказать, город своей мечты. Яснее: навязчивой мечты.

— Он никогда и не скрывал: Астрахань!

— И от нас не скрывал, — вставил миротворящий Андрей Николаевич.

А Родин, Александр Иванович, криво усмехнувшись, зло бросил:

— Теперь вот и плывет в этот самый город... этой самой мечты... Дно карябает! — И взвился: — Не у моста надо было искать! Водолаза у Поповки надоть спускать! А то и у Елатьмы... — И с тоской: — Не, не найти... Рыбы сожрут... — И, отвернувшись, всхлипнул, стеснительно смахивая слезы корявым указательным пальцем.

— Так нельзя, Санька, — упрекнул Андрей Николаевич.

— Молчи, Скрыпка, не до твоих нотаций, — и выдал матерную руладу.

— Значит, пытались обнаружить тело? — поспешно спросил я, чтобы не запылала стариковская ругань. — Есть надежда?

— Думаю, никакой, — прямолинейно констатировал следователь Корсаков. — Кстати, в речном порту мне пришлось побеседовать с диспетчершей. Этакая современная дамочка. Прямотаки по телерекламе живет, — усмехнулся он, по-видимому, все еще находясь под впечатлением от этой особы. — Так вот, она искренне сокрушалась, что, можно сказать, подтолкнула Дудахина на самоубийственный поступок.

— То есть... Как подтолкнула? — не понял я.

— А очень просто. Дудахин хотел плыть, как подобает, на теплоходе. А она посмеялась над ним. Говорит: «Ты, парень, что, с Луны свалился? Третий год уже, как пассажиров отменили». В общем, нагрубила: мол, ходят тут всякие! Да еще уязвила: «Не видишь, что ли, река-то пустая?» И посоветовала: «Вон на баржу пристраивайся. Эти, бывает, до Самары доплывают». А там, мол, до твоей Астрахани всего-то пол-Волги. В общем, вот так. Спровоцировала, можно сказать.

— Но ведь она не нарочно, — защитил диспетчершу сердобольный Половинкин.

— Так-то оно так, Андрей Николаевич, да только на служебном месте надо себя, во-первых, вежливо держать, а во-вторых, отвечать за сказанные слова, — нравоучительно заметил молодой следователь. И добавил, не скрывая удовлетворенности: — Очень даже расстроилась эта дамочка. Прямо-таки испугалась: ведь при желании я могу доказать, что именно она спровоцировала самоубийство. А значит, привлечь к ответственности.

— И ты, чаво ж, привлечешь? — удивился Родин.

— Нет, конечно. Но видели бы вы, как она изворачивалась. — Он самодовольно посмеялся. — Все оправдывалась: мол, разве разглядишь всех этих сумасшедших? Их сейчас столько развелось! А главное просила: «Вы уж меня простите, гражданин следователь. Больше не буду, поверьте!» — И он опять посмеялся — теперь с презрением.

— Но ты учти, Сережа, Мимишка очень наивный был, — вступился сердобольный Половинкин, будто эта расфуфыренная диспетчерша была его родственницей. Впрочем, вполне возможно. — Он ведь из Тульмы никуда не выезжал. Ему, о чем ни скажи, обязательно поверит. Разве случайный человек может это знать?

— Эх, сверчок-светлячок, мать твою сто чертей! — грубо встрял Родин. — Насочиняет столько — цельный концерт устроит! Эх, Мимишка-шишка, где ж ты теперь? — И вновь всхлипнул Александр Иванович, и опять смахнул слезы плотницкими негнущимися пальцами. Резко потребовал: — Кончай, племянничек, свои допросы! Надоело! Помянуть надо.

Он достал из-за пояса бутылку водки, со стуком опустил на столешницу.

— Дядь Сань, я же тебя просил, — упрекнул Корсаков.

— Ну и что? Ну и просил! А человека-то больше нету! Кому нужны твои свидетельские рапорты? Все эти твои вопросы-допросы? Чего тут не ясно? Как дважды два — кочерга! Кончай!

— Эх, буйный ты человек, Александр Иванович, — вздохнул Сергей Корсаков. Сам он против старших родственников и вообще старших по званию пока не бунтовал, а потому закрыл свой блокнотик и спрятал его в черную папку с молнией. — В це-

лом, конечно, все ясно, — произнес больше для себя, чем для нас. — Ни одного противоречивого показания. А это значит, можно сделать вывод: несчастный случай в состоянии аффекции.

— Какой еще дифекции? — возмутился Александр Иванович. — Тебе, чаво, непонятно, кто виноват? Зачем диспетчершу приплел? Вон Зинка — эка выворачивается! Волков на нее натравил! Они, вишь ты, могли ее загрызть. И загрызут! Одной ж... на всю стаю хватит! Отомстят они ей, за Мимишку отомстят, — злобно предрекал Александр Иванович.

— Но это уже мистика, дядь Сань, — спокойно произнес племянник, как бы отмахиваясь от стариковского возмущения. И пояснил: — Волки — это другое следственное дело. А несчастный случай на мосту будем считать выясненным. — И, обращаясь ко мне, похвастался: — Заметьте, в один день! А теперь разрешите поблагодарить за содействие и откланяться, — вежливо заключил он.

Корсаков встал, по-спортивному напрягся, поводит плечами, как бы сбрасывая застылость долгого сидения, протянул мне через стол руку — тугое, упругое пожатие. Н-да, силушку не занимать молодому следователю. Все в нем правильно, отработанно — точно поставлено!

— Ты что, сто чертей, не выпьешь с нами? Не помянешь Мимишку? — возмутился Родин. — Он ведь, бедняжечка, — и старик вновь всхлипнул, — под водой куда-то тащится... Без похорон, без прощания...

— Ну уж, дядь Сань, это эмоции, — снисходительно усмехнулся племянник. — А я, сам знаешь, при исполнении служебных обязанностей, а потому еще раз — всем всего наилучшего!

— Ну и иди на ...! Иди, иди с моих глаз! — вспыхнул взрывной Родин.

— Ну, зачем же так-то, Александр Иванович? — не обижаясь, но опять снисходительно заметил следователь Корсаков. Он натянул на свое крепкое тело черную кожанку, а на квадратный лоб черную и тоже кожаную шляпу.

Определенный он человек, твердый, до конца в себе уверенный!

XXI

Теперь со старыми плотниками я поминал Мимишку. Не многовато ли для столь короткого наезда в Тульму? Двоих за три неполных дня...

Мне захотелось побыть одному. Под предлогом хозяйственных неотложностей вышел на открытую веранду, сооруженную ими, Родиным и Половинкиным, — закурил. Была непроглядная темень. Весь день, в самом деле, *чемирило*. Туман и нудная молекулярная морось съели снежный покров, лишь в ложбинах виднелись белые заплатины.

Я стоял у перил высокой веранды — как на вышке. Земля сливалась с небом, застыла шолоховитая тишина. И в этой близкой, как бы даже ощущаемой тишине, в сырой, холодной мокрети, издалёка, с противоположной Байковой горы, неожиданно прорезался тонкий альтовый звук, усиливавшийся, густевший, подхваченный другими глотками: ууу-ууу...

«Волки», — прошептал я, и страх электрическим разрядом саданул по мозгам. Я поспешил в дом, с порога беспокойно крикнул:

— Волки воют!

— Чаво ж, помянуть пришли, — мрачно заметил Александр Иванович. — Наливай, Скрипка!

— Это ты зря так, Саня. Это ведь плохо, когда волки в поселок повадились, — урезонил Андрей Николаевич.

— Чаво ж тут хорошего? А ты все равно наливай! — командовал Родин. — Посегодня они по Мимишке скорбят. Не пужайся!

— А назавтра, чаво ж, по нас с тобой? Это, Сань, очень плохо. Я такое только в войну помню.

— А нонче считай похуже. Поганые времена. Их так и зовут, волчьи сумерки.

— Как не называй, а когда волки воют — к беде! В войну-то всенародное горе было, мужиков поубивало, вот и осмелели серые. А теперь-то что?

— Правильно, Андрюха. Тогда за родину погибали, а нонче хуже — сами по себе. Помутнение в сознании вышло. Потому-то и называются волчьи сумерки. Человек в зверя оборачивается. А

хищники, они это чувят. Их срок настал. Ну, ты наливай, наливай! Опрокинем — и айда, послушаем, какую это музыку они устроили.

Мы выпили, вышли на веранду: темь, сырость и таинственная тишина.

— Тебе не померещилось? — упрекнул Родин. — Чавой-то не слышно.

И тут рядом, в проулке со стороны Колотовки, казалось бы, в десяти шагах, раздался пронзительный, проникающий вовнутрь, цепляющий каждую мозговую клетку, гнетущий, парализующий волю волчий вой.

— Не бойсь, — прошептал Александр Иванович. — Посейчас они не нападут. — Но тревожно добавил: — Беда... большущая!

— Пойдемте побыстрее в дом, — заволновался Андрей Николаевич. — Ты, Санька, со зверьем не шути. Это же волки!

— Знаю, что не собаки, — огрызнулся Родин.

Что ж, мужество нам, безоружным, изменило. Мы поспешили в дом, закрыли дверь на засов. Однако и сквозь толстые бревна, сквозь двойные оконные рамы беспрепятственно проникло мистическое волчье завывание на одной, режущей сознание, ноте.

Спасение было одно — стрелять! Жечь смоляные факелы! Но ни факелов, ни ружей у нас не было. Мы не ожидали этого волчьего нашествия. Во мне, в моем оцепенелом сознании только и стучала нервически, как дятел по дереву, Мимишкина пророческая фраза: *«Турман едет, едет, едет — съест тебя!»*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

РАЗЛОМ

Но сколько вы не говорите о том, что всё, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди всё больше и больше понимают вас и всё больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения всё больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели: как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев.

Лев Толстой
«Не могу молчать», 1908 г.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Эссе

ПОКА НЕ ДРОГНУЛА ПАМЯТЬ
ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА В СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ

Страницы публицистики

ДОПРОС С МЕФИСТОФЕЛЬСКОЙ УСМЕШКОЙ
АНГЕЛЫ РЫДАЮТ НАД МОСКВОЙ
РАССТРЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
ВОСКРЕСЕНИЕ УБИЕННЫХ

Слово звучащее

ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
ДУША В СМЯТЕНИИ
МУЖЕСТВО НА ГОЛГОФЕ
ЛЮБИТЬ РОССИЮ — ЭТО НРАВСТВЕННО

Откровения творчества

ПРЕЧИСТЫЙ СВЕТ
ГОНЕЦ С ФАКЕЛОМ
В ЖУРАВЛИНОМ ПОДНЕБЕСЬЕ
РАДОСТЬ ОЗАРЕНИЙ

ПОКА НЕ ДРОГНУЛА ПАМЯТЬ

*Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.*

Александр Блок
Сентябрь, 1914 г.

I

22 июня начиналось в Берлине тихо и солнечно. Я прошелся по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам. Отовсюду тягуче веяло запахом цветущих лип. Был он сладко-дурманящим. Особенно в аллее посреди этой главной берлинской улицы, где в зеленом коридоре скапливались выхлопные газы автомобильного потока.

Мне подумалось, что, наверное, и те советские военнопленные, доставленные в Берлин самолетами в первый же день войны и прогнанные озирающейся, угрюмо-жалкой кучкой по цветуще-самодовольной Унтер-ден-Линден, перво-наперво ощутили именно этот берлинский дурман, для них — как дурной сон, как воплощение самых дурных предчувствий, как дурманящую, похмельную реальность, в которую невозможно было поверить...

... Над Бранденбургскими воротами на фоне голубеньких небес трепыхало полотнище с жирной черной полосой и замысловатым гербом (циркуль, шестерня, молоток) партайгосударства в пределах советской оккупационной зоны — ГДР. А напротив, за бетонной берлинской стеной, сооруженной при Хрущеве и Кеннеди в самый апогей ядерного противостояния, так же трепыхалось над куполом рейхстага аналогичное полотнище с такой же черно-жирной полосой — флаг ФРГ.

Два флага, две Германии, два аванпоста двух, казалось бы, непримиримых противников, двух военных блоков — НАТО и Варшавского Договора — социалистического Востока и буржуазного Запада. И было это совсем недавно, в 1988-м...

Честно признаюсь, никогда не воспринимал, не понимал до конца эту черную символику (возможно, историческую) на послевоенных германских стягах. Что она воплощала? «Трагедию, постигшую нацию»? Но разве была трагедия — до Сталинграда?.. до Курской дуги?.. Разве следует забывать, что геополитической ставкой нацистской Германии было мировое господство?..

В общем, для меня, для которого восприятие жизни началось с осени 1941-го, со смертей, голода, разрухи, болезней, бомбежек, потери близких, с изуродованных солдат и вселенского одиночества, когда я, маленький человек, и днями, и месяцами был предоставлен самому себе; для меня, уже взрослого, в черной полосе германских стягов всегда существовал только один смысл: о претензии Германии на мировое господство — «Дойчланд юбераллес!» Поэтому не мог ни верить немцам, ни прощать. И не стремился к ним, прежде всего — в доступную «социалистическую» ГДР. Пока однажды не услышал зов погибших при штурме Берлина, — моего друга Вити Егорова и дяди Кости Минаева.

Зов — не мистический, а вполне реальный. Я бы выразился так: **п о к а н е д р о г н у л а п а м я т ь .**

И я уже нетерпеливо стал рваться в Берлин, особенно, когда случайно узнал, что там, кроме парадного Трептов-парка со знаменитой скульптурой «Воину-освободителю», существует и другое, вполне обычное захоронение — мемориальный комплекс в Панкове, где нашли успокоение почти две с половиной тысячи командиров и красноармейцев. И хотя это всего 1/50 часть погибших в Берлине, мне почему-то верилось, что уж незабвенного дядю Костю я там обязательно отыщу.

II

Из детских воспоминаний

Мы с мамой вернулись в Москву в марте 1943-го.

Поезд из Свердловска тащился очень долго, больше недели. Перед отъездом мама сильно простудилась и всю дорогу лежала, не вставая. У нее был жар, который переходил в бред, и это меня пугало.

За мамой все ухаживали и, особенно — старший лейтенант дядя Костя, с верхней полки, у которого раньше умерла сестра от воспаления легких. На каждой остановке он бегал за кипятком и горячей картошкой. Он подкармливал меня и маму и еще угощал нас американской тушенкой. На одном из разъездов, где мы долго стояли, чтобы пропустить эшелоны с танками, он умудрился слезть в деревню и принес для мамы баночку малинового варенья, а кроме того, противный бараний жир, которым маму растирали. Мама пила кипяток с вареньем и глотала красный стрептоцид. Его тоже отыскал в своем вещмешке дядя Костя. Так мою мамочку поставили на ноги.

Но это потом, уже перед самой Москвой. А в Казани по наговору злого проводника в вагон явились два старых татарина в грязных белых халатах, ни чуточки не понимавшие по-русски. Они были санитарями и хотели унести маму на носилках в больницу. Злой проводник орал, что он обязан нас снять с поезда, но дядя Костя раскинул руки и загородил собой маму. Он не разрешил ее трогать. Он сказал, что она его сестра и уже поправляется. И никакой это не тиф, а обычная простуда. Мама тогда расплакалась, и я вместе с ней. Когда татары ушли, она очень благодарила дядю Костю и сказала, что он нас спас и она вечно перед ним в долгу.

Дядя Костя мне понравился с самого начала, потому что он был сильный и красивый. И еще очень добрый. После Казани я накрепко к нему привязался. Он много играл со мной и читал вслух мои любимые книги «Маугли» и «Доктора Айболита». И все время удивлялся, что я их знаю наизусть, а прошу снова читать.

Мне втайне от мамы хотелось, чтобы дядя Костя был моим папой и чтобы мама тоже, как я, его полюбила. Я не помнил своего отца, а мама о нем говорила редко; она отчего-то боялась, что после войны он к нам не вернется.

В Москву мы приехали почти ночью, в мокрую метель. В снежной мути мы ехали на троллейбусе, у которого вместо фар были две светящиеся щелочки. Из них стреляли белые лучи. Я стоял возле толстой вожатой, которая валенком в галоше давила щелкающую железку, но я больше смотрел не на нее, а на стреляющие, как пулемет, лучи.

Потом мы долго тащились в шатающемся пустом трамвае на самый край Москвы, где было общежитие. Там нам с мамой дали угол. Но я не дождался Измайлова и заснул у дяди Кости на коленях. Когда же я проснулся в нашем противном ситцевом закутке, мама сидела очень грустная на железном краешке нашей единственной кровати. Дяди Кости уже не было. Я обиженно спорил с мамой и даже плакал, потому что она наотрез отказалась ехать к дяде Косте на Крестьянскую заставу, где в большом деревянном доме жила его старая мать. Она воспитывала своего маленького внука, чуть младше меня, сына дяди Костиной умершей сестры, с которым я мог бы играть и быть под присмотром. Но мама оказалась ужасно упрямой.

— Мы увидим сегодня дядю Костю? — спрашивал я.

— Нет, он, наверное, уже уехал на фронт, — грустно сказала она.

— А когда же мы его увидим? — требовал я.

— Может быть, никогда, — ответила мама.

Общежитие мне совсем не нравилось. Это был длинный зал, поделенный на закутки. Там всегда чем-то плохо пахло и отовсюду все было слышно. Только через месяц нам наконец-то дали обещанную комнату — на Цветном бульваре, во 2-м Сухаревском переулке. Мы с мамой в тот же день туда переехали. Там я встретил своего старшего друга Витю Егорова. А дядю Костю Миная я больше никогда не видел.

Правда, мама мне рассказывала, что дядя Костя приезжал к нам в гости — после очередного ранения летом 1944-го. Но его я, к сожалению, не встретил. Тогда уже восстановили железную дорогу на юг, и моя бабушка увезла меня к себе на все лето. Мама говорила, что дядя Костя много обо мне расспрашивал и жалел, что не увидел, как я вырос. Он присылал маме много писем-треугольников, и она их всегда читала-перечитывала с улыбкой.

III

К полудню на непорочную, как глазки Гретхен, голубизну берлинского неба набежали сизые тучки, и в солнечном сиянии вспыхнули свинцовые блики. На душе было неуютно и беспокойно, пожалуй, оттого, что никто из прохожих не желал объяснить,

как мне добраться на советское кладбище в Панкове. Отвечали поспешно: «Найн, их вайс ниht». Похоже, в ГДР упрямо старались не помнить о войне. Наконец один из таксистов согласился отвезти меня в Панков, туда, где в лесном массиве находится мемориальное кладбище: столица ГДР обошла этот «зеленый остров» стороной, расстроившись по окружности.

Я остался один на пустынной дороге среди густых, запущенных зарослей, и к тревожной неуютности добавилась горечь. Но сам некрополь, в высоких кирпичных стенах, выглядел ухоженным, даже подчеркнута аккуратным. Тенью мелькнул кладбищенский служитель и исчез. Вообще, тяжело бывать на кладбищах. А когда ты, живой, одинок среди могил, то вдвойне тяжело...

Вдали, в образе молодожавой женщины с косой, уложенной на голове, и терновым венком в руках, возвышалась скульптура Родины-матери. У ее ног лежал убиенный воин, покрытый знаменем. Что-то все это показалось мне знакомым...

По главной аллее, присыпанной белесым песком, и мимо рядов мраморных надгробий я медленно направился к скульптуре. На обширном постаменте Родины-матери разместились обелиск-часовня, с мрачно пустым внутренним пространством, и розовые саркофаги с чугунными плитами, выпукло исписанными именами — именами офицеров, в основном майоров. Вероятно, командиров батальонов, тех батальонов, что штурмовали фашистское логово.

Я ходил от одного саркофага к другому, читая русские имена: *Ярушиников, Токарев, Митин, Сальников, Старостин, Ратников, Злосчастьев, Гребенюк, Истомин, Воронцев, Кувшинов, Тарасов, Ваутин, Заикин, Миронов, Никулин...*

«Боже, сколько же батальонов? А рот?..» — думалось мне.

... *Гусев, Бондаренко, Швардогулин, Стародубов, Кондрашов, Безвехий, Заикин, Афанасьев, Кузин, Трофименко, Беляев, Хоменко, Ремень, Ширяев, ст. л-т Щетинина...*

«Кто же она Щетинина? За что удостоилась столь высокой чести быть погребенной с комбатами?..»

... *Склифасовский, Косырев, Шандыга, Руденко, Янсон, Лисенков, Пашков... майор Минаев!*

«Неужели это мой дядя Костя?!»

На кладбищах, кроме душевной тяжести, мы испытываем некую нереальность присутствия — и своего, и тех, кто погребен в земле. Нереальность состоит в том, что встречаются живой и мертвый, мысленно, памятью. И живой, присутствующий в этом мире, старается понять, сердцем уразуметь: что же означает сия встреча? Каков ее потаенный смысл? И в чем завет того, ушедшего? Ради чего все-таки встретились еще здесь, на земле?..

Я не стану задерживаться на метафизике. Хотя должен сказать, что в тот же самый миг, как увидел фамилию и звание дяди Кости, мне вспомнился сон, приснившийся года за три до моего появления в Берлине и сильно испугавший меня, — еще тогда я узрел именно это кладбище... Именно таким, как есть, а потому и показавшимся сразу знакомым; в глухом зеленом массиве прятались мрачно-кирпичные стены, а за ними тянулись ряды розовых надгробий с мерцающим золотом имен. Отличие было в том, что в Панкове имена не в золоте, а на черных чугунных досках.

И еще: женщина, превращенная скульптором в образ «Родины-матери», предстала живой, что вполне объяснимо для сновидения, более того, привлекательной, во всем цвете здоровья и силы, и меня возмутило — тогда, во сне — без всякой печали и скорби. А убиенный воин — тоже тогда, во сне — не выглядел бездыханно скульптурным, а только-только ушедшим, пожалуй, лишь мгновения прошли, как побледнело и заострилось его лицо, усталое и мужественное, — и был он в испачканной землей и щебнем гимнастерке с тусклыми от пыли и гари орденами...

Тогда я не упорствовал в разгадке предвестия, наоборот, постарался побыстрее забыть об этом видении. Но однажды, может быть, год спустя, я ехал поездом в Пицунду, и на Кубани, на подъезде к станции Тихорецкая, так же родной мне, как и Москва — там жили мои дед с бабкой, и я с ними живал почти каждое лето еще с войны, — на запасных тупиковых путях увидел колонну ржавеющих паровозов, заброшенных, никому не нужных, тех самых удивительных железно-живых существ, на которых «с мальчиков» и до смертельного инфаркта проработал мой замечательный дед, машинист-инструктор... При виде жалкой паровозной кончины я вдруг вспомнил свой первый поезд, составленный из теплушек и плацкартных вагонов, на безбрежных снежных

просторах Предуралья, на длинном повороте, когда углядишь и черно дымящий паровоз, и хвостовой вагон, на открытой площадке которого — неповоротливый в тулупе стрелок-охранник. И именно тогда я вздрогнул, вспомнив, казалось бы, забытый сон и увидел в убиенном воине своего дядю Костю из марта 1943-го... Именно тогда и затомил меня зов — попасть в Берлин, поклониться его праху. Странное дело, я почему-то сразу был уверен, что найду его могилу...

И теперь, в Панкове, тот мой сон вновь вспыхнул во всей ясности и красках, что тут было вполне понятным. Я чувствовал в себе давяще-стыдливый упрек и покаялся, поспешил призвать себя к тому, чтобы никогда в дальнейшем не гасить вещие предзнаменования. У саркофага я подумал: «странно все-таки, что это совпало с 22 июнем...» И еще о том, что мама, наверное, тоже испытывала к дяде Косте симпатию, равную, пожалуй, моей мальчишеской влюбленности. Тогда, в войну...

IV

Да, тогда, в войну...

И знаете ли, целые десятилетия я, в общем-то, не вспоминал ни дядю Костю, ни моего старшего дружка Витю Егорова и уж вовсе не соединял их вместе, хотя знал, что и у меня есть два близко-памятных человека, своей гибелью поставившие точку над гитлеризмом. Почему? Выходит, время не приходило. Память не звала к их воскрешению.

А Витя Егоров в самом деле был моим дружком. Хотя по тем временам — в три раза старше и в три раза длиннее: худющий сутулый отрок.

Из детских воспоминаний

Витя работал токарем на оборонном заводе. Он курил махру, конечно, в тайне от своего хромого отца Савелия Митрофановича. Он мечтал попасть на фронт.

Витя вытачивал мне солдатиков, а из патронных гильз, колесиков и железных коробочек делал танки и пушки. Мы с ним играли в войну.

— Давай, Малыш, устроим фрицам Сталинград, — каждый раз говорил Витя.

Его мама умерла зимой, когда мы еще в Москву не вернулись. От простуды. Но соседка тетя Настя, вечно грустная, говорила, что от переживу. У Вити было два старших брата, которые воевали в Сталинграде и там геройски погибли. Этого не могла пережить его мама. Она завещала Савелию Митрофановичу, чтобы он сберег хотя бы Витьку и не пускал на фронт.

Мы поселились как раз в той комнате, где она умерла. Мне нравилась эта их комната, а мама никак не могла заставить себя спать на ее кровати, а на полу сильно дуло, и маме пришлось смириться. У нас была железная печурка, и Витя с Савелием Митрофановичем научили нас ее растапливать, хотя чаще делали это сами. Они никак не могли отвыкнуть от своей бывшей комнаты и все время к нам заходили.

У нас с ними были самые дружеские отношения.

Савелия Митрофановича не взяли на фронт; потому что ему искалечило ногу еще на первой войне с немцами. Он тоже работал токарем на оборонном заводе — делал корпуса для снарядов, и всему этому научил Витю. Они всегда вместе уходили на завод, но возвращался Савелий Митрофанович так поздно, что я уже спал. А Витя все вечера торчал у нас в комнате, и Савелий Митрофанович всегда на него ворчал. Он был угрюмый и такой же худющий и сутулый, как Витя, но только с усами и лысой головой. Я его боялся, и мама не могла этого понять. Она убеждала меня, что он добрый и хороший, но я отчего-то упорствовал.

Я, конечно, не говорил маме, отчего упорствую. Просто я был на стороне Вити, который хотел убежать на фронт, а хромой черт его не пускал. Он однажды отстегал Витю ремнем и зло кричал, потому что нашел настоящий пистолет с патронами. Потом Витя угрюмо пообещал сделать такую штуку снова. Он верил, что все равно попадет на фронт. Ему уже исполнилось шестнадцать лет.

Витя доверял мне все свои секреты, но требовал, чтобы я молчал, и маме не удавалось ничего у меня выпытать. Однажды зимой Витя пришел веселый и сказал:

— Ну, Малыш, поздравь меня! Еду в прифронтовую зону. А там до фронта рукой подать. Понял? То-то, и молчи!

Он рассказал, что сформировали комсомольскую ремонтную бригаду и его туда включили. Их направят на 1-й Белорусский к Рокоссовскому. Витя шепнул мне, что они будут брать Берлин.

— А как же хромой черт? — спросил я.

— А что он теперь может? В райкоме меня утвердили, — похвастался он.

Витя писал отцу короткие письма из Польши, а потом из Германии и передавал всем нам фронтовые приветы, а мне — особенный. Он так и писал: «А Малышу — особенный!» Он обещал вскоре вернуться с победой. Я верил, что Витя обязательно получит орден. Он мечтал о Красной Звезде. «Уж я постараюсь», — обещал он мне.

Витя Егоров погиб в Берлине в мае, но уже после окончания войны.

V

Почти всю жизнь я не вспоминал о своем старшем друге — Викторе Савельевиче Егорове. И в Берлине в тот памятный день на мемориальном кладбище в Панкове я верил, что встречу дядю Костю. И встретил комбата Минаева!.. Но Витю Егорова? Нет, не мыслил. И до сих пор удивляюсь необъяснимому: отчего эти два человека, самые дорогие из моего военного детства, лежат вместе? И где? В Берлине!...

Я так и оставался один в крепостных стенах Панковского мемориала. Сизые берлинские тучки посеяли мелкий дождь — тонкими блёсткими нитями. И я подумал: а ведь для того, чтобы омыть одинокие могилы. Кто еще здесь, в Берлине, по ним, нашим солдатам, поплачет?..

Я шел от надгробия к надгробию, вчитываясь буквально в каждый столбик фамилий. И было очень тоскливо, прежде всего, от того, как редко русские люди бывают здесь, отдавая дань памяти последним героям войны, их последнему подвигу.

Я обращал внимание на даты рождения отдельных красноармейцев и лейтенантов: старший лейтенант Шагов, 1896 года; красноармейцы — Перепечко, 1893-го; Тарубаров, 1895-го; Литеров, 1896-го... Эти, наверняка, воевали с немцами еще в первую

мировую... Но большинство ротных, взводных, сержантов и рядовых были 1923, 1924, 1925 и, особенно, 1926 года рождения. И даже 1927-го...

Меня поразило, что фамилии на надгробиях почти все славянские. И крайне огорчило. И в самом деле, как не задуматься о тех безмерных жертвах, понесенных Россией-Русью, которую ныне инородные, да и собственные выродки принялись умышленно, умело и нагло оскорблять и унижать, издеваться над мужественными стариками, спасшими Родину. А доверчивые соотечичи опять — в который раз! — с этим мирятся...

И само собой шепталось:

«Воспряньте, святые воины! Молю вас... Воскресните, победители! Воскресите в нас ваш гордый дух, ваш жертвенный дух. Вы нам очень необходимы здесь, на земле...»

Именно тогда, перечитывая могильные столбцы, я почувствовал, что суть моего явления в Берлин в в о с к р е ш е н и и — и себя, и их, и нас всех. Оно в том, что мы нераздельны и должны все вместе воскреснуть — как народ, как нация, как славянство. Только в одном XX веке мы уже третий раз оказались на грани исторического существования — трижды в срок жизни трех поколений. И каждому — по две бездны. А это ведь чересчур много — дважды испытывать вероятность государственного крушения. Нынешняя же вероятность может быть и последней...

Должны воскреснуть! И думается, не только как Русь, как Россия, но, прежде всего — как Славия! Так поименовал Отечество Максимилиан Волошин в первый разлом, в первый критический период — в кровавую гражданскую междоусобицу после Октября 1917-го.

Он писал в стихотворении «Ангел времён»:

*В крушеньях царств, в самосожженьях зла
Душа народов ширилась и крепла:
России нет — она себя сожгла,
Но Славия возсветится из пепла!*

Да возсветится триединство России! Белая, Малая и Великая Русь!

VI

Там, в Панкове, мне открылось и поразило еще одно: в столбцах погибших воинов больше всего попадалась фамилия... какая бы вы думали — Егоров! Я даже присел на скамейку, чтобы сообразить, к чему бы это?

Конечно, я помнил о своем давнем дружке Вите Егорове, но, ей Богу, никак не связывал его, юного ремонтника, со всеми остальными Егоровыми, погребенными тут, в Панкове. Мне думалось о другом; о том, что Егоровы, пожалуй, самая воинская фамилия в России.

Мысли навязчиво вертелись вокруг этой фамилии, будто рати Георгия Победоносца. Вспомнился и тот Егоров, который вместе с грузином Кантарией водрузил знамя Победы над рейхстагом. И конечно, Георгий Жуков, законно вставший в ряд русских военных гениев, начатый святым князем Александром Невским, а может быть, и неистовым Святославом, отмстившим «неразумным хазарам...»

Во всем виделся сокровенный смысл. Но угнетала печаль, да дурманил, пьянил медовый, ласково-хмельной, а не приторно-тошнотворный, как на Унтер-ден-Линден, запах цветущих лип, густо обрамляющих крепостные кладбищенские стены.

Должен заметить, что, посидев на скамейке в раздумье, я, было, собрался покинуть Панковский мемориал — тяжело все-таки быть в одиночестве на кладбище, но что-то упрямо не отпускало, и я решил окончательно убедиться, что Егоровы первенствуют в списках «святых воинов». Направился на противоположную сторону кладбища вычитывать новые столбцы на каждом из оставшихся восьмидесяти шести надгробий. Вот промелькнул и еще один Егоров, и я бы только отметил, который по счету, если бы меня не поразило редкий год рождения — 1928-й!

Трудно передать мое состояние, когда сообразил, кто это... Я прямо-таки очугунел — не в силах ни двинуться, ни даже рукой шевельнуть. Сердце от неожиданности стучало настолько безумно-отчаянно, что я в испуге подумал: не свалиться бы от какого ни есть инфаркта. Вспыхнуло, как при молнии, военное детство, нищенское, горькое, но и радостное, в неказистом старо-

московском доме у Цветного бульвара... И восстал чудно он, долговязый сутулый отрок, игравший со мной «в Сталинград». И высветилось, приоткрылось в памяти то глубинное, непреходящее, исчезающее в нас никогда; то, как доверял он мне, малолетке, свои секреты и самый главный — о побеге на фронт...

Больше я не мог оставаться в Панкове, потому что не мог сообразить, почему мы снова встретились? Почему именно 22 июня, в самый трагический день XX века для всех нас, в день, с которого исчисляются 27 миллионов погибших?

Кажется, только сейчас я начинаю кое-что понимать...

VII

22 июня — хоть и один из самых светлых дней в году, но погода переменчива; сизые берлинские тучки разрослись в обложную хмарь, потемнело по-вечернему и, когда к шести часам вечера я добрался на Александр-плац, в центр, нудно заморосил холодный дождь. Я шел в свою гостиничную квартирку, расположенную рядом с церковью Святого Николая в возрожденном Старом городе, и именно в этот момент осторожно ударили колокола. Я вздрогнул и остановился, как и торопливо-унылый людской поток. Кто складывал зонт, чтобы взглянуть вверх, туда, откуда доносились колокольные звоны — тихо и уверенно. Все недоуменно переглядывались, и уже многие не спешили, а слушали. Впервые (и это мне потом подтвердили) в гэдээровском Берлине в день гитлеровского «дранг нах Остен» против России, Советов, большевизма звучали колокола — и не реквиемом, а призывом к чему-то новому, еще неведомому.

Именно так я ощущал те странно долгие, упрямо не прекращающиеся, чуть приглушенные и притаенные, но торжествующие колокольные аккорды. После Панкова мне это показалось оскорбительным. Я воспринимал неожиданную медную мелодию лишь в одном смысле: колокола звонили по нам — русским, советским... по победителям...

Дождь усиливался, лил вовсю, и вместе с небесной хлябью, преодолев, видно, первые страхи, на предельной мощи, с откровенным самодовольством лились удары: «Бом!.. Бом!..» Я слушал, но уже у открытого окна своей аккуратненько-бездушной

квартирки под плескучий аккомпанемент ливня, под журчание уличных ручьев: «Бом!.. Бом!..» А в колокольном подголосье четко слышалось (возможно, только мне): «...юбераллес... юбераллес... Бооммм!..»

Я не помню в своей жизни такой подавленности, такой угнетенности духа и такой внеземной, вневременной печали (кажется, что-то подобное бывало в моем одиноком детстве, но точно не помню), как в тот вечер — 22-го июня в Берлине в сумеречный час обложного ливня с громогласным звоном колоколов. По ком?.. По нам-мм, наа-ммм...

Я взял Библию. Листал тончайшие шелковистые странички с убористым шрифтом. Остановился на Екклесиасте:

Всему свое время...

Время рождаться, и время умирать...

Время убивать, и время врачевать...

Время плакать, и время смеяться...

Время разбрасывать камни, и время собирать камни...

Время любить, и время ненавидеть, время войне, и время миру...

Каково же нынешнее время?

Я не заметил, как уплыл в поднебесье последний колокольный удар, как схлынул ливень. Опомился лишь от давящей сумеречной пустоты с подозрительным шелестом остаточной мороси. Так о чем же я? Каково время? Что грядет? Что нам уготовано? Что будет здесь, в Германии?..

Завтра я улечу, думалось тоскливо, а как же они? Как им теперь оставаться?..

Вроде бы ничто не предвещало необратимых процессов. Но в воздухе уже носилось: нас здесь едва терпят... Раздражение граничило с ненавистью, и еще немного... Потрясения неизбежны, несмотря на клятвенные уверения в верности, преданности. Становилось все более ясно: время объединения Германии неотвратимо приближается...

Однако все это было только предчувствием, только предвидением грядущих событий, которые не заставили себя ждать: все началось в конце 1989-го. Но в Берлине уже прозвонили колокола!

VIII

Была сумеречная морось, но я все же решил вновь пройти по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам. Главная улица казалась совершенно вымершей — холодный дождь попрятал немцев по квартирам. Я медленно шел по той же самой липовой аллее, но машин проносилось мало и совсем не ощущался тлетворный запах унтер-ден-линденских лип. Все заполняла собой озонная свежесть.

Мне вновь вспомнились первые советские пленные, прогнанные вот тут же жалкой кучкой под охраной эсэсовцев ровно сорок семь лет назад. И сейчас это почудилось пугающим наваждением...

Я подумал: а бывало ли между русскими и немцами время любви? В длинной истории наших тесных, но, в общем-то, неприязненных отношений? Очень редко, и то в верхах. А больше вражды, подозрительности и даже особо лютой ненависти... Странно: а цари, дом Романовых, был почти полностью онемеченным... А потому и немцы, более, чем кто другой, властвовали в России, источая ко всему русскому высокомерие и презрение. Ну, а у русских к немцам-германцам (кстати, еще в начале прошлого века немцами называли всех иностранцев; помните у Грибоедова — «... чтоб добрый, умный наш народ хотя б по языку нас не считал за немцев»? — имелись в виду французы!), так вот, к германцам-немцам (производное от «немой») всегда проявлялась со стороны русских ответная нелюбовь и защитная насмешка.

Не знаю, отчего мне думалось об этом — об особенностях и взаимном отталкивании двух национальных характеров и, в конечном счете, об их несовместимости и несоединимости. Не знаю, но именно так думалось в ту сумеречную морось.

А закончилась моя вечерняя прогулка по Унтер-ден-Линден неожиданно. Навстречу по пустой аллее на меня надвигались, пошатываясь, три крепких парня. Один из них, покрепче и повыше, с непокрытой рыжей головой и, видно, побольше выпивший, потому что те двое удерживали его под руки, истошно, на всю главную берлинскую улицу, орал, естественно, по-немецки:

— Германец должен смочь!

Я посторонился. Он дернулся из рук приятелей ко мне и проревел с искаженной физиономией — нет, не пугая, а больше, пожалуй, внушая, хоть и таким диким способом:

— Германец должен смочь!

Если бы он мог представить, что перед ним не запоздавший бюргер, а русский, то несомненно, двинул бы меня пьяным кулачищем, — и его настроение, и вся обстановка тому способствовали.

Уже тогда этот *дойч* вполне был готов смочь осуществить свое неистовое желание об очередном *юбераллесе*.

Так закончилось мое 22-е июня в Берлине.

IX

Александр Васильевич Суворов, зная, что дни его на исходе, воскликнул:

«Потомство мое, прощу братъ с меня пример: до издыхания быть верным Отечеству».

«... д о и з д ы х а н и я ...»

О чем я теперь все чаще думаю?

Во-первых, о том, что комбат Минаев и Витя Егоров — они ведь из лучших, из тех, кто до конца был верным Отечеству!

Боже, сколько же их, лучших, потеряла Россия-Русь? Кто бы из демографов мог дать нам координаты сравнительного анализа с Германией, Англией, Францией, Америкой, алгебраические формулы наших невероятных, невосполнимых потерь?

Во-вторых, я думаю: не произошло ли новое «22 июня»? Не идет ли «третья мировая война»? И что мы опять в 1941-м, а вражеское нашествие вновь катит по нашим несчастным просторам? И вновь бесовски засуетилась «пятая колонна» того же самого, ненавидящего Россию Интернационала, который всегда хотел и до сих пор хочет одного — гибели нашего Отечества.

В самом деле, события в мире несутся как тайфун. Развалилось «социалистическое содружество», Варшавский Договор; исчезла с карты Европы ГДР. Запад торжествует победу, и самую

невероятную — развал СССР. Почему такое случилось? Все это из-за пораженческого «нового мышления», из-за фантастической сдачи геополитических позиций «архитекторами перестройки», из-за предательского одностороннего разоружения...

Возьмем «холодную войну», начатую Западом и длившуюся более сорока лет. Вот она как бы вдруг закончилась. Наши «архитекторы» восторженно провозгласили: наступают «безоблачные времена всемирной разрядки». И тут же началось невиданное по жестокости наказание Ирака «многонациональными силами» во главе с США, после чего американский президент объявил о «новом порядке» в мире — Pax Americana (Мир по-американски)...

Однако спросим: кто все же победил в «холодной войне»? Ответим: самый очевидный победитель — безусловно, объединенная Германия. Ныне в центре Европы вновь возникло великое государство. Сразу, в считанные месяцы Германия сделалась и политически, и экономически мощнее, самоувереннее и Франции, и Англии, и любой другой европейской державы. Сразу стала первой определяющей силой в «общеевропейском доме», куда, как известно, хотел, было, привалиться одной своей половиной громоздкий, устало-перестроечный Советский Союз. Но нет больше Советского Союза, а есть независимые, суверенные государства — Литва, Эстония, Латвия, Молдова... Украина и Беларусь. Выходит, их-то и задумывали втиснуть в европейский «новый порядок» архитекторы «нового мышления»?..

А что же Россия? Усталая и истерзанная за семь десятилетий гугаговского большевизма, за лукавый период разрушительной перестройки? Неужели она, как и бывший СССР, развалится на две части, на два «дома»? Один — так называемый «общеевропейский дом»: от Атлантики до Урала, где главенствовать будет объединенная Германия (вспомним, что того же хотел и Адольф Гитлер — загнать Россию за Урал...), другой — «общезазиатский дом», который вдруг усиленно взялись строить, и где господствовать, естественно, станет электронно-денежная Япония, да только ли она одна?

В общем, история повторяется...

Я все чаще думаю, и это, в-третьих, о том, что «застрельщики» перестройки в большинстве своем ведь тоже из поколения

Минаева и Егорова, однако те, действительно, были лучшими и погибли, но спасли отечество. Да, погибли лучшие — поэты, мыслители, политики... А эти? Что, плевелы поколения? Или презренные прозелиты, поменявшие веру, готовые поменять и Отечество? Лучшие не кричали бы о перестроечной или какой-либо иной революции, не предавали бы державные идеалы, не обрекали бы народ на позор и унижение перед Западом, а вот эти до сих пор клубятся, тусуются у власти...

Мне хочется, чтобы мы вспомнили, что только в любви к собственной стране, к нашему общему отечеству — по-суворовски до издыхания! — выживем перед исторически враждебной Европой, перед гегемонистски заносчивой Америкой. Потому что не следует в отношении Запада заблуждаться!

И еще надо наконец-то поверить: мы можем сами выдюжить! Как выдюжила против, казалось бы, непобедимой гитлеровской орды полвека назад, именно славянская Россия-Русь, российская Славия (да простят меня «и тунгус, и друг степей калмык»), выдюжила и торжествовала Победу в Берлине в 1945-м!

Неужели никогда больше не вспомнится нам недавнее величие Родины?..

Х

Есть в Москве редкая, пожалуй, единственная ратная церковь — Иоанна-воина на Большой Якиманке. Иногда я заглядываю в этот храм. Особенно в последнее время, когда неистовство новых западников перешло все границы. Постоишь у скромной иконы святому Ивану-воину — и душа облегчается от сомнений и горечи, и вновь укрепляются дух и вера в неизбежность воскрешения нашего Отечества.

Перед иконой я думаю о своем дяде Косте, комбате Минаеве, которого для себя причислил к лицу святых. А Витя Егоров — и в памяти, и в мыслях — непременно предстает живым, сосредоточенно-улыбчивым, таким, каким играл со мной «в Сталинград».

И само собой шепчется перед ратной иконой:

«Воспряньте, святые воины, молю вас. Воскресите в нас ваш гордый дух, ваш победный дух. Ведь святые не в земле должны покоиться, а здесь присутствовать — с нами, в жизни. Воспряньте! Воскресите — и себя, и нас...»

«День», № 21, 1991г.

ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

Выступление на УП съезде Союза писателей
России

11 декабря 1990 года

Я начну с цитаты о России и русских, чтобы ответить тем немногим из писательских рядов, кто в последнее время всюду — на собраниях, в печати, в Верховных Советах — пытается нагнетать истерию вокруг понятий национализм и шовинизм.

«Русский народ никогда не страдал национализмом. Нет ничего более далекого от русского сознания, чем национальное чванство, выразившее себя в песне «Дойчланд юбераллес». Чужестранец не вызывал в нашей стране ненависти или презрения. Я думаю, что многие русские в годы мира даже и не знали, насколько они привязаны к своей стране».

Это писал в одном из своих публицистических эссе 28 августа 1941 года Илья Эренбург. В год смертельной опасности для страны он произнес слова правды.

Да, русские не страдают национализмом, в русском сознании отсутствует национальное чванство, нет ненависти и презрения к чужестранцам. Да, в спокойные времена мы не думаем, насколько привязаны, насколько любим свою землю, свое Отечество!

Но вновь — в который раз в этом веке! — мы ощутили опасность, погибельную опасность, нависшую над Родиной — над Россией, над всеми нами. Наконец-то начинаем прозревать, понимать, что происходившие в последние годы политические и экономические процессы поставили во всей неприглядной сути вопрос о нашей независимости, о нашем державном суверенитете, о свободе оставаться самими собой, не предавая заветы предков.

Возникшая внутри страны «пятая колонна» поборников западного образа жизни, а попросту «пятая колонна» Запада уже многого достигла. Мы уже так далеко отступили от своих национальных и социальных идеалов, что положение, пожалуй, можно сравнить лишь с 1941-м. Потому что дальше отступить некуда!

Вспомним, как еще недавно кликушествовали прорабы перестройки: «Дальше!.. дальше!.. дальше!..» Теперь мы видим — и, по-моему, это уже осознает большинство народа, что их «дальше» означает превращение страны в полуколониальную, раздробленную территорию, над которой будут властвовать транснациональные монополии. Все эти рокфеллеры, хамеры, ротшильды, максвеллы, оппенгеймеры...

Хочу обратить ваше внимание на такой факт: беспрецедентным является в этом веке то, что американский президент Буш на третьем году пребывания у власти никак не успевает — именно: не успевает! — объявить традиционную президентскую доктрину. Потому что та цель, которую добивалась империалистическая Америка, а по нынешней терминологии имперские Соединенные Штаты, в борьбе за мировое господство, осуществляется ныне настолько стремительно, что никакая доктрина не способна определить задачи президентского правления. Бушу и его администрации только бы успевать закреплять успехи в фантастическом отступлении Советского Союза от своих государственных целей и интересов.

Задумайтесь и над таким фактом: наши «мальтийские рыцари», Шеварднадзе и Яковлев, через послушные им средства массовой информации пытаются убедить страну, что мы можем вооруженно, то есть своими Вооруженными Силами, участвовать в конфликте в Персидском заливе — за дешевый бензин для богатой Америки? Ну, мог ли кто-нибудь такое представить? Тот же президент Буш? Нет, никогда.

Встреча Президента СССР Горбачева с работниками культуры 28 ноября у меня вызвала горькое разочарование. Почти во всех выступлениях прозвучали боль и отчаяние — за судьбу Отечества, за судьбу культуры. А смысл президентской речи, в которой о проблемах культуры практически не было сказано ни слова, заключался в том, что он, оказываясь, пригласил писателей, композиторов, архитекторов, художников, артистов, скульпторов, искусствоведов лишь для того, чтобы получить у них «поддержку и понимание». Понимание того, что нынешняя политическая ситуация — «последний окоп». Можно согласиться с Президентом. Только хотелось бы уточнить: что это, последний окоп социализ-

ма? И вообще: кто в нем находится и какова дислокация сил по обе стороны этого «последнего окопа»?

В ноябре Президент также встречался с представителями армии, и мы запомнили произнесенные в Верховном Совете СССР слова: «Президент остался без армии!» Мне думается, что после встречи с представителями художественной интеллигенции он не найдет «поддержки и понимания» в ее кругах и, если все-таки можно так выразиться, то Президент остался и без культуры.

А разве народ понимает сейчас своего Президента? Разве поддерживает результаты его так называемой р-революционной перестройки? В самом деле: пусты прилавки магазинов, хотя собрали хороший урожай, работают фабрики и заводы. Однако: куда делись продукты и товары? Почему затоварены склады, не разгружаются железнодорожные составы? Почему безнаказанно буйствует спекуляция? Угрожающе разрослась преступность? Кооператоры наживают миллионные состояния, чаще всего сомнительным путем, а их не тронь, требуют власть предрержащие, будто они «священные коровы». А межнациональные конфликты? На окраинах льется кровь, и страшно произнести: в узбекском Намангане живыми сжигали «русских мальчиков» в военной форме... Разве это не современная Хатынь? Неужели можно к этому привыкнуть?.. Простить и забыть?.. Конечно, все перечисленное не новость, все об этом знают. Но ответ-то наконец должен быть дан: кто виноват?.. Почему такое происходит?

И о самом последнем нравственном оскорблении, нанесенном России, всем россиянам, о так называемой гуманитарной помощи Запада. О подачках, милостыни. Прежде всего, брошенной Гельмутом Колем, видно, в знак чрезвычайной благодарности за ту поддержку, которую оказал наш Президент в быстрейшем объединении Германии. Германские «гуманисты» теперь торопятся сбавить нам залежалый товар «из стратегических резервов». Для того чтобы обновить их!

Но главное: что же такое случилось у нас? Новый Чернобыль? Или новое землетрясение в Армении? Что, разве народ попросил эту милостыню у Запада? Нет! Это результат политического банкротства руководителей страны!

Замечу: никогда Запад не позволял себе унижать нас в государственном масштабе. И, ей-богу, я никогда не чувствовал себя

лично таким униженным и оскорбленным, как, думаю, и многие, многие другие.

И еще: чем неотвратимее мы приближаемся к очередному «светлому будущему» — к первобытному капитализму, тем большим становится желание крикнуть: «Люди, не дайте себя одурачить в очередной раз!» И призвать: «Берегите заветы предков! Берегите те социалистические завоевания, которые делают человека достойным и уверенным в завтрашнем дне!»

ОТЕЧЕСТВО — В ОПАСНОСТИ!

**«Советская Россия»
19 декабря 1990 г.**

ДУША В СМЯТЕНИИ

Выступление по всесоюзному радио
11 февраля 1992 г.

Разум протестует, на душе тревожно...

Я буду говорить о Родине. И о Времени, как его вижу. О том, что с нами произошло и происходит. Что, как мне кажется, мы не до конца осознаем, или о чем многие просто еще по-настоящему не задумывались.

Недавно в издательстве «Современник» вышла моя новая книга, названная «Гербовый столб». Да, именно так: гербовый, державный столб, нежданно явившийся в самой глубине Великой России во время поездки по пустынным проселкам из Оптиной пустыни в Белев, — каменный знак на старинной границе Калужской и Тульской губерний с чугунными губернскими гербами, над которыми державно распростер крыла двуглавый российский орел, символизируя соборность и неделимость бескрайнего пространства, — шестой части суши. И явился, как перст Божий, как суровый наказ предков в годину всеобщего развала великой державы, расчленения ее на суверенные и удельные куски, крайнего ослабления, этнического распада и даже вражды еще совсем недавно близких по духу и образу жизни народов.

Уныние и душевный разлад и как бы паралич воли определяют ныне нравственное состояние многих соотечественников. По крайней мере, из старших поколений, познавших и кровавое лихолетье, и умиротворенность бытия, — добро и зло. А новое, так называемое «демократическое» меньшинство, пришедшее к власти, разное по возрасту, но одинаковое по чувству государственного нигилизма, вновь усиленно разжигает пламя ненависти и мстительности и вновь стремится в этом трагическом для нас XX веке «перевернуть до дна» Россию, как выразился главный советник российского президента господин Бурбулис. А вице-премьер Гайдар, внук пламенного кровопускателя Хайдара, с пионерской жизнерадостностью проводит грабительскую либерализацию цен, возвращая капитализм, обрекая большинство народа на нищету, и, причмокивая на телеэкранах, нагло, прямо-таки садистски, объегоривает сограждан.

Во имя чего правительством российского президента устроен террор цен? Причин, видно, много, но главное — потрафить Западу, быть допущенным хотя бы в прихожую сильных мира сего.

В детстве, в послевоенном полуголодном детстве, у нас была полуигра, полузанятие «Нюхать колбасу». Непостижимо, но спустя столько лет, почти полвека, эта детская затея получает продолжение и, казалось бы, без всякой войны, без немислимых потерь и разрушений. К сожалению, не совсем так.

А в чем была суть этой забавы?

Мы, в основном, безотцовщина, дни напролет проводили на улице, на нашей уютной каменно-бревенчатой 3-й Мещанской, а когда подступало вечернее время, кто-нибудь обязательно кричал: «Ребята, бежим колбасу нюхать!» И веселой ватажкой неслись наперегонки в угловой «Гастроном» по улице Дурова. В отделе, где красовались на выбор различные сорта колбас, вареной и копченой, ветчина и окорока, мы жадно втягивали дурманяще вкусные запахи, бывало, до головокружений. А возвращались из «Гастронома» уже не веселой ватажкой, а понурые, и расставались молча. Дома, в наших тесных бедных коммуналках, скучно ели подмороженную сладковатую картошку, или серые слипающиеся макароны, редко посыпанные ложечкой сахарного песка.

Но все же по воскресеньям и непременно по праздникам наши матери покупали по 50, а то и по 100 граммов колбасы, порезанной так тонко — до прозрачности, как папиросная бумага. И всё же можно было вдосталь нанюхаться и даже вкусить.

Но в нас не было ни ропота, ни протеста, ни зависти, ни обид, потому что мы знали и понимали, как трудно было победить в войне и как нелегко восстанавливать растерзанную, разрушенную страну. Но главное: мы твердо верили, что скоро будет лучше, еще в нас крепко жила гордость победителей, — национальная гордость!

И тем нынешним, кто не любит Москву, Подмосковье, Россию и русских, а любит Нью-Йорк да Тель-Авив, Германию или Францию не следует очернять наши жизни, а, значит, и нашу историю. Мы помним, какими мы были, знаем, какими стали, и по-

нимаем, какими хотят нас сделать — Буши, Коли, Миттераны или Шамиры.

В страшное время мы живем. Уже, думаю, не смутное, а именно страшное. Началось оно с осени 1989-го, когда Горбачев и его присные окончательно сдались на милость Западу, предали Родину, — ее идеалы и достоинство. К сожалению, не все у нас понимают, что мы проиграли «холодную войну», эту колоссальную по напряжению геополитическую битву. И потому сейчас с нами делают всё, что обычно делают с побежденными, — навязывают чуждый нам образ жизни, грабительский капитализм, разоружение в одностороннем порядке.

Но, если мы осознаем до самых глубин — души, сердца, разума — свое поражение, то тогда, думаю, нам станут понятны, во-первых, сокрытые предначертания судьбы, а во-вторых, мы воспротивимся всему этому, воспрянем духом и найдем силы на подвиг спасения и возрождения.

Да, не смутное уже время горбачевской предательской перестройки, а именно страшное. Я сравниваю его с XIII веком — татаро-монгольским игом. Только ныне нас завоевывают не с Востока, а с Запада. Но и тогда, перед батыевым нашествием, было саморазложение Родины — на удельные княжества. И что? Примчались из глубин Азии в тучах пыли бесчисленные конники, предводимые жестоким ханом Батыем...

Мне часто представляется, что современный Батый — не конно-летучий, а тайно-упорный, — это американский президент Джордж Буш. По крайней мере, в моем воображении в веках: они соединяются вместе, как завоеватели Руси-России, — Буш и Батый.

Сердце рвется на части...

Мне грустно и печально сознавать все то, что с нами происходит, и то, что нам хотят навязать, — капиталистический рай. Мне, в мои журналистские годы, пришлось жить и работать при капитализме, и я хорошо знаю, что это такое. Это — во-первых, во-вторых и в-третьих, диктатура денег. И еще — вечный страх попасть в долговую яму, потерять работу.

В моей книге, уже упомянутой, в сборнике повестей и рассказов «Гербовый столб», есть часть, поименованная «Времена

Елизаветы II», — об Англии 70-х годов. Любой непредвзятый читатель, по-моему, легко уяснит, что даже так называемый «казарменный социализм» в сравнении с капиталистическим «обществом благоденствия» для обыкновенного человека имеет хотя бы два непреходящих преимущества. Первое — социальную защищенность, а по-другому, социальную справедливость. Второе — уверенность в завтрашнем дне.

А социализм не обязательно должен быть казарменным и однопартийным. Он может быть и демократическим, и многопартийным, и с «человеческим лицом», и со всеми свободами и правами, и, безусловно, с неукоснительным соблюдением законов. И с настоящей кооперацией — производственной, а не спекулятивной. И с предпринимательством, и с конкуренцией, и с частной собственностью. Со всем тем, что во имя многих, то есть народа, а не кучки коррумпированной мафиозной элиты.

Но наши новоиспеченные либерал-демократы, пришедшие к власти, благодаря наивной доверчивости народа, с бешеной оголтелостью строят капитализм наихудшего образца, да еще доказывают, что другого пути нет.

Разум протестует!

Да, мы побеждены — прежде всего, предательством... В первую очередь горбачевским, однако и «кремлевским путчем», и белодомовским контрпутчем, возглавленном Ельциным и закончившимся в декабре 1991 года в Беловежской пуще развалом СССР, о чем тройка обезумелых демлидеров — Ельцин, Кравчук и Шушкевич — тут же уведомила победителей, то бишь Вашингтон, а точнее — президента США Джорджа Буша.

Путчи, пущи — какое все-таки неистовое одурачивание! Ведь все шито белыми нитками, все на поверхности, однако же, продолжают дурачить!

Сейчас нас, как нацию, как народ, пытаются морально разложить, уничтожить психологически, духовно.

Расскажу один случай — о нищенствующем ветеране войны.

Недавно мне пришлось встречать поезд из Архангельска, который безнадежно опаздывал. На привокзальной площади, в ожидании, я невольно слушал щемящие сердце песни Великой

Отечественной. Их исполнял на аккордеоне с пожелтевшими клавишами одноногий ветеран в распахнутой давней шинели, из-под которой виднелся золотистый ряд медалей и орден Красной Звезды. Ветеран сидел на футляре и между вытянутым деревянным протезом и уцелевшей ногой в валенке лежала на газетке фуражка военных лет. Благодарные люди набрасывали в нее рубли, тройки и даже десятки.

Два парня в пятнистых армейских куртках, присев перед ветераном, налили ему граненый стаканчик водки – открыто, не таясь. Один из них сгреб сильной клешней денежную горку и сунул в карман ветеранской шинели. Правда, мне почему-то показалось, что деньги остались в его рукаве.

Тут объявили, что архангельский поезд задерживается еще на два часа, и я уехал с вокзала. Когда же вернулся, первое, что меня поразило, те же самые парни опять приседали перед ветераном: один подносил стаканчик, а другой проделывал ту же самую операцию с денежным подаянием. Старик уже был хмельным, исполнял совершенно непонятное попури. А парни стояли напротив, метрах в десяти, небрежно облокотившись на железный барьер, и покуривали. Я незаметно приблизился за их спины и услышал такие фразы:

— Говорил же тебе, не подноси последнюю. Сломался дядя Петя.

— А пошел ты!.. Скажи лучше, сколько?

— Кусок наберется.

— Ну, ладно, давай уводить.

Дядя Петя в самом деле сломался, бросил играть и упал хмельной головой на меха аккордеона. Когда они его куда-то уволакивали, на них налетела гневная старушка, крича: «Паразиты. Грабители!»

И тогда я о многом догадался. Я понял, что парни эти, в самом деле, «паразиты» и «грабители». Они без стыда и совести используют «дядю Петю», возможно, и родного дядю, делая деньги. Да, на нашей с вами ностальгии. И, конечно, считают этот свой бизнес вполне нормальным — в нынешней нашей стране, где всё дозволено.

У меня никак не выходит из головы интервью, которое дал в телепрограмме «До и после полуночи», уезжая послом в Израиль, небезызвестный Александр Бовин, бывший до этого политическим обозревателем «Известий». Он говорил, как и многие из его круга, что СССР — «страна рабов», что должны исчезнуть, по крайней мере, два поколения, чтобы никто уже не помнил о социалистическом рабстве.

Удивило меня не то, что Бовин обличает социализм, который очень долго воспевал — и как помощник Брежнева, и как обозреватель газеты. Поразило другое, то, что он, Бовин, знает срок. Срок, за который должен переродиться народ. Уйдет на это, заявил он, сорок лет. В доказательство господин Бовин привел притчу о пророке Моисее, который 40 лет водил еврейский народ по пустыне, чтобы умер последний, помнящий египетское прошлое.

Если будет так, как предсказывают и хотят Бовин и компания, то уже в первой половине XXI века должен, прежде всего, исчезнуть, переродившись, русский народ. Сейчас, когда бушует всеобщая суверенизация, государственных начал в России лишен только один русский народ.

Президент Ельцин с невероятным упорством избегает даже произносить слово «русский». Для него существует лишь обезличенное понятие — россияне. То есть: якуты, татары, мордва — и все другие. А что же с русскими? В России? В Казахстане? В Прибалтике? В Крыму? Повсюду! Что, уже происходит тайно задуманная и тайно осуществляемая денационализация русского народа? И через сорок лет всё пространство бывшего величайшего государства, созданного нашими предками, раскромсанное на 15, а в будущем, возможно, на 20, 50, 100 частей, начнет общаться между собой даже не по-русски, а скажем, на эсперанто?..

Всё, что происходит ныне, — погибельно! Все, кто правит ныне, — погубители! Они, или не ведают, что творят, или очень хорошо ведают. Запад — и это следует четко помнить! — никогда не захочет великой России и никогда не откажется от устремления завоевать шестую часть света.

Да, разум протестует, душа в смятении...

ДОПРОС С МЕФИСТОФЕЛЬСКОЙ УСМЕШКОЙ

Когда попадаешь в пустые, затаенные коридоры на четвертом этаже казарменного здания, что недалеко от Рождественского бульвара — в Малом Кисельном переулке, где разместилась самая активная московская прокуратура — прокуратура Дзержинского района... Кстати, и памятник «железному Феликсу» снесли, и площадь его имени вновь обозвали Лубянской, а район по-прежнему Дзержинский. Так вот, когда идёшь по гулким пустым коридорам и слышишь из-за приоткрытой двери — «Я его на первом вопросе сломал...», когда, заглянув в окно, видишь глухой квадратный дворик с чахлым деревцем, невольно думаешь о прогулках известных узников «Матросской тишины»... Да, на верхнем пустынно-зловещем этаже с десятками прокурорских комнат возникает неосознанный комплекс твоей виновности. И следователь Майданчук, внешне напоминающий комиссара времен гражданской войны с мефистофельской усмешкой, в самом начале допроса, как бы между прочим, бросает «У каждого юриста своя версия». А ты, допрашиваемый свидетель, мол, смекни: можно ведь и так повернуть дело, что окажешься обвиняемым.

В наши подлые времена предательства и измены, называемые «демократическими», следователь Дзержинской прокуратуры допрашивал меня за публикацию в «Правде» статьи о позорных событиях в Останкине 22 июня этого, 1992-го, года. Лично у него за четыре месяца работы следственной группы я был, как он заметил, «кажется, двухсотый». Кстати, на мое замечание: мол, столько допросов, а власти неустанно твердят о свободе и демократии, господин Майданчук, опять по-мефистофельски усмехнувшись, произнес: «Да бросьте! О какой демократии вы говорите? Где и когда она была?»

Честно скажу, что от всего допроса по прошествии успокоительного времени у меня в памяти задержались, прежде всего, реплики следователя, но не вопросы по сути следственного дела, кроме, пожалуй, одного, о чем еще упомяну. И реплики были направлены на то, чтобы произвести психологическое давление, этак небрежно, слегка попутать. Этой «терапии» запугивания, как

я понял, только в «группе по печати», где, как было упомянуто, заняты пять следователей, подверглась уже почти тысяча наших законопослушных сограждан.

Так вот, реплики. Допрос начинается с заполнения анкеты. Пункт четвертый — о партийности. Спрашиваю: «С какой стати?» «Ну знаете, — говорит следователь, — некоторые даже подчеркивают, что остаются членами КПСС или там РКП». Прошу сделать прочерк; а сам невольно думаю: что, опять, как в оные революционные времена.

Пункт пятый — о национальности. Следователь спешит предвосхитить мой ответ: «Ну вы, конечно, русский». «Да, конечно», — подтверждаю. И опять ухмылка. «А вы знаете, — заявляет Майданчух, — что скоро пункт о национальности будет отменен?»

Задумайтесь, читатели! И прежде всего русские. Миллионы которых в своей стране окажутся... кем?

Главное, чего хотел от меня добиться следователь Дзержинской прокуратуры, так это того, что сто русских писателей, протестовавших против жестокой расправы над пикетчиками у телецентра «Останкино» на рассвете всем нам памятного дня 22 июня и участвовавших в марше по проспекту Мира и в митинге у Рижского вокзала, где колонны были остановлены многотысячным заслоном московской милиции и ОМОНа, так вот, он добивался подтверждения, что писатели явились в Останкино сплоченной, организованной группой.

Эх, господин следователь! Плохо вы представляете, если вообще представляете, индивидуальную писательскую душу! Однако не все так просто. Подумайте: как бы хорошо легло в следственное дело «свидетельское показание» о том, что да, мол, была организованная группа писателей. Ах, какая «улика» для будущей расправы над непокорным Союзом писателей России!

Кроме всего прочего, должен заметить: аппарат для быстрых прокурорских расправ над инакомыслящими и протестующими — над всей оппозицией ельцинскому антинародному режиму — уже создан. Я хорошо это почувствовал там, на четвертом этаже дзержинско-лубянской прокуратуры. И не только создан, а весь в нетерпении. И это — второе тревожное ощущение, которое я вынес после допроса. Ощущение подвигающейся демократуры,

которая будет, очень и очень похожа на то, что мы уже переживали.

И еще об одном впечатлении: меня не покидало в этом казарменном здании с каменным двориком для прогулок политзаключенных ощущение, что я это все хорошо знаю. Будто не в первый раз здесь, будто бывал, будто мне отлично известно о том, что происходило за закрытыми дверями следственных комнат. И я вспомнил: да это же описанная И. А. Буниным в «Окаянных днях» Одесская ЧК! Или Петроградская ЧК на Гороховой при кровавом правлении Григория Зиновьева.

И я спрашиваю: что, в Дзержинском районе Москвы мэрия и правительство возрождают ЧК-ГПУ? Правда, теперь под прокурорской вывеской?

Ответа не последовало.

**«Правда»
25 ноября 1992 г.**

АНГЕЛЫ РЫДАЮТ НАД МОСКВОЙ

В пулевые отверстия вставлены красные гвоздики. Отверстия — в волнистом дюралюминии. Им прикрыли неприглядную заднюю стену административного корпуса. Внизу, под падающими серебристыми волнами, продырявленными из карабинов, полоска ржавого мха. Он вырос на асфальт там, где стекает с крыши вода. Обычно, до самого снега, мох темно-зеленый. Поржавел же в ночь на 5 октября от крови расстрелянных здесь, у глухой стены. Как ни старались потом начисто смыть следы преступления, мох кровь не отдал. Соскрести его не догадались.

На этой ржавой полоске горят поминальные свечи. Сороковой день после расстрела — 13 ноября 1993 года. Расстрела немислимого, жуткого... Горят свечи и на железных крышках двух мусорных контейнеров у боковой стены. Перед ними, расщепленный пулями, деревянный ларь, тоже мусорный. И на нем горящие свечи.

Это страшное место как бы загон — задние стены трех административных бараків стадиона «Красная Пресня». Глухое пространство примерно в сорок квадратных метров. Но это — и проход к бассейну, выложенному голубой плиткой. Она полиняла ко дню поминовения.

Расстреливали омовцы. Убитых отволакивали к бассейну, метров за двадцать, и сбрасывали. Бассейн наполнялся кровью, и в этой черной крови стыли трупы.

Об этом рассказывает женщина, которая всю ночь в безумном испуге пролежала под одной из частных машин, припаркованных напротив бассейна. Женщине лет пятьдесят. Она в куртке пепельного цвета, на голове — черный берет. Лицо, как и куртка, пепельное, изможденное — от бессонницы, душевных мук. В глазах — исчезнувший страх, и это, видно, надолго, если не навсегда.

Две интеллигентные дамы из домов напротив рассказывают, что расстреливать начали в сумерки 4 октября, и эта кровавая вакханалия продолжалась всю ночь. Они очень прилично одеты, и их никак не причислишь к «Трудовой Москве». Говорят потрясенно: «Какие бы ни были наши взгляды до этого дня и последо-

вавшей ночи, но то, что случилось, чудовищно, и все мы теперь абсолютно беззащитны перед властным произволом». Кстати, о том, что «плохо спится после штурма» писала газета «Труд» (7.10.93). Многие из тех, кто живет недалеко от Дома Советов, просыпались «от звуков автоматных очередей». В этой же заметке сообщается об аресте «группы приднестровских боевиков»: «Боевики и их предводители задержаны. Началось расследование...» Многозначие поставлено не мною, а автором заметки.

В те же дни другие газеты сообщали (в частности, «Независимая газета», 6.10.93), что на стадион «Красная Пресня», который в ста метрах от Дома Советов, согнали до 600 «пленных». «Победители» молчат: не опровергая факты, не подтверждая их. *Победители, пленные* — терминология газет в самые первые дни после *боя в центре Москвы*, или *штурма «Белого дома»*. Те из *пленных*, кто уцелел, рассказывают: для омонцовцев привезли на стадион ящики с водкой — «Столичной», в литровых бутылках. Палачи употребляли ее без ограничений. После чего свирепо расправлялись с обреченными. *Пленные* оказались как бы безмянными: у тех, у кого были с собой документы, отбирали. Когда отфильтрованных вели к низким административным корпусам, судя по всему, они не подозревали, что их ведут на расстрел. Похоже, они были уверены, что их там запрут, как во временной тюрьме. Наверняка, они вспоминали о Чили, о пинчетовском путче, когда впервые стадионы превратили в концлагеря.

Наивные русские люди, так ничего и не понявшие до конца. И у последней черты они не верили в палаческий беспредел правящих вурдалаков. Хотя, думаю, в последний момент догадывались, когда резко ударял в ноздри острый запах свежей крови и гнилое пьяное зловоние омонцовских плоток. Но было уже слишком поздно.

Расстреливали, как теперь мы знаем, только рядовых защитников Дома Советов. Тех, чья смерть не возмутит «международную общественность». Осатаневшие *победители*, конечно же, в первую очередь расстреляли бы несдавшихся депутатов, оппозиционных журналистов, всех, кто способен собрать воедино картину и inferнальный смысл происходящего. Не решились. Или не разрешили за океаном. Однако и депутатов, и журналистов, и всех других непокорных зверски избивали, калечили.

Но самое страшное, по-моему, то, что в верхах были такие, которые требовали пойти на все. Были и остаются.

Меня потрясло выступление в Элисте президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Он вместе с президентом Ингушетии Русланом Аушевым пытался остановить кровавую бойню. В 15.00. 4 октября они прорвались в Кремль на совещание субъектов Российской Федерации. Прямо из осажденного, расстреливаемого из танковых орудий «Белого дома». Они призвали к примирению и милосердию. Цитирую дальше по газете «Советская Калмыкия» (9.10.93): «На что руководители России сказали, что их вообще нужно уничтожить, стереть с лица земли. Потом вскочил Борис Немцов, губернатор Нижнего Новгорода: «Давите, давите, Виктор Степанович (Черномырдин, премьер-министр РФ — Авт.), времени нет. Уничтожайте их!» И другие губернаторы регионов начали говорить: надо их уничтожить, всех расстрелять».

Палаческая работа ужасна, и палачам никогда не смыть кровь своих жертв. И все-таки, что ужаснее: каннибальское решение или исполнение его? Попробуйте ответить, Виктор Степанович. Ведь страна всё запомнила: и каннибальский расстрел российского парламента, показанный на весь мир американской компанией Си-Эн-Эн (кстати, почему американской?..), и каннибальскую расправу, официально скрываемую, в самом Доме Советов и за его пределами, в частности на стадионе «Красная Пресня», с теми, кто защищал конституционный строй.

Так и звучит неотвязно: добить... уничтожить... расстрелять...

Кого? И за что? И ради какой такой великой цели? Разве уже запомнили, что X съезд народных депутатов принял решение о «нулевом варианте» — об одновременном переизбрании Советов и президента? Тогда ради чего, а главное — ради кого уничтожили высший законодательный орган страны? И объясните нам, глупым, *свою великую цель*? Однако замечу, что и самые великие цели никогда в истории не были оправданы кровавой расправой над инакомыслящими.

... В поминальный день на расстрельное место на задах стадиона «Красная Пресня» приходили очень многие из тех, кто участвовал в панихиде. Место притягивало. В этом кровавом загоне, в этом замкнутом пространстве охватывало тяжелое чувство не-

законченности трагедии. А кроме того, реально ощущалось присутствие душ убиенных.

Мне однажды пришлось подобное испытать: в Майданеке под Люблиным, где был фашистский концлагерь по уничтожению людей, точнее, фабрика смерти. И здесь, как и там, они, невидимые, присутствовали среди нас. Жутко не было. Была растерянность. Была тоска. Были гнев и непростительное.

Они нас не отпускали, да и сами мы не уходили. Нам надо было понять и до конца поверить. И убедиться, и убедить их, что, нет, — *никто не забыт, и ничто не забыто*.

Странно, необъяснимо, но среди нас ходила сама Смерть. Бледная, худая женщина во всем черном. На ее узком лице змеилась полуулыбка. Эта женщина-смерть приставала к каждому из нас с просьбой сфотографировать. У нее был маленький фотоаппарат. От ее дикого, страшного предложения все шарахались. Вообще, казалось, что она никого не видит, несмотря на то, что в каждого из нас упирался пристальный, настойчивый взгляд тусклых, черных глаз.

Эта женщина-смерть пугала. Пугала до озноба, всем своим видом, синюшной бледностью лица, необъяснимой настойчивостью зачем-то кого-то сфотографировать. Она не была сумасшедшей, или родственницей погибших, расстрелянных, исчезнувших. Она не прислушивалась к нашим разговорам и, будто бестелесно, скользила между нами со своей зловещей просьбой и змеиной полуулыбкой.

Я давно заметил, что в особых местах, где совершалось несправедливое насилие, обязательно присутствуют подобные люди, будто призраки, обретшие плоть. В Майданеке меня и мою пани-переводчицу преследовал странный призрак-мужчина — с черными, вислыми до плеч волосами и неподвижным, совершенно бескровным лицом. В какой бы из барачных мы не заходили, он уже молчаливо стоял там. Пани занервничала, вспыхнула и, не выдержав, обратилась к нему: «Почему вы нас преследуете?» Он леденяще холодно глянул на нее и ничего не ответил. Но исчез. Однако, когда мы достигли крематория и пугливо вошли в него, он стоял между печей, поджидая нас. В углах его блеклого, лилового рта змеилась полуулыбка, как и у черной женщины на стадионе «Красная Пресня».

Все это не мистика. Это реальность таких мест. По крайней мере, так нам тогда объяснили сотрудники музея-концлагеря, многое уже познавшие из ирреального. Там, на бывшей фабрике смерти, в страшном Майданеке...

Повторяю: расстрельное место не отпускало. Я закурил, отойдя к железной решетке забора, где было посвободнее. Очутился рядом с высоким мужчиной, которого назвал бы парнем, настолько он казался спортивно-молодым, если бы не девочка, лет шести, в белой шубке, очень на него похожая, которую он крепко держал за руку, — светленькую, с правильными чертами лица, синеглазую. О таких говорят — как куколка. Да и сам он был атлетически красив, с лицом мужественным, только остановившийся взгляд серых, стального оттенка глаз был тоскливо задумчивым, печальным.

Мы некоторое время молча курили, уставившись в расстрельную стену с красными гвоздиками в пулевых отверстиях, а потом, почему-то на «ты», я спросил его:

— Ты не знаешь, кого все-таки здесь расстреливали?

— Знаю, — твердо ответил он, взглянув на меня испытующе. — Я был здесь в ту ночь.

— Ты из защитников?

— Да. Нас взяли на втором этаже Дома Советов. Пригнали на стадион. — И он замолчал.

— Ну... И кого же расстреливали?

— Расстреливали тех, кто говорил им в лицо: «Сволочи!» Или отказывался держать руки на затылке. Избивали и тащили вот сюда. В общем, — добавил сумрачно, — всех тех, кто им не нравился. У них ведь был приказ на уничтожение.

— Могли и тебя?

— А что я для них — ценность? — в его голосе металлически зазвучала дрожь. — Разве не тот же «совок»? Не «красно-коричневый»? Впрочем, теперь они нас называют попроще — чернь. Которую не жалко и уничтожить. — Глухо заключил: — Уцелел чудом.

Он бросил окурок под ноги, притушил и, не попрощавшись, потянул молчаливую, испуганную дочурку в людское скопище. Они протиснулись к расстрельной стене, и я наблюдал, как он перекрестился, склонил надолго голову. И как вслед за ним неумело

сделала то же самое девчушка, собрав все пальчики в щепотку, и потом гибко наклонилась, уткнула их в ржавый мох около горящих свечей.

И наблюдая за ними, я вспомнил о тезке «всенародно избранного», о Борисе Немцове, губернаторе Нижнего Новгорода, по возрасту ровеснике этого парня, который вел себя на правительственном совещании, будто в древнеримском цирке, неистово требуя: «Давите, давите... времени нет. Уничтожайте их!»

У Владимира Набокова есть суровое, очень точное по ощущениям стихотворение — «Расстрел». Вот последняя строфа из него:

Всё. Молния боли железной,
Неумолимая тьма.
Воя, кружится над бездной
Ангел, сошедший, с ума.

Сколько ангелов, сошедших: с ума сейчас кружит и рыдает над Москвой? Над всей Россией?

**«Правда»
23 декабря 1993 г.**

РАССТРЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Следственная группа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как я понял, была создана в кровавый день 4 октября 1993 года, — когда еще дымился расстрелянный из танков Дом Советов. Когда там еще складывали в штабеля трупы защитников Конституции. Когда еще продолжалось кровавое побоище в центре Москвы и зверствовали отряды ОМОНа, согнанные со всех концов страны. Конечно, не только они, но, похоже, именно им поручалась самая грязная палаческая работа.

Вот тогда и возникла многочисленная следственная группа Генпрокуратуры, как бы призванная разобраться в «массовых беспорядках» и «найти виновных». И туда тоже со всех концов страны собрали следователей вроде бы из-за нехватки таковых в Москве и под благовидным предлогом «непредвзятости» и «объективности» расследования. Но все это мы уже проходили. И отлично представляем амбиции и податливость «человека из провинции», получающего свой редкий шанс продвинуться по служебной лестнице в столице, преуспеть на жизненной стезе.

Допрашивал меня молодой следователь из Карелии Олег Витальевич Нескоромный. Должен отметить, допрашивал с тактом и профессиональным умением. А мне было грустно, да очень грустно сознавать, что он, судя по всему, неплохо зарекомендовавший себя в непростых уголовных делах, вовлечен в неблагоприятную политическую затею по созданию компромата на оппозиционных журналистов и писателей.

И еще об одном: молодой следователь из Карелии вел допрос в доме, известном не только всей Москве, но и всей стране, и не своим темным, а, наоборот, светлым прошлым, куда всегда любой гражданин мог прийти и, по крайней мере, быть выслушанным, — в бывшей Приемной Президиума Верховного Совета СССР, а затем — РСФСР и РФ. Этот знаменитый 4-этажный дом салатного цвета напротив Троицких ворот Кремля в те печальные дни был передан следственной группе Генпрокуратуры, — и можно представить всю масштабность ее деятельности!

Так вот, этот, светло-зеленый угловой дом на бывшем проспекте Калинина, с которым десятилетиями связывали надежды

на справедливость — вспомните хотя бы толпы «ходоков»! — ныне становится символом карательных органов, сурового прокурорского надзора. Что ж, меняются времена, и сколько бы ни кричали власти предрежащие о демократии, а тем более о правах человека, символы мстят. Они убеждают и Фому неверующего.

Кстати, и сама Приемная Президиума Верховного Совета будто сопротивляется нововведению: внутри здания всё — мебель, ковры, картины, сами стены — остались вроде бы неизменными, только вот изгнанный оттуда дух человеческой благожелательности как бы омертвил коридоры и кабинеты. Впрочем, и сами новопоселенцы, как мне показалось, чувствуют себя там, в этом прославленном доме, неуместно, неуютно, даже стеснительно, — как говорится, не в своей тарелке.

Моя штриховая, зарисовка знаменитого московского дома и дел, ныне в нем творящихся, как мне думается, дает представление о том, куда мы движемся. А мы сползаем, судя по всему, в «ад политических репрессий», к тому, что фарисейски неистово разоблачали так называемые демократы в годы горбачевской перестройки, пока не дорвались до власти. Адом репрессий они называли сталинские чистки 1930-х годов, созданный ягодами и берманами архипелаг ГУЛАГ. И позже еще фарисействовали, пока в 1991 году, напялив на себя западные идейные одежонки, не вскочили в вожделенные для себя кресла, не начали вновь экспериментировать над страной и народом.

Жаль Россию! Жаль потому, что созрел наш народ к демократии и свободе, и к уважению законности, и не только созрел, а выстрадал это свое желание и убеждение. Да вот только «новые русские», в большинстве своем из партийно-хозяйственных бюрократов-оборотней, холопствующие перед Западом, перед Клинтоном и компанией, не дадут. Нет, не дадут...

Но вернемся к допросу. В самом начале ни я никак не мог понять, ни следователь Нескоромный, не искушенный в политической интриге, никак не мог мне объяснить, на основании чего — каких законов или указов Ельцина — меня привлекают к ответственности? Неужели только за публикацию в «Правде» (23.12.93) моего очерка «Ангелы рыдают над Москвой»? За то, что я посмел рассказать о расстрелах на стадионе «Красная Пресня» в жуткую ночь с 4-го на 5-е октября? Однако, если за публи-

кацию, то тогда нарушается Закон о печати и, следовательно, я не обязан давать показания. Допрашивать надо тех, кто расстреливал и кто давал приказы расстреливать.

Конечно, и следователь, и я понимали, что именно за публикацию об этих каннибальских расстрелах, которые властям скрыть не удалось. Ну а уж раз я публично высказался, возмущенный, то должен быть ненавязчиво, но прозрачно предупреждён, а в дальнейшем, при, подобном возмущении, наказан. Вот это я и должен был уразуметь, явившись в новый генпрокурорский дом напротив президентского Кремля. В конце концов, следователь Нескоромный нашел повод для допроса из арсенала привычных ему уголовных дел: мол, вы упомянули в публикации женщину, которая пролежала всю ночь с 4-го на 5-е октября под частной машиной, припаркованной у административного корпуса, на задах которого, как она уверяет, а за ней и вы, производились расстрелы, — так вот:

— Не узнали ли вы случайно, как зовут эту женщину?

— Да кто же в таких местах, да еще во время панихиды, спрашивает имена-отчества и фамилии? — отвечал я. — И кто станет называть себя, понимая, чем это сейчас грозит? И вообще, — заявил я, — вам бы лучше допросить министра Ерина и тех омонцев, которые выполняли приказы на уничтожение. Кстати, уже после своей публикации я прочел в газетах, что на стадионе «Красная Пресня» действовал омский ОМОН¹.

— Мы допросим при необходимости, — скромно сказал, следователь Нескоромный. А на то, кто конкретно выполнял «приказы на уничтожение» на стадионе «Красная Пресня», никак не отреагировал. То есть не услышал мое упоминание об омонском «эскадроне смерти» из Омска. И перевел допрос на водку. Да, на обыкновенную водку, которой поили карателей, вершивших «мокрые дела».

— Откуда вам известно, — спрашивал следователь, — что водка была в литровых бутылках и марки «Столичная»? Ведь вы не были ни в «Белом доме», ни на стадионе «Красная Пресня» в те дни?

¹ «Советская Россия» от 28.12.93. — Авт.

— Но именно о такой водке говорили на стадионе «Красная Пресня» в день поминовения 13 ноября, — отвечал я. — Если бы она была в обычных бутылках, то наверняка русский человек не обратил бы на это внимания.

— А вы знаете, — сказал следователь Нескоромный, — внутренние органы отрицают, что их сотрудники употребляли спиртное в те дни? И доказать обратное практически невозможно.

— Я ничего не доказываю, — отвечал я. — Написал то, что утверждали и, видно, не без оснований те, кто уцелел после омовских фильтраций. Кстати, если вспомнить, — вставил я, — то во время войны, чтобы подавить страх, давали знаменитые сто грамм, — а кому-то и больше.

Следователь счел нужным на это никак не отреагировать. Он вернулся к женщине-свидетельнице, которая в ту черную ночь все-таки видела, как расстреливают защитников Дома Советов, как стаскивают расстрелянных к бассейну, который наполнялся кровью и трупами. И я наконец-то догадался, насколько эта живая свидетельница пугает карателей. Ведь придет время, и она заговорит, назвавшись и по имени-отчеству и по фамилии, и вспомнит все до мельчайших подробностей. Думаю, что не только она. Обязательно, как всегда бывало в подобных страшных обстоятельствах, найдутся и другие живые свидетели. Более того, не исключая, что кто-то из расстрелянных в ту жуткую ночь все-таки выжил, — и он тоже ждет своего часа, чтобы объявить во всеуслышание истинную правду о том чудовищном, что происходило на стадионе «Красная Пресня» после сдачи «Белого дома».

В общем, следователь О.В. Нескоромный провел допрос в ракурсе своих профессиональных понятий, выполняя особый политический заказ. На каждом допросном листке, как положено, я собственноручно расписался. И было странно читать корявый следовательский текст допроса, который в целом оказался кратким пересказом моего очерка. Но страшная суть в другом: в том, что корявый текст становится теперь основой для возбуждения судебного преследования. Ведь все будет зависеть от перемены политической ситуации, от того, будет ли запущена машина репрессий. А уж если начнется тот самый репрессивный ад, подобный сталинскому в 1930-е годы, то исполнителей найдется нема-

ло, и дела о неблагонадежных — о врагах демократии, рыночного прогресса и нового мирового порядка — закрутятся, как в калейдоскопе, понесутся по бешеному конвейеру. Как уже бывало в нашей стране в нынешнем веке.

Вот такие тревожные мысли не покидают меня после посещения знаменитого московского дома напротив Троицких ворот Кремля, где десятилетиями толпились наивные «ходоки», а в недалеком будущем, не дай Бог, будут толпиться не менее наивные родственники «неблагонадежных» — убежденных противников расстрельной демократии, американского мирового порядка и превращения России в третьеразрядное государство.

В заключение хочу сказать одно: опомнитесь! Да, опомнитесь, соотечественники! Оглядитесь вокруг и поймите, что всё же творится в стране? Кем творится? И во имя чего?

**«Литературная Россия»,
25 февраля 1994 г.**

ВОСКРЕСЕНИЕ УБИЕННЫХ

3 апреля, в солнечный день — такой редкий в нынешнюю несрочную весну — всю широту улицы Красная Пресня затопило поминальное шествие в честь жертв Черного Октября.

На «Казачьей заставе» у расстрельного стадиона «Красная Пресня», у креста поминального под двумя корявыми деревьями, обтянутыми траурным крепом, состоялся митинг — краткий, со словами правды и покаяния. На нем выступил и легендарный подьесаул Морозов, выживший чудом, — шесть огнестрельных ран! Он, думаю, выразил общее умонастроение: Ельцин должен уйти и никакого согласия между палачами и жертвами быть не может.

Монахи Ново-Спасского монастыря, как и сороковину в ноябре, отслужили полугодовую панихиду.

Народу присутствовало тысяч пятьдесят, не меньше, хотя желтая демпресса опять безбожно лгала — «около пяти...»

Самое потрясающее впечатление, никак не уходящее из памяти, то, что вызывало почти у каждой женщины слезы, да и у мужчин тоже, — это шествие портретов, именно так хочется обозначить увиденное, потому что это действительно было шествие убиенных... Всех тех, кого власти предрержащие оклеветали, называя «бандитами», «нелюдью», «коммуно-фашистами». Кого обливали грязью и после смерти, унижали — 14-ти и 17-летних, 18-ти и 20-летних, и всех других постарше.

По какой-то высшей воле портреты несли не скучено, а на свободном пространстве, отъединенно или малыми группами, с долгими расстояниями между рядами и потому в долгой нескончаемости, когда каждого убиенного можно было рассмотреть. Потрясенно рассмотреть... Какие хорошие лица! И невольно вспомнилась старая истина: лучшие погибают первыми. И так же потрясенно вглядывались в пустые траурные рамки — без фотографий, лишь с траурной полоской в углу... И читали, читали фамилии, имена-отчества, в абсолютном большинстве русские, и цифры прожитых лет — юных, зрелых.

И это на самом деле было шествие убиенных, которых сопровождали родители, или родственники, или жены, или сорат-

ники, да просто живые сотоварищи. А в общем, все мы — пятьдесят тысяч москвичей.

Москва такого не видывала. По крайней мере, с семнадцатого года — с похорон мальчиков-юнкеров...

Такого общественного, душевного отклика. Такого протеста против несправедливых, кровавых властителей.

Да, это свыше подсказка: *смертию смерть поправ, — воскресение...* В великий пост, в начале Крестопоклонной недели.

Гнева не ощущалось. Была всеохватывающая печаль: за что их убили? Мысль об отмщении возникала, но не призывно, не как непосредственное действие, а по законному принципу справедливости, неминуемости наказания. Потому что без отмщения, без наказания преступников, всей остальной России жить дальше будет трудно. Просто нельзя. Потому что теперь уже ясно, кто они, эти нераскаявшиеся убийцы, и на что еще способны.

Как-то само собой ответилось на главный вопрос: что же все-таки произошло в Москве в Черный Октябрь 1993 года? Когда из танковых орудий был расстрелян и подожжен «Белый дом» — Дом Советов. Так уничтожалась Советская власть, осуществлялась *десоветизация* России.

Уничтожали прежде всего русских, тех, кто открыто восстал против «нового мирового порядка». Повторяю: в абсолютном большинстве убиенные 3-4 октября — русские люди. И заклание русских тоже шло по ритуалу, разработанному в тайных кабинетах, судя по всему, где-то в Америке. Иначе, с чего бы это ритуал заклания русских показывать на весь мир американской телекомпании Си-Эн-Эн?

«С чего бы, Виктор Степанович?..» Я уже задавал господину Черномырдину этот вопрос на страницах «Правды» (23.12.93). Молчит. Ну, а задавать такой вопрос господину Ельцину, каждый ныне понимает, бессмысленно. Ведь впервые нам всем публично объявлено, что президент «новой России» — командор Мальтийского ордена. Того самого зловещего масонского ордена, во владениях которого, на Мальте, в декабре 1989 года Бушем, Горбачевым, Шеварднадзе и Яковлевым был согласован новый мировой порядок. И мы уже, кстати, однажды видели, как он утверждает-ся: вспомните январь 1991 года, варварские смертоносные бом-

бардировки Ирака, показанные впервые в прямом эфире американским телевидением на весь мир...

Мне становится очень грустно и по-горькому смешно, когда наивные люди задаются вопросами: зачем было стрелять из танков по Дому Советов? Зачем нужно было устраивать кровавые побоища — в Останкино?.. вокруг поверженного «Белого дома»?.. на стадионе «Красная Пресня»? Зачем нужно было правительству Черномырдина переселяться в Дом Советов и именовать его отныне Домом правительства? Зачем вообще был нужен гулаговский концлагерь в центре Москвы, а затем каннибальский его штурм?

Ответ на эти вопросы, как и на подобные им, один — во имя *нового порядка*, которому привержены президент и его окружение. Выжечь огнем, покарать смертью. И обязательно — чтобы удовлетворен был Запад — показать его в назидание всему миру широко на телеэкранах. Мол, так будет со всеми, *кто не с нами, а против нас*.

Но князья мира сего не всеильны И злодеяния их не беспредельны. И наказание им — неотвратимо. И доказательство тому мы наблюдали в солнечное воскресенье 3 апреля. На поминальном шествии в честь жертв Черного Октября. Прежде всего — в честь погибших защитников конституционного строя России. Тех, кто открыто встал на защиту достоинства Родины и ее независимости, законопорядка и общенародных благ. И они, эти убиенные, теперь воскресают — *смертию смерть поправ...* И вместе с ними воскресают души многих живых, еще недавно казавшиеся мертвыми. Воскресают к новым подвигам.

Да поможет нам Бог!

**«Литературная Россия»
15 апреля 1994 г.**

ЛЮБИТЬ РОССИЮ — ЭТО ПРАВСТВЕННО

Выступление на отчетно-выборной конференции Московской организации Союза писателей России

22 ноября 1995 года

Мы все — и который уже год! — с грустью и с горечью недоумеваем: отчего нынешние правители России так откровенно не приемлют русскую литературу? Отчего в средствах массовой информации народу упрямо, с иступленной настойчивостью внушается, что ему совсем не нужны современная русская проза и поэзия? И в чем, все-таки, причина такой параноической неприязни к писателям? Вообще, к русской культуре?

Простые ответы, конечно, лежат на поверхности. Но всё, безусловно, и глубже, и трагичнее. Об этом меня заставил задуматься Федор Михайлович Достоевский. Не так давно наткнулся на его размышление, как-то сразу обнажившее всю суть ныне происходящего. Он писал:

«При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не просто земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию».

И далее:

«... заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться».

О чем я подумал, вникая в эти глубинные мысли? О многом, конечно, но, прежде всего, о том, что ныне мы переживаем апокалипсические времена — времена смертельной опасности для нации и государства. А если взглянуть на происходящее конкретно,

в политическом контексте, то нынешние властители, начиная с иуды Горбачева, безумно, бесстыже и даже бешено лгут, что холодная война Запада против России закончилась. Нет, она продолжается. И расстрел Дома Советов в самом центре Москвы, и кровавая бойня в Чечне — это все жестокие отметины наносимых нам ударов в стратегии *холодной войны*. Потому что *война*, будь она горячая или холодная, есть война, и противник, то есть наше Отечество, должно быть разгромлено, причем окончательно и навсегда.

Признаюсь, в последние недели, когда Америка со всеми своими натовскими сателлитами начала срочно завершать югославскую трагедию, меня вдруг одолели кошмарные видения: объединенные западные силы наносят ядерные удары в районе Волги, в средоточиях Ульяновск-Самара и Волгограда. По той же самой гитлеровской линии разлома России: Астрахань — Архангельск. Только гитлеровские стратеги намеривались загнать Советскую Россию за Волгу, за Урал, а нынешние американские, да и европейские, мыслят несколько иначе: во-первых, хотят сжать Россию до пределов Московии, скажем, XV века, а во-вторых, и это, пожалуй, главное, — обрести Сибирь, и Урал, и Дальний Восток, пока Китай не готов к схватке, и срочно пустить их в оборот на пользу так называемого *золотого миллиарда* человечества.

Я бы, наверное, не стал говорить об этом публично, если бы не знал Запад изнутри, если бы не чувствовал нутром надвигающийся апокалипсис (с клеймом «сделано в США»), если бы сомневался в том, что коварные масонские правители Америки, или той же Англии, впрочем, как и других стран Запада, не пойдут до конца в осуществлении своего геополитического триумфа над Россией. И сделают они это хладнокровно, с беспощадным цинизмом.

Не следует думать, что все выше высказанное никак не взаимосвязано с тем, о чем, может быть, мне более пристало говорить, — как унижается ныне русская литература, а в целом — культура; как унижаются и все те, кто не желает присоединиться к пресловутой «пятой колонне». Это ведь одно из важных направлений завершающей стадии *холодной войны* — и прежде всего, в области литературы. Потому что, как считают западные мудрецы,

не должен российский народ знать истинную картину своей жизни, не должен помнить свои нравственные, духовные ориентиры. Потому-то и делается все для того, чтобы книги современных писателей о современной жизни не выходили, или выходили в нищенском виде, мизерными тиражами...

... Завершая свое выступление, хотел бы обратить ваше внимание на некоторые высказывания, пожалуй, самого пронзительного писателя XX века Ивана Алексеевича Бунина. Его жена, Вера Николаевна Муромцева, в своем грасском дневнике в годы оккупации Франции писала о том, что, «если бы немцы заняли Москву и Петербург» и предложили Бунину поехать туда, «дав самые лучшие условия, он непреклонно и напрочь отказался бы». Потому что «не мог видеть столицу под чужеземным владычеством».

«Я могу многое ненавидеть и в России и в русском народе, — говорил писатель, — но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!»

Иван Алексеевич не раз повторял:

«Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».

«Россия в каждом из нас! Любить ее — это нравственно».

С этим и спасемся!

МУЖЕСТВО НА ГОЛГОФЕ

Выступление в институте мировой литературы на конференции, посвященной творчеству Олега Васильевича ВОЛКОВА

21 мая 1991 года

В давние журналистские годы мне пришлось работать с женщиной, которая не была ни симпатичной, ни талантливой, но удивляла нас, газетную молодежь, своими выступлениями на собраниях. И не смыслом сказанного, а той правильной, ясной и, в общем-то, красивой речью, расцвеченной неожиданной латинской мудростью или острой французской поговоркой, причем произносимых по-латыни или по-французски. Да, это была речь хорошо образованного человека, хотя ее невыразительный журналистский облик — скажу точнее: тупость пера — никак не соответствовал культуре устного слова.

Однажды она нам все-таки открылась, рассказав, где получила столь достойное воспитание. Ее ответ нас поразил: оказывается... «в сталинских лагерях». Но по возрасту в ГУЛАГе она никак не могла быть, если только ребенком... И она, действительно, ребенком, в школьные годы, жила в воркутинских лагерях, только не за колочей проволокой, а на свободе: ее отец был начальником одного из них. Она поведала в минуту откровенности, что такой средней школы, какая существовала в Воркутинских лагерях в конце 1930-х годов, нигде в Советском Союзе не было. У них преподавали профессора и «люди из высшего света», причем, подчеркнула она, предпочтение отдавалось «самым известным».

Вот так гулаговские палачи пользовались своими привилегиями, уничтожая цвет нации — «тончайший культурный слой», о чем любил упоминать непререкаемый вождь коммунизма Ульянов-Ленин.

Почти весь XX век Россия провела на Голгофе. На Голгофе мы остаемся и поныне в так называемую *революционную* перестройку.

И, безусловно, должны были появиться произведения, запечатляющие распятие России, — и с той пронзительной силой, которая воспламеняет сердца и души миллионов. Одним из таких произведений и, на мой взгляд, одним из самых лучших является книга Олега Васильевича Волкова «Погружение во тьму».

Вообще, о писателе Волкове, который владеет безукоризненным русским языком, высотой культурных традиций, мастерством публициста, рассказчика, повествователя можно говорить много и с чувством убежденной свободы, то есть без лукавства, по истине. Я надеюсь, так и будет сегодня на конференции в присутствии нашего высокочтимого автора.

Какую доминанту в творчестве Олега Васильевича мне бы лично хотелось подчеркнуть? Это — мужество! Мужество, которое присутствует в любом его произведении, даже самом печальном и грустном, как, например, повесть «В конце тропы». Мужество всегда говорить правду, отстаивать свои взгляды, вопреки прагматизму жизни. Мужество не изменять себе, ждать, а не приспособливаться, и, слава Богу, дожидаться момента истины!

Я имею ввиду прежде всего опубликование книги «Погружение во тьму». Книги, которая сразу сделалась необходимой соотечественникам и, я верю, будет необходимой еще очень и очень долго. Более того, я верю, что она навсегда останется в русской литературе. Потому что в ней, во-первых, классическая художественная высота — в слове и мысли; во-вторых, та душевная энергетическая сила, которая неподвластна времени, и, в-третьих, русская судьба в XX веке — трагическая, но не сломленная.

Думаю, что большинство помнит стихотворение Редьярда Киплинга «Бремя белого человека» (и простите мне некоторую эпатажность сравнения), но в конце киплинговского монолога есть такие строки:

Теперь твою возмужалость
И непокорность судьбе
Оценит горький и трезвый
Суд равных тебе!

Так вот, Олег Васильевич Волков сквозь весь XX век, — а он его ровесник, — *«век надежд и крушений»* — гордо пронес бремя русского культурного человека, оставаясь непокорным судьбе, уготованной ему иудо-большевистским интернационалом, и на нынешнем читательском суде — *«горьком и трезвом»* — оказался не осужденным, а победителем. Воистину!

ПРЕЧИСТЫЙ СВЕТ

Сохранить высоту духа и творческое горение в нынешние погубительные времена очень непросто и мало кому удастся. И тем значительнее, тем необходимее истинное поэтическое слово. Слово прозрения, боли и надежды. Как бы вырвавшееся из наших собственных душ. Такое духовное слияние поэта с читателями, мне думается, является высшим творческим достижением. Когда стихи по закону внутренней необходимости сразу становятся лично твоими, а поэт — спутником твоей жизни.

Книга новых стихов Виктора Дронникова «В пречистом сиянии» меня потрясла: он, пожалуй, как никто в последние годы, выразил всю смятенность, израненность русской души. В доказательство можно процитировать каждое из пятидесяти пяти стихотворений сборника — поверьте, каждое! Но я лучше скажу о другом, о том, чтобы «пречистое сияние» поэзии Виктора Дронникова осветило, облагородило как можно больше русских людей.

Книга выпущена в Орле, где живет поэт, тиражом всего в две тысячи экземпляров. Сразу этот поэтический сборник, можно сказать, стал раритетом. Конечно, хорошо, что он вышел. И сам поэт, и все мы этому рады. В литературной среде, не сомневаюсь, он станет явлением.

Но ведь поэзия Виктора Дронникова — явление общерусское, общенародное. Народ обязан знать своего поэтического глашатая! И именно сейчас, в эти трудные для Отечества времена. Хотелось бы, чтобы новые стихи поэта были изданы в Москве, зазвучали широко и мощно, на всю Россию! Очищая и возвышая...

Скоро-скоро отцветет долина,
Скоро пчелам погружаться в сон.
На бордовой шапке георгина
Греет крылья дивный махаон.
То поднимет крылья, то опустит.
Воздух сада остеклённо густ.

В сизо-лиловеющей капусте
Зреет первый заморозков хруст.
Вот уже ракита стала пестрой,
Стало в небе больше высоты.
Я не знаю, отчего так остро
Вглядываюсь в листья и цветы.
Может быть, от той звезды-полыни
Раньше срока можжевельник сух.
Чувство, незнакомое доньше,
Больно перехватывает дух.
Я не знаю, может, скоро-скоро
Зарастет здесь лебедой крыльцо.
Я вот так же вглядывался скорбно
В мамино предсмертное лицо...

* * *

Какое счастье — совпадать
С простором синим.
Еще дается благодать
— Любить Россию.

Лиловый вереск по холмам,
Речную роздымь,
Где отдаленный божий храм
Дрожит, как воздух.

Неопалимый божий куст,
Купель, купина.
И, как молитва детских уст,
Светла долина.

Нет, русский вечер не погас,
Не взят на пику.
О, сколько здесь молилось глаз
Святому лику.

О, Господи, молю и впредь,
Хоть сквозь пустыню,
Но дай на Родину смотреть,
Как на святыню.

Снова и снова хочется повторять: величие России — в неисчерпаемости ее талантов!

«Литературная Россия»
13 июля 1994 г.

В ЖУРАВЛИНОМ ПОДНЕБЕСЬЕ

Любая поездка по нашей необъятной России всегда дарит откровения, или открытия, и уж непременно памятные встречи. Так было и со мной, когда я наконец побывал на дальнем западном рубеже, в нашем заграничном анклаве — аж через две границы: и белорусскую, и литовскую! — то есть в Калининграде, в бывшем прусском Кёнигсберге. Там совершенно особая, еще не до конца укорененная, атмосфера жизни; и люди там поселились, как правило, с непростыми судьбами, но в большинстве своем — убежденно русские.

Многое меня поразило в этом городе-крепости, но выделил бы я то, что более близко, как профессиональному литератору, — песенную лирику Татьяны Тетенькиной. Она по-светлому всколыхнула душу, напомнила в наше смутное время о вечных мотивах истинной поэзии.

Вообще-то, я был наслышан о Татьяне Тетенькиной как о прозаике — с твердой, можно сказать, мужской рукой, с ярким, афористичным стилем, оригинальной образностью, и, тем более, было удивительно узнать, что она прозу уже несколько лет не пишет, так как просто невысказано понять все происходящее и в стране, и со страной. Весь свой огромный творческий потенциал она теперь перелила в поэзию, но не протестную, не жалостливую или недоумевающую, а в ту, почти забытую, любовную лирику, где главные герои те самые двое — Он и Она, с их стремлениями и мечтами, с их расставаниями и встречами, со всем тем, что каждый из нас хорошо знает, но для выражения чувств не находит единственно верных слов. Да, в своем песенно-поэтическом творчестве Татьяна Тетенькина возрождает незабвенные традиции Алексея Фатьянова и Михаила Исаковского.

Вот два стихотворения, или напева из ее книги «Прекрасным именем твоим», выпущенной — красиво, уважительно — калининградским издательством «Янтарный сказ»:

Мы ходим по линии круга
Над пропастью жадной молвы.
Мы не понимаем друг друга.
Мы любим друг друга, увы...

Случилось, что волею рока
Ведущим назначены Вы.
Сойти бы... Ведете Вы плохо.
Но любим друг друга, увы...

От дьявола или от Бога?!
Уже не поднять головы...
И кружит, и кружит дорога.
И любим друг друга, увы...

* * *

Не буди меня, стылый ветер.
Не срывай с петель мою дверь.
Я — смиреннее всех на свете,
Я — уставшая от потерь.

Чем ты можешь здесь поживиться? —
Я повымела сор с души.
То ли хочешь тоски напиться,
То ли боль мою заглушить?

Ну пожалуйста — вейся, вейся.
Только с ног меня ты не сбей.
Над изменой его — посмейся.
Над любовью моей — не смей.

В порубежном Калининграде песни Татьяны Тетенькиной популярны. Их поют на клубных вечерах, в домашних застольях, под гитару или гармонь, а чаще и без оных. Иногда их исполняют по местному радио, и они быстро получили теплый и широкий отклик. Потому что душа-то истосковалась по светлому, искреннему, правдивому — по радости бытия!

Конечно, звучащее слово лучше воспринимать на слух. Как и стихи услышать в авторском исполнении. Однако верю: наступят сроки и Татьянины стихи-напевы, как журавлиные стаи, поплывут с дальнего запада по всей необъятной России.

Живи на свете. Долго. Разно.
Другую милой назови.
Греси и кайся. Плачь и празднуй.
Взлетай и падай. — Но живи.

Ты есть. И я об этом знаю.
Мир стал уютным и простым.
Я каждый день свой нарекаю
Прекрасным именем твоим.

**Журнал «К единству»
№ 2, 2001 г.**

РАДОСТЬ ОЗАРЕНИЙ

Наверняка, многие вспомнят, что о з а р е н и я случаются неожиданно и объяснить их возникновение невозможно. Но все же постараюсь, по крайней мере, прояснить, что это такое. По моему, это приоткрытие Высшей Тайны, или проникновение в глубины Истин. Особенно это присуще натурам творческим.

Так вот, Валерия Шашина уже в зрелом возрасте, когда он достиг вполне убедительного мастерства в прозе, однажды о з а - р и л о , что его истинное призвание — драматургия.

Стремительно написанная трагикомедия «Поджигатель» — легкокрылая, водевильная, с редкой свободой для актерского лицедейства — имела скорый, прямо-таки ошеломляющий успех. Ее играли в Москве (в двух театрах), в Таллинне, Саратове, Казани, Липецке, Бобруйске, Котласе; показали по первому каналу телевидения.

Было это в самый апогей горбачевской перестройки, под конец советской эпохи, когда вся наша привычная жизнь шла на слом, а мы всюду начинали ощущать себя в р а з л а д е с прошлым, с будущим, друг с другом — по убеждениям, по устремлениям, по отношению к Отечеству, — да, в тот замутненный, сатанинский период, когда вдруг появилось целое племя идейно враждебных всем нам «поджигателей собственного дома».

Мы с Валерием Шашиным тогда работали в издательстве «Советский писатель», и я был одним из тех, кто еще в рукописи читал и эту его пьесу, и вторую, так же стремительно сотворённую, — «Флёрдоранж». Меня удивляло и радовало перевоплощение прозаика Шашина в драматурга, потому что умение писать пьесы (настоящие пьесы!) — дар редкий.

Его вторая пьеса *глянулась* меньше, прежде всего, пожалуй, из-за торопливости... Впрочем, и сам Валерий Шашин, человек требовательный, в первую очередь к самому себе, чувствовал, что комедия удалась не вполне, и, неудовлетворенный, на театральные подмостки ее не предлагал. Ну а дальше подступили времена обвальные, год-оборотень 1991-й; события, как потоп, захлестывали буквально всех: одни в безбрежных надеждах устремились к новым соблазнам, другие оказались в полной растерянности, а

третьи в упрямом консерватизме сразу же начали активно сопротивляться циничному, лукавому разрушительству.

Валерий Шашин в первой половине 1990-х годов, как мне думается, запомнил о своем драматургическом озарении, увлекшись привычной, но уже р а с к р е п о щ е н н о й издательской деятельностью. Он создал свою личную фирму «ЗнаК» («Знаменитая Книга»), которая в разливанном книжном половодье продержалась на плаву достаточно долго, лет пять, однако изысканность «товара» не делала его ходким, и наступило вполне закономерное разорение.

Что ж, нет худа без добра: всё возвращалось на круги своя, и В. Шашин с новым опытом, с новыми знаниями приступил вновь к писательству, но теперь уже только как драматург.

Тут мне хотелось бы сделать небольшое отступление. В те безумно разрушительные годы перестали существовать не только великий Советский Союз и неприступное Социалистическое Содружество, не только отвергалось и оплевывалось все советское, социалистическое, но параллельно происходил и психологический н а д л о м общества, — менялись представления и нравы, жизнь человеческая ужесточалась, обнажалась, более того, оглуплялась, деградировала. Обобщая всё это, можно сказать, что люди становились другими, как и сама жизнь — да, другой.

Если коснуться театрального мира, то к 1990-м годам — и эту очевидность, думаю, никто не оспорит — закончился знаменитый, пожалуй, даже великий *режиссерский театр*, просуществовавший в России (в разных ипостасях) почти весь XX век; замшел, захирел *театр репертуарный*, который упорно цеплялся и пока продолжает цепляться за великое наследие прошлого; возник — параллельно и быстро — развлекательный *коммерческий театр*, чего властно потребовал новый, так называемый демократический зритель.

На первый план выдвинулись нравящиеся публике актёры, чующие потребу моды худруки, ловкачи-директора, хотя самыми важными фигурами становились «денежные мешки», поименованные на западный лад *продюсерами*, предпочитающие ставить *перформансы* (по-русски: представления) — всякие там «мистерии» — с мистическими тайнами, или «пассионы» — с безумны-

ми страстями. Но все по тому же утвердившемуся принципу: развлекай и смей! Современная серьезная драматургия оказалась в кризисе, впрочем, и сами драматурги не вполне готовыми к таким крутым поворотам.

Вот в этот трудный и смутный «переходный период» и вернулся Валерий Шашин к своему, теперь уже по-настоящему осознанному — разумом, душой, сердцем — истинному призванию в литературе — писать пьесы, показать на сцене современную реальную действительность. Однако первое, что он сделал, — по инерции, в желании повторить успех «Поджигателя» — сотворил *перформанс* (извините за этот вынужденный новояз: но нет пока закона, запрещающего уродовать русский язык) — «Играй, Художник!».

Идея этого «спектакля-вернисажа», как определил его жанр сам автор, удивительна по простоте и прекрасна по задумке: использовать все возможности театра как такового. Сцена превращается в мастерскую художника, где разыгрывается пьеса, — современная жизнь с характерными для времени персонажами и ситуациями: наполовину гротескная, наполовину серьезная; театральное фойе — выставка картин настоящего, реального художника, который на сцене (как бы в своей мастерской) безмолвно, в полном самопоглощении пишет картину. В конце спектакля это свежедышащее произведение, от которого «еще не отлетело вдохновение», разыгрывается с аукциона между зрителями. И получается даже не представление, а по нашим русским традициям — з р е л и щ е - д е й с т в о .

К «спектаклю-вернисажу» проявил интерес режиссер Борис Мильграм. Появился и продюсер. Велись переговоры с представителем всемирно известного художника Михаила Шемякина, и мэтр вроде бы благосклонно отнесся к идее спектакля, но отказался «скакать» с ним по городам и весям России. Захватила эта идея супружескую пару: он — преуспевающий художник, она — популярная мхатовская актриса, но помешало несчастье: оба трагически, один за другим, ушли из жизни...

А Валерий Шашин продолжал упорно, трудолюбиво создавать свои сценические фантазии, пока еще в русле определившейся в театрах тенденции к трагико-комедийному жанру. Тен-

денция понятная — каждый по себе может судить: устали все мы от мрака теленовостей, от бесконечной стрельбы и убийств по всем телеканалам, возникла естественная потребность отвлекаться» посмеяться, расслабиться, как в былые нормальные времена.

При чтении лирической комедии «Президент для России», честно признаюсь, я в голос... нет, не смеялся, а хохотал! Много смешного в самом тексте — диалогах и монологах, но, когда представляешь живые сцены, — вот тут-то и удержу нету! А, между прочим, тема серьезная: компьютерный гений путем сложнейших комбинаций сотворяет идеальный образ нужного России президента, который в итоге предстает... годовалым малышом! Надеюсь, наступят сроки, и все вместе мы от души посмеемся.

Вообще, этот взлёт в творчестве В. Шашина в последние четыре года поразителен. Он убедительно утвердил себя как даровитый, мыслящий драматург, сделавший, я бы сказал, прорыв в мировоззренческие сущности нашего нынешнего бытия. Следует, между прочим, помнить, что комедия и трагедия часто сливаются в единое целое, а творчество, как и мирозерцание, у истинного драматурга тоже всегда слитно. Поэтому в своих пьесах — фантазийных, взрывных, сюжетно запутанных, с большой долей иронии и юмора и обязательной, хотя и не навязчивой, мировоззренческой проповедью — В. Шашин выступает и развеселым убажжителем, и строгим проповедником, стремясь и в том, и в другом случае завоевать зрителя, — он как маг, как гипнотизёр, пытается сначала разрядить зал, а затем внушить ему свою веру. И это ему удается. А успех в этом, повторю, свойственен только истинной драматургии. Вероятно, именно по этой логике три последние пьесы В. Шашина — «Останемся на Земле», «Клубок» и «Русский угол» — являются прежде всего мировоззренческими. В них бытие вроде бы и определяет сознание, но, однако, и в бытие, и в сознании происходят именно те озарения, когда человек осознано устремляется к праведности, к свету, к Богу.

Пьеса на двоих «Останемся на Земле» имеет подзаголовок «Аномальная история». Действительно, приключившаяся на вершине горы история между депутатом Государственной Думы и «безумной» целительницей кажется невероятной, хотя... так ли уж трудно в наше-то зачумлённое время представить заслужен-

ный эсхатологический конец, который в подлинных чувствах переживают герои пьесы?

Эту пьесу неоднократно принимались репетировать, и, наверное, когда-нибудь «дорепетируют» и покажут на сцене...

Однако, по моему убеждению, для публичного показа были бы важнее сейчас две другие мировоззренческие пьесы — семейная, а лучше, пожалуй, ж и т и н а я драма «Клубок» и драма о нынешней российской горечи и боли — «Русский угол».

В «Клубке» распутывается обыкновенная, очень типичная ситуация в достаточно благополучной семье, этой основополагающей ячейке общества, с ее светлыми и темными сторонами, — и введение на сцену озвученных призраков во плоти — Белого и Черного, ведущих азартную игру за душу Человека, — исключительная находка автора. Пьеса опубликована во втором номере журнала «Современная драматургия» (2000 г.), но опубликована... без конца. Редакция журнала посчитала, что главный герой «Клубка», воскресший (по пьесе) для жизни праведной, будет не интересен читателям — даже в попытках таковую жизнь начать. Да и то верно: что интересного в жизни праведной? — скукота! Но пьеса-то как раз об этом. Что вставший на праведный путь человек современному миру не нужен, чужд, враждебен!

Не менее глубока по мировоззренческому замыслу пьеса «Русский угол». Кажущаяся довольно-таки простой по сюжетным ходам и линиям она магически интригует вроде бы и не особо содержательными, но забавными сценками, и вдруг за всей происходящей «театральной» нелепостью воочию зришь всю нынешнюю трагедию русской жизни, русских как народа, как нации. И опять же ему, автору, — а значит, и читателю, и зрителю, — видится путь спасения в переходе на светлую сторону бытия...

«Русский угол» — смелая и очень искренняя пьеса о русской трагедии конца XX века — непредсказуемого и жестокого.

Здесь, мне думается, следует сделать второе разъяснительное отступление, безусловно, связанное с творчеством Валерия Шашина.

Лично для меня нет сомнения, что семь пьес этого драматурга уже представляют Новый Русский Театр: мировоззренческая наполненность, сценические возможности, сюжетная завле-

кательность, отточенность диалогов — все налицо! Но вот уверенности в том, что его более мастеровитые, более сложные в образах и реалиях пьесы повторят успех «Поджигателя» нет никакой. На это существует немало серьезных причин, и главная из них в том, что в столице России, в Москве, этом космополитическом мегаполисе, нет, более того, н е ж е л а т е л е н русский национальный театр. Да, именно русский и именно современный!

Почему? — удивленно спросите вы и, наверняка, подумаете: как же так, русский народ составляет в России 85 процентов населения... сотни театров называют себя русскими... да быть такого не может! Но в том-то и заключается трагический парадокс государствообразующего русского народа еще со времен большевистского переворота и до наших дней: власть предрержащие все еще остаются на коминтерновских интернациональных позициях и больше всего страшатся того момента, когда наконец-то русские осознают себя русскими, живыми наследниками и Древней Руси, и средневековой Московии, и императорской России.

В той же ельцинской конституции, принятой в декабре 1993 года после расстрела Дома Советов, вы даже слово «русский» не обнаружите. Там первая же фраза гласит: «Мы, многонациональный народ России... принимаем настоящую Конституцию». Тем самым подчеркивается правосубъективность и суверенность не великого русского народа, предки которого создали российское государство, а некоего безликого «многонационального народа». Были при большевиках идеологизированно-безнациональными, то есть *советскими*, стали при либерал-демократах многонационально-безликими, то есть *россиянами*.

Однако ни армяне, ни татары, ни корейцы, а тем более евреи, как, впрочем, и многие другие народы, никогда и нигде не забывают что первичен для них национальный, родовой корень, а уж потом страна проживания. В России все они, конечно, «россияне».

В 1996 году под давлением упомянутых *национальных меньшинств*, прежде всего, в крупных городах, где их численность совсем не адекватна остаточным 15 процентам населения, был издан ельцинский указ, быстро ставший законом, — «О национально-культурных автономиях». Сразу же возникли структурированные национальные общины — и в первую очередь в горо-

дах-миллионщиках, которые, в общем-то, определяют государственную политику. В той же Москве сейчас существует более 50 окружных НКА.: 10 армянских, 9 татарских, 5 корейских, 4 еврейских... Есть ассирийские, немецкие, польские, курдские... И ни одной русской! Власти все делают, чтобы не возникали русские центры, хотя по закону это никак не возбраняется.

Особую остроту эта проблема приобрела в московском мегаполисе и городах-миллионщиках, в которых национальные меньшинства всегда существовали сплоченно, а ныне к тому же получают узаконенную государственную поддержку, и только главный народ страны опять, как при 70-летнем засилье «пламенных революционеров», так и при 10-летнем гнёте либерал-демократов, оказался загнанным в самый дальний, глухой угол. Печаль еще в том, что большинство горожан, являющихся по происхождению русскими, на самом деле давно представляют аморфную, практически безнациональную массу, затрудняющуюся порой даже отождествить себя по национальному признаку.

Вот потому создание Русских Центров в Москве и крупных городах, по моему глубокому убеждению, — безотлагательное требование времени. Только в этом спасение русских как народа, как нации, а России — как государства и, если хотите, великого!

Национально-культурные проблемы русских — это не этнографический лубок, а именно проблемы! Они в нынешней Российской Федерации не менее серьезны, чем все остальные, а может быть, и более, если вспомнить демографическую катастрофу русских в погубительное ельцинское десятилетие...

В общем, речь идет о будущем русского народа — русского языка, русских национальных традиций, русской системы образования, русской науки и, безусловно, русской культуры, которая также переживает тяжелый системный кризис. В этой плоскости — и проблема русского национального театра...

... Драматург Валерий Шашин находится сейчас в творческом озарении и, дай Бог, чтобы оно его не покидало. Чтобы росла галерея образов, чтобы рождались новые сценические фантазии, и главное — чтобы благодарный отечественный зритель смог, да, именно **смог** увидеть и по достоинству оценить его пьесы и в целом подвижнический труд.

Я верю: так будет!

ГОНЕЦ С ФАКЕЛОМ

Могу смело утверждать, что появления такой книги, как «Оправдание культуры, или Искусство жить в России», все те, кто по-сыновьи заботится об Отечестве, ждали давно. Ее достоинство не только в том, что убедительно выписана удручающая картина великой замятни конца нынешнего века, но, прежде всего, в ином: в книге ярко, доказуемо, в ясной простоте обозначены пути и цели в век будущий, в XXI. Но при одном лишь условии — любить Родину, сострадать ее несчастьям и верить без всяких сомнений в ее чудодейственное возрождение, в ее новое величие. Оказывается, иное-то дано! — если ты русский, российский патриот.

Я знал Игоря Янина как блестящего публициста, а он, как выяснилось, кроме того — блестящий мыслитель, теоретик обновленных государственных устоев. В основу размышлений им положен ц и в и л и з а ц и о н н ы й п р и н ц и п и начисто отвергается марксистский формационный. То есть: его теория строится на фундаменте нашей тысячелетней цивилизации, где краеугольными камнями в будущем веке должны стать культура, нравственность, просветительство и самая широкая образованность — да, всего народа! Не случайно, между прочим, в книге упомянут основатель Китая Вэньван, высокочтимый там уже тысячелетия — и именно как император культуры!

Вообще автор поражает своей информированностью, а точнее, энциклопедическими знаниями как русской истории — вглубь и вширь, так и исторического пространства других народов — во всех четырех частях света. Поэтому он совершенно свободно объясняет современную геополитическую ситуацию в мире, с конкретным разбором векторов человеческой жизнедеятельности — экономического, экологического, но главное, культурного. И делает это страстно, порой иронично, а где надо — и с едким сарказмом, но что особенно важно, в частности для меня, — на каждой странице прекрасным слогом.

Должен заметить, попервоначально я крайне озадачился, когда автор этой книги — историсофской, политической, а значит, более чем серьезной — занялся разбором... русских сказок! И что же? Да то, что авторские раздумья о русском фольклоре приводят

к прозрению, к проникновению в русский национальный характер, в русскую душу, — а это внушает уверенность в будущем!

Можно, конечно, излагать содержание последующих глав, все они в чем-то неожиданные — и даже провидческие! Упомяну, пожалуй, лишь о двух, посвященных русскому предпринимательству, о котором автор, как никто другой, и давно уже, пишет вдохновенно.

Вот ведь незадача: в прошедшем году завершилась ельцинская пятилетка по строительству капитализма в России — и к чему мы пришли? К первобытному, бандитскому «...изьму». Нет, не к расцвету русского капитализма в конце прошлого и начале нынешнего века, а тем более не к американскому варианту. Впрочем, даже смешно говорить о наших горе-реформаторах,двигающихся в современном мире задом наперед.

В иерархии русского предпринимательства наибольшим уважением всегда пользовались товаропроизводители — промышленники и фабриканты, и наименьшим — финансовые спекулянты, всевозможные «крутильщики денег» типа пресловутого Мавроди, или ваучерного вряля Чубайса, или братской парочки Березовского с Гусинским... А ведь какие на Руси были гиганты в делах предпринимательских — Василий Кокорев, Петр Губонин, Савва Морозов, Павел Третьяков, Алексей Бахрушин, Савва Мамонтов, Павел Рябушинский с семьей сыновьями и многие-многие другие. Нет, никого из них за всю пятилетку капиталистических реформ не поставило на заслуженный пьедестал ельцинское независимое (!) телевидение. Н-да, устали все мы от лживой подлости нынешних властителей — от коммуняк-перевертышей, от «агентов влияния», от лиц «с двойным гражданством» и просто от разбойной эпохи всеобщего воровства и казнокрадства...

Но каков все же путь в будущее и каковы наши цели? Если бы в книге Игоря Янина не было ответа на этот главноопределяющий вопрос, то представлялась бы она одной из многих ныне публикуемых, в которых разоблачаются несправедливые дела властей предрежащих — периода смердяковщины в России... Но именно в ответе на этот жгучий вопрос и заключен основной пафос книги. И здесь очень важен приводимый автором призыв Федора Михайловича Достоевского, вложенный великим писателем в уста князя Мышкина: «Откройте русскому человеку «Русский

свет», дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него!»

Этим и занят Игорь Янин во второй половине книги. Он четко формулирует непосредственную цель: нам пора уже сейчас, в нынешнюю технотронную эру, начать созидать эколого-информационное общество XXI века. С чего начинать и каким путем идти — читайте в книге!

... Странная все-таки страна Россия! Во всем практически разуверились, целую декаду прожили в самоуничижении, на краю пропасти, и вдруг как бы ниоткуда — не из Кремля, не из Думы и тем более не из правительственного «Белого дома», — является думающий русский человек, будто гонец с факелом, и освещает русскую дорогу и обозначает российские цели. Так сбросим с плеч усталость, выкинем из сердца уныние и с ясным разумом — вперед!

В заключение, в преддверии 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, солнца нашей культуры, мне бы хотелось привести слова из его письма к П.Я. Чаадаеву, предтечи нынешних либералов, всех этих космополитов-западников, которые, как и он когда-то, свысока взирают и на русский народ, и на русскую культуру, и на историю Руси-России, — так вот: «... *клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал*». Вот именно — во всем ведь Божественное Провидение! И еще: Россия всегда была и до последних дней пребудет под омофором Богородицы!

**«Литературная Россия»
13 марта 1998 г.**

ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА В СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ

I

Конец сентября, воскресенье, Париж. Солнечное утро: тепло и тихо. Недалеко от Эйфелевой башни блуждаем в квартале Пасси, который выглядит безлюдным. Кидаемся к редчайшим прохожим с вопросом: как найти улицу Жака Оффенбаха? Никто не знает. Наконец натываемся на эту, пожалуй, самую короткую улочку в Пасси: не более ста шагов, всего в два дома, массивных, солидных, построенных на рубеже двадцатого века. Через проезжую часть, выложенную брусчаткой, падает вниз глубокий котлован, огороженный железными конструкциями в грязно-зеленых щитах, — новая престижная стройка, но уже в конце века, в единую житийную цитадель.

Мы стоим на углу тоже короткой и тоже музыкальной улочки — Вольфганга Моцарта. Лишь отсюда открывается весь дом, в котором три десятилетия, почти половину своей писательской судьбы, прожил Бунин. Молчим, наполненные теми притаёнными мыслями, какие рождаются, когда прикасаешься к неповторимому. Хочется все углядеть, запомнить. Таня удивленно восклицает, заметив в каменных лабиринтах дерево, — аккуратно подстриженное, но пожухшее, гибнущее. Однако узкие балкончики на стенах домов и там, и тут выпячивают себя броским импрессионистским многоцветьем. Но не бунинский: в полуоткрытую дверь угадывается ремонт, кто-то в очередной раз намеревается вселиться в памятную всем нам квартиру.

С грустью думается о русских изгнанниках, о всех тех, кто когда-то здесь жил, кто ходил по этим вот плиточным тротуарам, по брусчатке, подобной кремлевской, — о Бунине, Куприне, Шмелеве, Мережковских... И о многих других вынужденных эмигрантах.

Однако в Пасси нас, прежде всего, интересует измученный российским окаянством, постоянно в начальные эмигрантские годы вспоминающий о смертях близких, думающий о своей соб-

ственной академик изящной словесности Иван Бунин. И та, которая возбудила в нем угасавшие силы, воспламенила творческое горение и в целом поспособствовала духоподъемному взлету, не испытанному им, пожалуй, и в дореволюционной России. Да, его пассия в Парижском Пасси, в прованском Грассе, его необоримая страсть, последняя влюбленность и, я бы сказал, — петрарковская любовь! Да, не будь Галины Кузнецовой, не написалась бы, по-моему, так недосыгаемо высоко «Жизнь Арсентьева», не возникли бы «Темные аллеи».

Но в нашем мире все восхитительное обязательно кончается — или смертью, или черной тоской, или невыносимой мукой... Иван Алексеевич в середине 1930-х, по его же словам, был на грани умопомешательства. Да, удар, который Галина ему нанесла — молодая, магнетически привлекательная, причем сразу после мирового признания, всемирной славы, едва ли было возможно пережить... И то, наверное, только так, как пережил он, простив ее и приневолив себя на сладостно-мучительный труд в желании постичь сокровенные тайны светоносного бытия.

И вот ведь что удивительно: последнее письмо, которое он читает, — от нее... И первое, что делает Вера Николаевна перед положением во гроб в присутствии доктора Зёрнова, — повязывает на шею платочек Той, произнеся: «Ему будет приятно»...

II

— А не съездить ли нам в Сен-Женевьев-де-Буа? — неожиданно предлагает Таня. — Прямо отсюда!

— Что ж, не против, — пожимаю плечами.

— Ты хоть знаешь, что в Париже можно умчаться из подземки в любой пригород? За сто и более километров?!

— Так умчимся же! — восторженно соглашаюсь я.

Мы спускаемся в ближайшую подземку и, сделав нужную пересадку уже вскоре на поверхности и, будто полётно, мчимся мимо однообразного заводского района; мимо перепаханных, в блестящей ряби полей, коряво-обнажившихся роц; мимо одиноких ферм из серого камня среди изумрудной озими; и часа не проходит, как объявляют Сен-Женевьев-де-Буа.

В этом странном метропоезде, рациональном, как философия Декарта, как все в этой *Прекрасной Франции* (так французы сами называют свою страну), мне думается, да, о Франции, когда-то милостиво приютившей русских изгнанников, и о кажущейся нереальности своего собственного пребывания в ней. Даже в мои благополучные годы прихотливая журналистская судьба не забрасывала меня в Париж. Впрочем, и теперь все оказалось неожиданным, невероятным стечением обстоятельств. А потому еще до конца не верю, что смогу поклониться праху любимого писателя.

Вспоминается Владимир Михайлович Зёрнов, последний лечащий врач Ивана Алексеевича, с которым я встречался: в такой же благодатный сентябрь, два десятилетия назад, в английском Оксфорде. Туда он прилетал навестить брата, Николая Михайловича, профессора богословия в одном из университетских колледжей. Кстати, благодаря старшему Зёрнову в Оксфорде воздвигнут православный храм. Николай Михайлович тогда позвонил мне в Лондон, где я работал собкором «Труда», и, зная о моем почтительном отношении к Бунину, предложил: «Приезжайте немедленно! Тут на денек залетел Володя. Сможете порасспрашивать о вашем кумире».

Н-да, редкий случай!.. Но Николаю Михайловичу, человеку преклонного возраста, — ему уже минуло восемьдесят, — было невдомек, что мне, как советскому, многое запрещено. Между прочим, в те годы в Эдинбурге хранился архив Бунина, а в Лидсе на кафедре славистики тоже имелось многое из бунинского наследия. И, казалось бы, что может быть безобиднее, чем интерес к отечественному прошлому, ан нет, не было бы понято. К тому же, *холодная война* продолжалась, и для советских вокруг Лондона существовала зона, а Оксфорд находился за ее пределами. Это означало, что необходимо запрашивать Форин Оффис, причем за двое суток, с точным указанием маршрута, адресов и целей. Сам Николай Михайлович, ко всему прочему, воевал в Добровольческой армии и, понятно, считался белогвардейцем, более того, воинственным невозвращенцем, — и мое сокрытое знакомство с ним могло бы рассматриваться как преступное.

В общем, по официальной линии шансов не было никаких, а по неофициальной — серьезный риск «попасть на крючок» британской контрразведки, но хуже всего к соотечественникам «с го-

рячими сердцами и холодными головами», которые с хищным удовольствием в миг бы «схарчили», возвернув в «развитой социализм» с соответствующим клеймом. Ну и что?.. Покрутив на машине по Лондону в раздумьях и не заметив за собой «хвоста», я рванул на оксфордскую трассу, и через сорок минут уже был у профессорского дома. Теперь, конечно, горжусь, что так поступил...

Владимиру Михайловичу Зёрнову было уже семьдесят четыре года, но в отличие от старшего брата выглядел он прямо-таки молодо: высокий, сухощавый, стройный, с ласковым приглядом, свойственным всем добрым людям и, думаю, хорошим врачам. В тот вечер он мне многое поведал о тяжелых и несчастных последних годах жизни Ивана Алексеевича в парижском квартале Пасси, но постоянно подчеркивал: несмотря на немощь, недомогания, унижительную бедность, Бунин держался мужественно и до последнего часа оставался в ясном сознании. И еще об одном настойчиво повторял доктор Зёрнов: Иван Алексеевич всегда и очень хотел вернуться на родину. Да, он любил «Прекрасную Францию», особенно юг, Прованс, но мучительно тосковал о России — о своей центральной, орловской; о возлюбленном и воспетом Подстепье!

«Поэтому неслучайно, — заметил доктор Зёрнов, — потребовал положить себя в цинковый саркофаг в каменном склепе. Хоть и во гробе, но вернуться. — И добавил задумчиво: — Гордо, с достоинством, по-бунински...»

III

Сен-Женевьев-де-Буа — городок знаменательный, и не малых размеров. Главная привокзальная улица по воскресеньям превращается в многолюдный антикварный рынок. Чего только там не предлагают! От мебели в стиле жакоб, старинного серебра, бронзовых статуэток до совершенно никчемных по нашим понятиям тусклых флакончиков времен Реставрации; от импрессионистских полотен эпигонов Мане и Сезанна до русских икон, рыцарских шлемов и тележных колёс. Но за пределами рыночного гама, обилия мусора и общего небрежения Сен-Женевьев-де-Буа исключительно пристойный пригород Парижа — чистый и акку-

ратный. Богатые виллы, дорогие машины, красочные цветники, вечнозеленые кустарники, подстриженные с той изысканностью, как стригут только пуделей.

Кладбище, которое именуется здесь Русским, хотя оно лишь частично является таковым, расположено за городом. Угадывается легко: по милой церквушке — беленькой, с небесным куполом под позолоченным православным крестом. И при виде ее странное ощущение — будто встречаешь соотечественницу, долго странствующую в чужеземном далёко, и будто бы тоже эмигрантку.

Казалось, по кладбищу нас кто-то свыше ведет, потому что мы сразу находим бунинскую могилу. Знакомый по фотографиям тяжелый каменный крест, беломраморный цветник в сплошном золотисто-огненном пламени. Кладем и мы сбоку солнечные хризантемы; застываем с опущенными головами.

Непамятливо, как волны прибоя, набегают мысли. Вспоминается из его последнего — «Легенды», «Бернара». О том, что на погостах — «все человеческое прошлое, вся людская история», и о том, что, «как художник», он достоин памяти. Звучат, повторяясь несчетно, строки из «Сириуса»:

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моею могилою,
Забытой Богом навсегда!

Я чувствую причастность к вечности, пронзительную грусть, пугающе осознаю, что он, Бунин, обо всем ведает. Меня охватывает то вязкое оцепенение, которое нередко случается в жизни при завершении чего-то очень и очень важного. Наверное, я выгляжу окаменелым, потому что Таня нетерпеливо стучит костяшками пальцев по моему плечу, протягивая сильно смятый, по-видимому, до этого крепко сжимавшийся в руке листок.

— Осторожно разворачивай, внутри крестик, — предупреждает она.

— Что это? Откуда? — удивляюсь я.

— Письмо. Пока ты... В общем, я заметила в цветнике скрытую бумагу... — Она говорит, заикаясь. Ее большие глаза широко раскрыты и выражают не то недоумение, не то испуг, но

вернее — потрясение! — Ну, понимаешь... я подумала, что кто-то спрятал, чтобы не сорить... А это, оказывается, письмо.

— Какое письмо? К кому? — спрашиваю, наконец избавляясь от оцепенелой отрешенности. — Ничего не понимаю!

— Прочти и поймешь. Письмо к Бунину!

— Как к Бунину?! — я оглядываюсь по сторонам, словно ища автора, но никого вокруг нет. — Прости, но ведь неприлично... Впрочем... С чего ты взяла, что это письмо?

— Прочти! — настойчиво и повелительно, как ребенку, внушает она. — Я ведь тоже не знала, что это письмо. Однако, раз оно нам открылось, то, значит, не случайно.

Я осторожно разворачиваю смятую бумагу: пламенеют красные строчки — торопливые, неровные; сверкает на солнце серебряное распятие на потемневшем крестике в ореоле бусинок оригинальной цепочки. «С себя снято, — ошеломленно думаю я. — Как доказательство... Как слепок души... Потрясающе!»

Волнение во мне зашкаливает бешеным сердцебиением, особенно, когда читаю первые строчки: «Дорогой Иван Алексеевич! Не знаю, зачем я пишу это письмо? Но я верю, что мои искренние слова дойдут до Вас...» Нет, не стану пересказывать исповедальное послание, а цитировать не могу, потому что мы тут не возвращаем его на место, но прячем понадежнее, прикопав землей. Единственное, что я сделал, так это записал имя, фамилию и адрес отправительницы: Лена К., город Знаменск², Астраханская область.

III

² Фамилию полностью не называю, чтобы не доставить реальной Лене чью-либо досужую привязчивость. Замечу: город Знаменск — научный центр недалеко от Волгограда на стыке двух российских областей и Казахстана. Рядом с ним находится ракетный полигон, хорошо известный до недавнего времени как Капустин Яр.

В прошлом, до революции Капустин Яр — богатейшее село Царицынского уезда при впадении речки Подстепки в Ахтубу, с населением в десять тысяч жителей, с тремя православными церквями, четырьмя училищами, тремя ярмарками и крупным маслобойным заводом. — Авт.

Мое потрясение такое же сильное, как и Танино. Что ж, думается волнительно, у Бунина всегда были искренние поклонницы, влюбленные и в его талант, и в него самого. И, выходит, не только в жизни, но и... после смерти!

Он и сам умел любить — проникновенно, страстно: и Варю Пашенку, и Аню Цакни, и Веру Муромцеву, и Галю Кузнецову... Ему изменяли, от него уходили; потом хотели бы вернуться, ревновали; наверное, казнили себя, но все и всегда оставались почитательницами его художественного дара. Однако женой навеки стала только Вера Николаевна...

И сколько же прекрасных женских образов оставил он на вечную память о себе?! В русской литературе, пожалуй, как никто другой! Вот и после смерти явилась на могилу Лена К. Кто она? Какая? — не знаю, но в одном не сомневаюсь: юная и чистая сердцем. Да ведь и сама она — бунинский образ! Будто ненаписанный им рассказ...

Кстати, свое письмо Лена К. заканчивает примерно так: мол, Иван Алексеевич, Вы уже давно триумфально вернулись в Россию, но нам не хватает Вашего осязаемого присутствия, того освященного места, где мы могли бы часто бывать.

Честно признаюсь, на Русском кладбище под Сен-Женевьев-де-Буа мы намеревались посетить и другие писательские могилы, и не только писательские, но, ошеломленные на бунинской, поняли, что теперь уж сделать этого не сможем. И мы направляемся к кладбищенской церкви Успения Божьей Матери, чтобы там поставить поминальную свечу Ивану Бунину. Но внутреннее церковное пространство заполнено шумными французами, которым, как в музее, растолковывают русские иконы, назначение православной утвари. И мы не желаем быть очередным предметом досужего любопытства экскурсантов, и уходим с грустью и разочарованием. Однако, возвращаясь в Париж, мучаемся тем, что возгордились, и наше паломничество в Сен-Женевьев-де-Буа к Бунину получается не завершенным.

— Послушай, — говорит Таня, — а давай-ка выйдем из подземки в Сен-Жермен-де-Прэ? Там находится самый древний парижский собор. А в нем есть русский предел со старинными иконами.

— Ты хочешь сказать, перед одной из них молилась Анна Ярославовна, королева Франции? — мрачновато уточняю я. — Без малого тысячу лет назад, так ведь?

— Нет, не хочу, — возражает она. — Но нынешний собор, не сомневайся, стоит на том же самом месте, где когда-то молилась и Анна Ярославовна...

И мы ставим поминальную свечу Ивану Бунину перед темной иконой Божьей Матери Одигитрии, у которой по живому различимы лишь ласково-заботливые глаза. В соборе Сен-Жермен-де-Прэ мы наконец-то ощущаем в себе умиротворение и радость. Однако во мне неотвязно повторяется с тех пор, а тому вот уже три года: «Все-таки лучше, чтобы останки Бунина покоились в родной земле».

**«Роман-журнал XXI век», № 10
2000 г.**